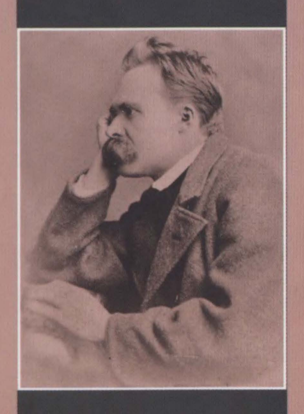
Фридрих Ницше



4

полное собрание сочинений



РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений в тринадцати томах

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание сочинений

Четвертый том

Так говорил Заратустра

*книга для всех
и ни для кого*

(перевод Ю.М. Антоновского)

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2007

ББК 87-3 Герм
Н70

Перевод Ю.М. Антоновский
Общая редакция В.А. Подорога
Сверка, научное редактирование Е.В. Ознобкина
Перевод комментария А.Г. Жаворонков
Оформление И. Бернштейн

Ницше, Фридрих.
Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Институт философии.— М.: Культурная Революция, 2005—
Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского; пер. комментария А.Г. Жаворонкова; науч. ред. Е.В. Ознобкиной.— 2007.— 432 с.— ISBN 978-5-250-06018-9.

Настоящим томом продолжается издание полного собрания сочинений Ф. Ницше. Четвертый том содержит центральное произведение Ф. Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (части I–IV), созданное в период 1883–1885 гг. Перевод Ю.М. Антоновского (впервые вышел в 1898 г.), взятый за основу в настоящем издании, был тщательно сверен, а также предложена новая его редактура. Принципы проведенной редактуры изложены в «Послесловии редактора». В том вошел и Комментарий к «Так говорил Заратустра», опубликованный Д. Колли и М. Монтинари, издателями немецкого академического собрания сочинений Ф. Ницше, в 14-м томе немецкого собрания. Комментарий содержит отсылки к более ранним (рукописным) версиям произведения, а также к другим томам собрания. Особую группу составляют отсылки к библейским текстам и некоторым другим источникам.

Содержание

155 Часть третья

237 Часть четвертая и последняя

[Часть первая]

Предисловие Заратустры

1.

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и одиночеством и десять лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его — и однажды утром поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему:

«Ты, великое светило! В чем было бы счастье твое, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

Десять лет подымалось ты к моей пещере; ты пресытилось бы светом своим и этой дорогой, если б не было меня, моего орла и моей змеи.

Но мы каждое утро ожидали тебя, принимали преизбыток твой и благословляли тебя за это.

Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду, мне нужны руки, простертые ко мне.

Я хотел бы одарять и раздавать, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумию своему, а бедные — богатству своему.

Для этого я должен сойти вниз: как делаешь ты по вечерам, уходя за море и неся свет на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!

Я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу сойти я.

Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на слишком большое счастье!

Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоего блаженства!

Взгляни! Эта чаша хочет вновь стать пустою, а Заратустра хочет вновь стать человеком».

— Так начался закат Заратустры.

2.

Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре:

«Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился.

Тогда нес ты свой прах на гору — неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю?

Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он, точно танцует?

Преобразился Заратустра, ребенком стал Заратустра, пробудился Заратустра: чего же хочешь ты среди спящих?

Как в море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Горе! Ты хочешь выйти на сушу? Горе! Ты хочешь снова сам влачить свое тело?»

Заратустра отвечал: «Я люблю людей».

«Почему же, — сказал святой, — ушел я в лес и пустыню? Разве не потому, что я слишком любил людей?

Теперь люблю я бога: людей не люблю я. Человек для меня нечто слишком несовершенное. Любовь к человеку убила бы меня».

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар».

«Не давай им ничего, — сказал святой. — Лучше отними у них что-нибудь и неси вместе с ними; это будет для них всего лучше — если только это лучше для тебя!

А если ты хочешь им дать, дай не больше милостыни, и пусть они еще попросят ее!»

«Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».

Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Смотри же, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам, они не верят, что мы приходим, чтобы одаривать.

Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека,

идущего задолго до восхода солнца, они, должно быть, спрашивают себя: куда крадется этот вор?

Не ходи к людям, оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я, — медведем среди медведей, птицею среди птиц?»

«А что делает святой в лесу?» — спросил Заратустра.

Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их, и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу: так славлю я бога.

Пением, плачем, смехом и бормотаньем славлю я бога, моего бога. Но что же несешь ты нам в дар?»

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте же мне скорее уйти, чтобы я не взял ничего у вас!» — Так расстались они друг с другом, старец и человек, смеясь, как смеются двое детей.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так своему сердцу: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще ничего не слыхал о том, что *бог умер*!» —

3.

Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу:

«*Я учу вас о сверхчеловеке.* Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя — а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверю, чем превзойти человека?

Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще от червя. Некогда были вы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян.

Даже мудрейший среди вас есть только разлад и двойственность между растением и призраком. Но разве я призываю вас стать призраком или растением?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!

Сверхчеловек есть смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: «*Да будет* сверхчеловек смыслом земли!»

Я заклинаю вас, мои братья, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Это отравители, всё равно, знают они это или нет.

Они презирают жизнь, умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля; пусть погибнут они!

Прежде хула на бога была величайшей хулой, но бог умер, и с ним умерли и эти хулители. Теперь самое ужасное — хулить землю и чтить недра непостижимого выше, чем смысл земли!

Некогда смотрела душа на тело с презрением, и тогда не было ничего выше, чем это презрение: она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она ускользнуть от тела и от земли.

О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была наслаждением этой души!

Но и вы, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не бедность и грязь и жалкое довольство собою?

Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, в нем может потонуть ваше великое презрение.

В чем то высшее, что можете вы пережить? Это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, как и ваши разум и добродетель.

Час, когда вы говорите: «Что мне мое счастье! Оно бедность, и грязь, и жалкое довольство собою. А ведь ему следовало бы оправдывать само существование!»

Час, когда вы говорите: «Что мне мой разум! Жаждет ли он знания, как лев своей пищи? Он — бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «Что мне моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Всё это бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «Что мне моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый — это пламень и уголь!»

Час, когда вы говорите: «Что мне мое сострадание! Разве оно — не крест, к которому пригвождается тот, кто любит людей? Но мое сострадание не есть распятие».

Говорили вы уже так? Восклицали вы уже так? Ах, если бы я слышал, как вы так восклицаете!

Не ваш грех — ваше самодовольство вопиет к небу, ваша скаредность в самих ваших грехах вопиет к небу!

Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, которым надо бы вас заразить?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — эта молния, он — это безумие!» —

В то время как Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы наслушались уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ смеялся над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.

4.

Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он говорил так:

«Человек — это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, — канат над пропастью.

Опасно переходить, опасно быть в пути, опасно оглядываться, опасны страх и остановка.

Великое в человеке то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он *переход* и *гибель*.

Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как погибая, ибо они переходят.

Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.

Я люблю тех, кто и за звездами не ищет основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, — но приносит себя в жертву земле, чтобы земля когда-нибудь стала землей сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет, чтобы познавать, и кто хочет познать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить для не-

го землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски по другому берегу.

Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: так, подобно духу, проходит он по мосту.

Я люблю того, кто из своей добродетели делает привычку и судьбу: так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более.

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель больше добродетель, чем две, ибо скорее она тот узел, на котором держится судьба.

Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает за нее: ибо он постоянно одаривает и не хочет беречь себя.

Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает: “Неужели я нечестный игрок?” — ибо он хочет гибели.

Я люблю того, кто предваряет золотыми словами свои дела и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и избавляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.

Я люблю того, кто карает своего бога, так как любит его: ибо он должен погибнуть от гнева бога своего.

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть от малейшего переживания: так охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает себя самого, и все вещи содержатся в нём: так становятся все вещи его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: ибо голова его есть лишь утроба сердца его, а сердце влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто подобен тяжелым каплям, падающим по одной из темной тучи, нависшей над человеком:

они возвещают, что приближается молния, и гибнут как провозвестники.

Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи — и эта молния называется сверхчеловек». —

5.

Произнеся эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, — говорил он своему сердцу, — вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей.

Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы они научились слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и проповедники покаяния? Или верят они только заике?

У них есть нечто, чем они гордятся. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это образованностью, она отличает их от козопасов.

Поэтому не любят они слышать о себе слово "презрение". Тогда я буду говорить к их гордости.

Тогда я буду говорить им о самом презренном, а это — *последний человек*».

И так говорил Заратустра к народу:

«Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил семя своей высшей надежды.

Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не сможет больше расти на ней.

Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелу тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!

Я говорю вам: нужно еще носить в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас еще есть хаос.

Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который более не сможет презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам *последнего человека*.

“Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда?” — так спрашивает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

“Мы нашли счастье”, — говорят последние люди и моргают.

Они покинули места, где было трудно жить: ибо им необходимо тепло. Они еще любят соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.

Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом; ступают они осмотрительно. Безумец, кто еще спотыкается о камни или о людей!

Время от времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.

Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.

Не будет больше ни бедных, ни богатых: то и другое слишком обременительно. Кто захотел бы еще управлять? Кто — еще повиноваться? То и другое слишком обременительно.

Нет пастуха и одно стадо! Каждый желает того же, все равны; кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

“Прежде весь мир был сумасшедшим”, — говорят самые проницательные и моргают.

Они умны и знают всё, что было, так что можно насмехаться без конца. Они еще ссорятся, но вскоре мирятся — иначе это расстраивало бы желудок.

У них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи; но в чести у них здоровье.

“Мы нашли счастье”, — говорят последние люди и моргают». —

Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также «Предисловием»: ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра, — так восклицали они, — сделай нас этими последними людьми! Тогда не нужен нам твой сверхче-

ловек!» И весь народ радовался и щелкал языком. Но Заратустра стал печален и сказал своему сердцу:

«Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей.

Пожалуй, слишком долго жил я на горе, слишком часто слушал я ручьи и деревья: теперь я говорю им, как козопасам.

Непоколебима душа моя и светла, как горы в утренний час. Но они думают, что я холоден и что насмехаюсь я ужасными шутками.

И вот они поглядывают на меня и смеются; и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в их смехе».

6.

Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, натянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Как раз когда он находился на середине своего пути, маленькая дверь вновь открылась, и парень, пестро одетый, как шут, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел вслед за первым. «Вперед, хромоногий, — кричал он своим страшным голосом, — вперед, ленивая скотина, ворюга, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своей пяткой! Что делаешь ты здесь между башнями? Тебе бы в башне сидеть, запереть надо бы тебя, тому, кто лучше тебя, загораживаешь ты дорогу!» — И с каждым словом он всё ближе и ближе подходил к нему; и когда он уже был от него на расстоянии одного только шага, случилось ужасное, сделавшее уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто стоял у него на дороге. Тот же, увидев, что его соперник побеждает, потерял голову и канат; отбросил свой шест и еще быстрее, чем он, полетел вниз, как будто вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря: всё бежало в разные стороны, особенно там, где должно было упасть тело.

Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изуродованное и разбитое, но еще не мертвое.

Немного спустя к разбившемуся вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь? — сказал он наконец, — я давно знал, что дьявол подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю; не хочешь ли ты помешать ему?»

«Клянусь честью, друг, — отвечал Заратустра, — не существует всего того, о чем ты говоришь: нет ни дьявола, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело; не бойся же теперь ничего!»

Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, — сказал он, — то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немногим лучше зверя, которого ударами и голодом научили плясать».

«Нет же, — сказал Заратустра; ты из опасности сделал свое ремесло, тут нечего презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла; за это я хочу похоронить тебя своими руками».

На эти слова Заратустры умирающий уже ничего не ответил; он только пошевелил рукою, как бы ища, в благодарность, руки Заратустры. —

7.

Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке: тогда рассеялся народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра сидел на земле возле мертвого, погруженный в свои мысли, забыв о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал своему сердцу:

«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры! Он не поймал человека, зато поймал труп.

Тревожно человеческое существование и всё еще лишено смысла: шут может стать для него судьбой.

Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи человека.

Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный, неподвижный спутник! Я несу тебя туда, где похороню своими руками».

8.

Сказав это своему сердцу, Заратустра взвалил труп на спину и пустился в путь. Но не прошел он и ста шагов, как подкрался к нему какой-то человек и стал шептать на ухо – и гляди-ка! тот, кто говорил, был шут с башни. «Уходи из этого города, о Заратустра, – шептал он, – слишком многие ненавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведные, и они зовут тебя своим врагом и ненавистником; ненавидят тебя правоверные, они зовут тебя опасным для массы. Счастье твое, что смеялись над тобою: и в самом деле, ты говорил, как шут. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке; унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города – или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». Сказав это, человек исчез; Заратустра же продолжал свой путь по темным улицам.

У ворот города повстречались ему могильщики; они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и очень потешались над ним: «Заратустра несет отсюда мертвую собаку; браво, Заратустра стал могильщиком! Ведь наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра стащить у дьявола его кусок? Давай! Счастливого ужина! Если только дьявол не лучший еще вор, чем Заратустра! – он украдет их обоих, он сожрет их обоих!» И они смеялись и перешептывались между собой.

Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Пока он шагал два часа по лесам и болотам, он часто слышал голодный вой волков, и на него самого напал голод. И вот он остановился перед одиноким домом, в котором горел свет.

«Голод нападает на меня, как разбойник, – сказал Заратустра. – В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь.

Удивительные капризы у моего голода. Часто приходит он только после обеда, а сегодня не приходил целый день: где же замешкался он?»

С этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Появился старик; он нес фонарь и спросил: «Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»

«Живой и мертвый, – отвечал Заратустра. – Дайте мне поесть и попить, днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает собственную душу: так говорит мудрость».

Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь плохие места для голодных, — сказал он, — поэтому я живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего спутника поесть и попить, он устал еще больше, чем ты». Заратустра отвечал: «Мертв мой спутник, мне было бы трудно уговорить его поесть». «Это меня не касается, — ворча произнес старик, — кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!» —

После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд: ибо он был привычным ночным путником и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, дальше не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева у своего изголовья (ибо он хотел защитить его от волков) — а сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул, усталый телом, но с непреклонной душою.

9.

Долго спал Заратустра, и не только заря, но и утренний час прошли по лицу его. Наконец он открыл глаза; с удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину, с удивлением заглянул он в себя самого. Потом быстро поднялся, как мореплаватель, завидевший внезапно землю, и возликовал: ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда своему сердцу:

«Свет взошел для меня: мне нужны спутники, и живые, — не мертвые спутники и не трупы, которые я ношу с собой, куда хочу.

Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что они хотят следовать за самими собой, — и туда, куда хочу.

Свет взошел для меня: не к народу должен говорить Заратустра, но к спутникам! Заратустра не должен быть пастухом и собакой стада!

Сманить многих из стада — для этого пришел я. Негодовать будут на меня народ и стадо: разбойником хочет называться Заратустра у пастухов.

Пастухи, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. Пастухи, говорю я, но они называют себя правоверными.

Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника, – но это и есть созидающий.

Посмотри на верующих всех вер! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника, – но это и есть созидающий.

Спутников ищет созидающий, не трупов, а также не стада и верующих. Созидающих как и он ищет созидающий, тех, что пишут новые ценности на новых скрижалях.

Спутников ищет созидающий и тех, кто собирал бы с ним жатву: ибо всё созрело у него для жатвы. Но недостает ему сотни серпов: поэтому он вырывает колосья и негодует.

Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называть их и ненавистниками доброго и злого. Но они те, кто пожинает и празднует.

Созидающих ищет себе Заратустра, собирающих жатву и празднующих с ним ищет Заратустра; что может он созидать со стадами, пастухами и трупами!

А ты, мой первый спутник, прощай! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков.

Но я расстаюсь с тобой, время вышло. Между утренней зарей и утренней зарей осенила меня новая истина.

Ни пастухом не должен я быть, ни могильщиком. Я больше не хочу говорить с народом; в последний раз говорил я к мертвому.

К созидающим, к собирающим жатву и празднующим хочу я присоединиться: радугу хочу показать им и все ступени к сверхчеловеку.

Отшельникам буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем; и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим.

К своей цели стремлюсь я, иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет мой путь их гибелью!»

10.

Так говорил Заратустра своему сердцу, а солнце стало уже на полдень; тогда он вопросительно посмотрел ввысь – ибо он услышал над собою резкий крик птицы. И смотрите! Орел описывал широкие круги в воздухе, а на нем висела змея, но не как добыча, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами его шею.

«Это мои звери!» – сказал Заратустра и возрадовался сердцем.

«Самый гордый зверь под солнцем, и самый умный зверь под солнцем – они отправились на разведку.

Они хотят выяснить, жив ли еще Заратустра. И правда, жив ли я еще?

Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня звери мои!»

Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, вздохнул и говорил так своему сердцу:

«Если б мог я стать мудрее! Если бы мог стать до глубины мудрым, как моя змея!

Но невозможного прошу я; попрошу же я свою гордость идти всегда рядом с моей мудростью!

И если когда-нибудь моя мудрость покинет меня – ах, она любит улетать! – пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием!»

– Так начался закат Заратустры.

Речи Заратустры

О трех превращениях

Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, и львом — верблюд, и, наконец, ребенком становится лев.

Много трудного существует для духа, для сильного и выносливого духа, в котором живет почтение: ко всему тяжелому и самому трудному стремится его сила.

Что есть тяжесть? — так вопрошает выносливый дух, так, подобно верблюду, опускается он и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.

Что тяжелее всего, о герои? — так вопрошает выносливый дух. — Скажите, чтобы взял я это на себя и радовался своей силе.

Не значит ли это: унизиться, чтобы причинить боль своему высокомерию? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?

Или это значит: расстаться с нашим делом, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя?

Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души?

Или это значит: больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь?

Или это значит: войти в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?

Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и протянуть руку призраку, когда он хочет испугать нас?

Всё самое тяжелое берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: львом становится здесь дух, свободу хочет он себе добыть и быть господином в своей собственной пустыне.

Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты-должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу».

«Ты-должен» лежит у него на пути, искрясь золотыми искрами, чешуйчатый зверь, и на каждой чешуе блестит золотом «Ты должен!».

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех драконов: «Все ценности вещей — блестят на мне».

«Все ценности уже созданы, и всякая созданная ценность — это я. Поистине, никакого «Я хочу» не должно более существовать!» Так говорит дракон.

Братья мои, зачем нужен лев в духе человеческом? Почему не довольно вьючного зверя, самоотверженного и почтительного?

Создавать новые ценности — этого не может даже лев: но создать себе свободу для нового созидания — это может сила льва.

Создать себе свободу и священное Нет даже перед долгом — для этого, братья мои, нужен лев.

Завоевать себе право на новые ценности — самое страшное завоевание для выносливого и почтительного духа. Поистине, для него оно грабеж и дело хищного зверя.

Как святыню свою, любил он когда-то «Ты-должен»; теперь должен он даже в самом святом находить обман и произвол, чтобы добыть себе свободу от любви своей; нужен лев для этой добычи.

Но скажите, братья мои, что может еще сделать ребенок, чего не мог бы и лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком?

Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, вечновращающееся колесо, первое движение, святое Да.

Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое Да: *своей* воли хочет теперь дух, *свой* мир обретает тот, кто потерял мир.

Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, и львом — верблюд, и, наконец, лев — ребенком. —

Так говорил Заратустра. Тогда пребывал он в городе, называемом: Пестрая корова.

О кафедрах добродетели

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сне и о добродетели; за это его высоко чтили и вознаграждали, и все юноши сидели перед его кафедрой. К нему пошел Заратустра и вместе с юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец:

Честь и стыд перед сном! Это первое! И избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью!

Стыдлив и вор в присутствии сна: всегда потихоньку крадется он в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа, не стыдясь, носит он свой рог.

Уметь спать — не малое искусство: для этого нужно бодрствовать весь день.

Десять раз должен ты днем преодолеть себя: это даст хорошую усталость, это мак души.

Десять раз должен ты вновь мириться с самим собой; ибо преодоление это горечь, и дурно спит непримирившийся.

Десять истин должен найти ты за день: иначе будешь и ночью искать истину и душа твоя останется голодной.

Десять раз в день должен ты смеяться и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби.

Немногие знают это: надо обладать всеми добродетелями, чтобы хорошо спать. Не стану ли я лжесвидетельствовать? Не стану ли я прелюбодействовать?

Не пожелаю ли я служанки ближнего моего? Всё это плохо мирилось бы с хорошим сном.

И даже когда обладаешь всеми добродетелями, надо еще понимать одно: сами добродетели следует уметь вовремя отослать спать.

Чтобы они не ссорились между собой, эти милые бабенки! И к тому же из-за тебя, несчастный!

Мира с богом и соседом: этого хочет хороший сон. И мира также с соседским дьяволом! Иначе ночью он будет бродить у тебя.

Почтения к начальству и повиновения, даже кривому начальству! Этого хочет хороший сон. Что поделаешь, если власть любит ходить на кривых ногах?

Тот, по-моему, всегда лучший пастух, кто пасет овец своих на самых зеленых лугах: это в ладах с хорошим сном.

Я не хочу ни многих почестей, ни больших сокровищ: они раздражают селезенку. Однако плохо спится без доброго имени и малого сокровища.

Маленькое общество мне приятнее злого: только оно должно уходить и приходить вовремя. Это в ладах с хорошим сном.

И мне очень нравятся нищие духом: они способствуют сну. Блаженны они, особенно если всегда воздают им должное.

Так протекает день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон! Он не хочет, чтобы его призывали – его, господина добродетелей!

Но я размышляю, что я сделал и о чем думал днем. Пережевывая, спрашиваю я себя, терпеливо, как корова: каковы же были твои десять преодолений?

И каковы были те десять примирений, и десять истин, и десять поводов к смеху, которыми мое сердце радовало себя?

При таком обдумывании и взвешивании сорока мыслей на меня сразу нападает сон, незваный, господин добродетелей.

Сон стучится ко мне в глаза, и они тяжелеют. Сон касается моих уст, и они остаются открытыми.

Поистине, мягкими шагами приходит он ко мне, любимейший из воров, и похищает у меня мои мысли; глупый стою я тогда, как эта кафедра.

Но недолго стою я: вот я уже лежу. –

Слушая эти речи мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо свет низошел на него. И так говорил он своему сердцу:

«Дурак, по-моему, этот мудрец со своими сорока мыслями: но я верю, он знает толк в сне.

Счастлив уже тот, кто живет рядом с этим мудрецом! Такой сон заразителен, даже сквозь толстую стену заражает он.

Чары живут в самой его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.

Его мудрость гласит: бодрствовать, чтобы хорошо спать. И поистине, если бы жизнь не имела смысла и я должен был выбрать бессмысленное, то это бессмысленное было бы для меня наиболее достойным избрания.

Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей добродетели. Хорошего сна искали себе и цветущих маками добродетелей!

Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений: они не знали лучшего смысла жизни.

И теперь еще встречаются те, кто подобен этому проповеднику добродетели, и не всегда такие же честные, — но их время вышло. Недолго стоять им: вот уже они лежат.

Блаженны эти сонливые: ибо скоро заснут они».—

Так говорил Заратустра.

О грезящих об ином мире

Однажды и Заратустра устремил мечту свою по ту сторону человека, подобно всем иномирникам. Творением страдающего и измученного бога показался тогда мне мир.

Сном показался тогда мне мир и поэмой бога; разноцветным дымом пред очами божественного недовольства.

Добро и зло, радость и страдание, я и ты — всё показалось мне разноцветным дымом пред очами творца. Отвратить взор свой от себя захотел творец, — и тогда создал он мир.

Опьяняющая радость для страдающего — отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющей радостью и самозабвением казался мне некогда мир.

Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенное отражение — опьяняющая радость для его несовершенного творца, — таким казался мне некогда мир.

Итак, однажды устремил и я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем иномирникам. Действительно, по ту сторону человека?

Ах, братья мои, этот бог, которого я создал, был человеческим творением и человеческим безумием, подобно всем богам!

Человеком был он, и притом лишь жалкой частью человека и моего Я: из моего собственного праха и жара, поистине, пришел он ко мне этот призрак! Не из потустороннего мира пришел он ко мне!

Что случилось, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес свой прах на гору, более светлое пламя обрел я себе. И смотри! Призрак *отступил* от меня!

Страданием было бы это теперь для меня и мукой для выздоровевшего — верить в подобные призраки: страданием было бы это теперь для меня и унижением. Так говорю я к грезящим об ином мире.

Это страдание и бессилие — они создали все иные миры; и то короткое безумие счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.

Усталость, желающая одним прыжком достигнуть конца, скачком смерти, бедная усталость неведения, не желающая больше желать, — она создала всех богов и иные миры.

Верьте мне, братья мои! Это тело, отчаявшееся в теле, — ощупывало пальцами обманутого духа последние стены.

Верьте мне, братья мои! Это тело, отчаявшееся в земле, — слышало, как говорило к нему чрево бытия.

И тогда захотело оно пробиться головой сквозь последние стены, и не только головой, — в «иной мир».

Но «иной мир» хорошо скрыт от человека, этот нечеловеческий, обесчеловеченный мир, небесное ничто; и чрево бытия говорит вовсе не к человеку, даже если принимает облик человека.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Скажите мне, братья мои, разве самая дивная из всех вещей не доказана еще наилучшим образом?

Да, это Я и его противоречие и путаница говорят самым честным образом о своем бытии, это созидающее, волящее, оценивающее Я, которое есть мера и ценность вещей.

И это самое честное бытие, Я — говорит о теле и желает тела, даже когда оно творит и предается мечтам и машет сломанными крыльями.

Всё честнее научается оно говорить, это Я; и чем больше оно научается, тем больше находит слов и почестей для тела и земли.

Новой гордости научило меня мое Я, которой учу я людей: не прятать больше голову в песок небесных вещей, а свободно нести ее, земную голову, создающую смысл земли!

Новой воле учу я людей: желать той дороги, по которой слепо шел человек, и хвалить ее, и не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным и умирающим!

Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю и изобрели небесное и искупительные капли крови; но даже и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли!

Своей нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далёки. Тогда вздыхали они: «О, если бы существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье!» — тогда изобрели они свои уловки и кровавое питье!

От своего тела и этой земли, казалось им, ускользнули эти неблагодарные. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего ухода? Своему телу и этой земле.

Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и неблагодарность. Пусть они выздоравливают, и преодолевают, и создадут себе высшее тело!

Не сердится Заратустра и на выздоравливающего, когда он с нежностью взирает на свою мечту и в полночь крадется к могиле своего бога; но болезнью и больным телом остаются все еще для меня его слезы.

Много больных было всегда среди тех, кто сочиняет и ищет бога; яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую из добродетелей, которая зовется: честность.

Назад смотрят они всегда, в темные времена: тогда, поистине, мечта и вера были чем-то иным; неистовство разума было богоподобием и сомнение — грехом.

Слишком хорошо знаю я этих богоподобных: они хотят, чтобы в них верили и сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят лучше всего.

Поистине, не в иные миры и искупительные капли крови, — но в тело лучше всего верят они, и собственное тело для них — их вещь в себе.

Но больная вещь оно для них, и охотно вышли бы они из кожи. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют иные миры.

Слушайте лучше, братья мои, голос здорового тела: это более честный и чистый голос.

Честнее и чище говорит здоровое тело, совершенное и соразмерное, — и оно говорит о смысле земли.

Так говорил Заратустра.

О презирающих тело

К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они, но только проститься со своим собственным телом — и так стать немыми.

«Я тело и душа» — так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?

Но пробудившийся, знающий говорит: я только тело, и ничто кроме этого; а душа есть только слово для чего-то в теле.

Тело — это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастух.

Орудие твоего тела есть и твой маленький разум, брат мой, его ты называешь «духом», малое орудие, игрушка твоего большого разума.

«Я» говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его — во что не хочешь ты верить — твое тело с его большим разумом: он не говорит Я, но делает Я.

Что ощущает чувство, что познаёт дух, то никогда не имеет в себе своего предела. Но чувство и дух хотели бы убедить тебя, что они предел всех вещей: так тщеславны они.

Орудие и игрушка суть чувство и дух: за ними лежит еще самость. Самость ищет также глазами чувств, она прислушивается ушами духа.

Всегда прислушивается самость и ищет: она сравнивает, принуждает, завоевывает, разрушает. Она господствует и является также господином над Я.

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит могущественный повелитель, неведомый мудрец — он называется Самость. В твоем теле живет он; твое тело есть он.

Больше разума в твоем теле, чем во всей твоей мудрости. И кто знает, для чего нужна ему вся твоя мудрость?

Самость смеется над твоим Я и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли? — говорит она себе. — Окольный путь к моей цели. Я помочи для Я и вдохновитель его понятий».

Самость говорит к Я: «Здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как больше не страдать, — именно для этого *должно* оно думать.

Самость говорит к Я: «Здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как почаще радоваться, — именно для этого *должно* оно думать.

К презирающим тело хочу я сказать слово. Презрение — в этом их почитание . Что же создало почитание, и презрение, и ценность, и волю?

Созидающая самость создала себе почитание и презрение, она создала себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух как длань своей воли.

Даже в своем безумии и презрении вы, презирающие тело, служите своей самости. Я говорю вам: ваша самость сама хочет умереть и отворачивается от жизни.

Она уже не в силах делать то, чего хочет больше всего: созидать превыше себя. Этого хочет она больше всего, в этом всё страстное желание ее.

Но теперь для нее слишком поздно: — и вот ваша самость хочет погибнуть, вы, презирающие тело.

Погибнуть хочет ваша самость, и потому вы стали презирающими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать превыше себя.

Потому вы негодуете теперь на жизнь и землю. Бессознательная зависть в косом взгляде вашего презрения.

Я не следую вашим путем, вы, презирающие тело! Для меня вы не мосты, ведущие к сверхчеловеку! —

Так говорил Заратустра.

О радостях и страстях

Брат мой, если есть у тебя добродетель и она твоя добродетель, то ты не делишь ее ни с кем.

Впрочем, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее; ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с нею.

И смотри! Теперь ты владеешь ее именем сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом!

Лучше было бы тебе сказать: «Невыразимо и безымянно то, что составляет муку и сладость моей души, а также голод моей утробы».

Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы доверить ее именам; и если ты должен говорить о ней, не стыдись о ней запинаться.

Так говори, запинаясь: «Это *мое* добро, это люблю я, таким оно всецело нравится мне, и лишь таким я хочу его.

Не хочу я его как божественный закон, и не хочу я его как человеческое установление и человеческую нужду: пусть не будет оно мне указателем пути к над-земному или к раю.

Земную добродетель люблю я: в ней мало ума, а всего меньше человеческого разума.

Но эта птица свила у меня гнездо; поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу, — теперь сидит она у меня на своих золотых яйцах».

Так должен ты, запинаясь, хвалить свою добродетель.

Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только добродетели: они выросли из твоих страстей.

Ты вложил свою высшую цель в эти страсти — и вот они стали твоими добродетелями и твоими радостями.

И если бы ты был из рода вспыльчивых, или из рода сластолюбцев, или фанатиков веры, или мстительных:

В конце концов все твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны — в ангелов.

Некогда были дикие псы в твоем подземелье — но обратились они в прелестных певчих птиц.

Из собственных ядов сварил ты бальзам свой; свою корову скорбь ты доил, — теперь пьешь ты сладкое молоко ее вымени.

Ничего злого больше не вырастет из тебя, кроме зла, что вырастает из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель, и не более: тогда легче проходишь ты по мосту.

Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь; немало людей шло в пустыню и убивало себя, потому что они уставали быть битвой и полем битвы добродетелей.

Брат мой, зло ли война и битвы? Однако необходимо это зло, необходимы зависть, и недоверие, и клевета среди твоих добродетелей.

Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет всего твоего духа, чтобы был он *ее* глашатаем, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.

Ревнива каждая добродетель к другой, а ревность — ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот, подобно скорпиону, в конце концов обращает на себя отравленное жало.

Ах, брат мой, разве ты никогда не видел, как добродетель клевещет на себя и жалит себя?

Человек есть нечто, что должно превзойти, и потому ты должен любить свои добродетели, — ибо от них ты погибнешь. —

Так говорил Заратустра.

О бледном преступнике

Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвователи, пока зверь не склонит голову? Взгляните, бледный преступник склонил голову: из очей его говорит великое презрение.

«Мое Я есть нечто, что *должно* превзойти; мое Я для меня великое презрение к человеку» — так говорят глаза его.

Он сам осудил себя, и это было его высшим мгновением; не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился вниз!

Нет спасения для страдающего так от себя самого, кроме быстрой смерти.

Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И, убивая, смотрите, чтобы сами вы оправдывали жизнь!

Мало примириться с тем, кого убиваете. Пусть ваша печаль будет любовью к сверхчеловеку: так оправдаете вы то, что еще живете!

«Враг» должны вы говорить, а не «злодей»; «больной» должны вы говорить, а не «негодяй»; «сумасшедший» должны вы говорить, а не «грешник».

И ты, красный судья, если бы ты решил громко высказать всё, что уже совершил в мыслях, каждый закричал бы: «Прочь эту грязь и этого ядовитого червя!»

Но одно — мысль, другое — дело, третье — образ дела. Между ними не вращается колесо причинности.

Образ содеянного сделал этого бледного человека бледным. Ему по плечу было дело, когда он его совершал: но он не вынес его образа, когда оно совершилось.

Всегда смотрел он на себя как на совершившего только одно дело. Безумием называю я это: исключение превратилось в существо его.

Черта завораживает курицу; удар, что он нанес, околдовал его бедный разум — безумием *после* дела называю я это.

Слушайте, вы, судьи! Есть еще другое безумие: безумие перед делом. Ах, вы проникли недостаточно глубоко в эту душу!

Так говорит красный судья: «Но почему убил этот преступник? Он хотел ограбить». Я же говорю вам: душа его хотела крови, не грабежа: он жаждал счастья ножа!

Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. «Что толку в крови! – говорил он. – Не хочешь ли ты по крайней мере совершить при этом грабеж? Отомстить?»

И он послушался своего бедного разума: как свинец, легла на него эта речь, – и вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И вот снова свинец вины лежит на нем, его бедный разум стал таким застывшим, таким подавленным, таким тяжелым.

Если бы он мог встряхнуть головой, его бремя скатилось бы с него; но кто встряхнет эту голову?

Что такое этот человек? Куча болезней, через дух вырывающихся в мир: там ищут они своей добычи.

Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, – и вот они расползаются и ищут добычи в мире.

Взгляните на это бедное тело! Что оно выстрадало и чего страстно желало, – вот что пыталась объяснить себе эта бедная душа; она объясняла это как радость убийства и жажду счастья ножа.

Кто теперь становится больным, на того нападает зло, то, что ныне есть зло: страдание хочет он причинять тем самым, что ему причиняет страдание. Но были другие времена и другое зло и добро.

Некогда были злом сомнение и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном; как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить страдать других.

Но это не проникает в ваши уши: это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне до ваших добрых!

Многое в ваших добрых вызывает во мне отвращение, но, поистине, не их зло. Но как бы я хотел, чтобы охватило их безумие, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник!

Поистине, я хотел бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью; но у них есть своя добродетель, чтобы долго жить в жалком довольстве собой.

Я — перила над потоком; ухватись за меня, кто может за меня ухватиться! Но я не ваш костыль. —

Так говорил Заратустра.

О чтении и письме

Из всего написанного люблю я только то, что пишут своей кровью. Пиши кровью — и ты узнаешь, что кровь есть дух.

Нелегко понять чужую кровь; я ненавижу читающих из праздности.

Кто знает читателя, тот больше ничего не делает для него. Еще одно столетие читателей — и дух сам провоняет.

То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только письмо, но и мысль.

Некогда дух был богом, потом стал человеком, а ныне становится он еще и чернью.

Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть.

В горах кратчайший путь — с вершины на вершину; но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами, а те, к кому говорят, большими и высокими.

Воздух разреженный и чистый, близкая опасность и дух, полный радостной злобы — всё это хорошо подходит друг другу.

Я хочу, чтобы вокруг меня были горные духи, ибо мужествен я. Мужество, которое отгоняет призраков, само создает себе горных духов, — мужество хочет смеяться.

Я уже не чувствую так, как вы: эта туча, что я вижу под собой, эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, — вот ваша грозовая туча.

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь возвыситься. А я смотрю вниз, потому что я возвышен.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.

Мужественными, беззаботными, насмешливыми, насильниками — такими хочет видеть нас мудрость: она — женщина и любит всегда только воина.

Вы говорите мне: «Жизнь тяжело нести». Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покорность вечером?

Жизнь тяжело нести, но не притворяйтесь же такими нежными! Мы все изрядные вьючные ослы и ослицы.

Что у нас общего с розовой почкой, которая трепещет, потому что капля росы лежит на ее теле?

Это правда: мы любим жизнь не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли.

В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума.

И даже мне, благожелательному к жизни, кажется, что мотыльки, и мыльные пузыри, и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.

Смотреть, как порхают эти легкие, неразумные, изящные, подвижные созданьица, – это доводит Заратустру до слез и песен.

Я поверил бы только в такого бога, который умел бы танцевать.

И когда я увидел своего демона, я нашел его серьезным, основательным, глубоким, торжественным: это был дух тяжести, – из-за него падают все вещи.

Убивают не гневом, а смехом. Так давайте убьем дух тяжести!

Я научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать; с тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места.

Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь бог танцует во мне.

Так говорил Заратустра.

О дереве на горе

Глаз Заратустры заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда гулял он один по горам, окружавшим город, который называется «Пестрая корова», он набрел на этого юношу, который сидел, прислонившись к дереву, и смотрел усталым взором в долину. Заратустра взялся за дерево, у которого сидел юноша, и заговорил так:

«Если бы я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать.

Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки сильнее всего гнут и терзают нас».

Тогда юноша встал, пораженный, и сказал: «Я слышу Заратустру, и только что я думал о нем». Заратустра отвечал:

«Чего пугаешься ты? — Ведь с человеком происходит то же, что с деревом.

Чем больше стремится он в высоту, к свету, тем глубже устремляются корни его в землю, вниз, во мрак, в глубину, — к злу».

«Да, к злу! — воскликнул юноша. — Как это возможно, что ты открыл мою душу?»

Заратустра засмеялся и сказал: «Некоторые души никогда не откроют, разве что сперва выдумают их».

«Да, к злу! — воскликнул юноша еще раз.

Ты сказал правду, Заратустра. Я больше не верю в себя самого, с тех пор как стремлюсь я ввысь, и никто уже не верит в меня, — как же это случилось?

Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь, — этого не прощает мне ни одна ступень.

Когда я наверху, я оказываюсь всегда одиноким. Никто не говорит со мною, холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Мое презрение и моя тоска растут одновременно; чем выше я поднимаюсь, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего хочет он на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как смеюсь я над своим тяжелым дыханием! Как ненавижу я летающего! Как устал я на высоте!»

Тут юноша умолк. А Заратустра смотрел на дерево, у которого они стояли, и говорил так:

«Это дерево стоит одиноко здесь на горе; оно выросло высоко над человеком и зверем.

И если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто мог бы понять его: так высоко выросло оно.

Теперь ждет оно и ждет, – чего же ждет оно? Оно живет слишком близко к облакам; оно ждет, вероятно, первой молнии?»

Когда Заратустра сказал это, юноша закричал, сильно жестикулируя: «Да, Заратустра, ты говоришь правду. Своей гибели желал я, стремясь ввысь, и ты та молния, которой я ждал! Взгляни, что я теперь, с тех пор как ты явился к нам! *Зависть* к тебе уничтожила меня!» – Так говорил юноша и горько плакал. А Заратустра обнял его и увел с собою.

И когда они вместе прошли немного, стал Заратустра говорить так:

«Разрывается сердце мое. Лучше, чем говорят твои слова, говорит мне твой взор обо всех грозящих тебе опасностях.

Ты еще не свободен, ты *ищешь* еще свободы. Бессонным сделал тебя этот поиск и бодрствующим.

В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы.

Твои дикие псы хотят на свободу; они лают от радости в своем подземелье, когда твой дух стремится отворить все темницы.

По-моему, ты еще заключенный, мечтающий о свободе; ах, умной становится душа у таких заключенных, но также лукавой и дурной.

Очиститься должен еще свободный духом. Много от тюрьмы и от гнили еще в нем, чистым должен еще стать его взор.

Да, я знаю твою опасность. Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не бросай своей любви и надежды!

Благородным чувствуешь ты себя, и благородным чувствуют тебя другие, кто не любит тебя и посылает тебе злые

взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный.

Даже для добрых стоит благородный поперек дороги, и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его.

Новое хочет создать благородный и новую добродетель. Старого хочет добрый и чтобы старое сохранилось.

И не в том опасность для благородного, что он станет добрым, но что он станет наглым, насмешником и разрушителем.

Ах, я знал благородных, потерявших свою высшую надежду. И теперь возводили клевету они на все высшие надежды.

Теперь жили они, наглые, среди мимолетных удовольствий, и они не загадывали даже на день.

«Дух тоже сладострастие» — так говорили они. Тогда разбились крылья их духа; теперь ползает он, всё пожирая, оставляя после себя грязь.

Некогда думали они стать героями — теперь они сластолюбцы. Скорбью и ужасом является для них герой.

Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя: не изгоняй героя из своей души! Храни свято твою высшую надежду! —

Так говорил Заратустра.

О проповедниках смерти

Есть проповедники смерти, и земля полна теми, кому нужно проповедовать уход из жизни.

Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если бы можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!

«Желтые» или «черные» — так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам и в других красках.

Вот ужасные, которые носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме вожделения или самоистязания. Но и вожделение их — тоже самоистязание.

Они еще даже не стали людьми, эти ужасные; пусть проповедуют они уход из жизни и сами уходят!

Вот чахоточные душой: едва родились они, как уже начинают умирать и тоскуют по учениям усталости и отречения.

Они охотно желали бы быть мертвыми, и нам следует одобрить их волю! Будем же остерегаться, как бы не пробудить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!

Повстречается ли им больной, или старик, или мертвец — и тотчас говорят они: «Жизнь опровергнута!»

Но это опровергнуты они и их глаза, видящие лишь один лик бытия.

Погруженные в глубокое уныние и жадные до маленьких случайностей, приносящих смерть, — так ждут они, стиснув зубы.

Или же: они хватаются за сласти и посмеиваются при этом над своим ребячеством; они цепляются за жизнь, как за соломинку, и посмеиваются над тем, что они еще висят на соломинке.

Их мудрость гласит: «Глупец тот, кто остается жить, и какие же мы глупцы! Это и есть самое глупое в жизни!» —

«Жизнь есть только страдание» — так говорят другие и не лгут; так постарайтесь перестать существовать! Постарайтесь, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдание!

И пусть гласит учение вашей добродетели: «Ты должен убить самого себя! Ты должен улизнуть от себя самого!» —

«Сладострастие есть грех — так говорят проповедующие смерть, — дайте нам идти стороною и не рождать детей!»

«Рождать трудно, — говорят другие, — к чему еще рождать? Рождаются лишь несчастные!» И они также проповедники смерти.

«Нужна жалость, — так говорят третьи. — Возьмите, что есть у меня! Возьмите меня самого! Тем меньше будет связывать меня жизнь!»

Если бы были они глубоко сострадательными, они отбили бы у своих ближних охоту к жизни. Быть злым — стало бы их подлинной добротою.

Но они хотят освободиться от жизни; что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами! —

И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство, — разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти?

Все вы, кому дорог суровый труд и то, что быстро, ново, неизвестно, — вы плохо переносите себя; ваше усердие есть бегство и желание забыть самих себя.

Если бы вы больше верили в жизнь, вы меньше отдавались бы мгновению. Но чтобы ждать, в вас не хватает содержания, — и даже чтобы лениться!

Всюду раздается голос проповедников смерти, и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть.

Или «вечную жизнь» — для меня всё равно, — только бы они поскорее отправились туда!

Так говорил Заратустра.

О войне и воинах

От наших лучших врагов мы не хотим пощады, как и от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду!

Мои собратья по войне! Я люблю вас до глубины души; теперь и прежде я подобен вам. И я ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду!

Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться их!

И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте по крайней мере его воинами. Они спутники и предвестники этого подвижничества.

Я вижу множество солдат; как хотел бы я видеть много воинов! «Уни-формой» называется то, что они носят; пусть не будет униформой то, что они этим скрывают!

Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — *вашего* врага. У некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда.

Ищите своего врага, ведите свою войну, войну за свои мысли! И если ваша мысль потерпит поражение, — ваша честность должна и над этим праздновать победу!

Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий.

Я призываю вас не к работе, но к борьбе. Я призываю вас не к миру, но к победе. Пусть будет труд ваш борьбой и ваш мир победою!

Можно молчать и сидеть смирно только когда есть стрелы и лук, — иначе одна болтовня и брань. Пусть будет мир ваш победою!

Вы говорите, что правое дело освящает даже войну? Я говорю вам: добрая война освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных.

«Что хорошо?» — спрашиваете вы. Хорошо быть храбрым. Оставьте маленьким девочкам говорить: «Хорошо — это то, что мило и трогательно».

Вас называют бессердечными, но ваше сердце искренне, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь вашего прилива, а другие стыдятся своего отлива.

Вы безобразны? Ну что ж, братья мои! Тогда окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного!

И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной, и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.

В злобе встречается высокомерный со слабым. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.

Вы можете иметь только таких врагов, которые достойны ненависти, а не таких, чтобы их презирать. Вы должны гордиться своим врагом: тогда успехи врага — и ваши успехи.

Восстание — это благородство раба. Вашим благородством пусть будет повиновение! Само ваше приказание пусть будет повиновением!

Для хорошего воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И всё, что вы любите, вы должны сперва дать приказать себе.

Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высшей надежде, а вашей высшей надеждой пусть будет высшая мысль жизни!

Но ваша высшая мысль должна быть приказана мною — и она гласит: человек есть нечто, что *должно* превзойти.

Итак, живите жизнью повиновения и войны! Что толку в долгой жизни! Какой воин хочет, чтобы щадили его!

Я не щажу вас, я люблю вас до глубины души, мои собратья по войне! —

Так говорил Заратустра.

О новом кумире

Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои: у нас есть государства.

Государство? Что это такое? Итак, навострите уши, сейчас я скажу вам слово о смерти народов.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. И холодно лжет оно; эта ложь ползет из его уст: «Я, государство, есмь народ».

Это ложь! Созидателями были те, кто создал народы и поставил над ними веру и любовь; так служили они жизни.

Это разрушители, расставляющие ловушки для многих и называющие их государством, это они повесили над ними меч и тысячи желаний.

Где еще существует народ, там не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и грех против обычаев и прав.

Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле; этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он в обычаях и правах.

Но государство лжет на всех языках добра и зла, и что ни скажет оно, солжет, — и что есть у него, оно украло.

Всё в нем поддельно; крадеными зубами кусает оно, зубастое. Поддельны даже внутренности его.

Смешение языков добра и зла: это знамение даю я вам как знак государства. Действительно, волю к смерти означает этот знак! Смотрите, оно подмигивает проповедникам смерти!

Слишком много рождается; для лишних было изобретено государство!

Смотрите же, как оно их к себе привлекает, это многое множество! Как оно их душит, и жует, и пережевывает!

«На земле нет ничего большего, чем я: я указующий перст божий» — так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

Ах, даже в вас, великие души, нашептывает оно свою темную ложь! Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие!

Да, даже вас угадывает оно, вы, победители старого бога! Вы устали в борьбе, и теперь эта усталость служит еще новому кумиру!

Героев и тех, кто честен, хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир! Он любит греться в солнечном сиянии чистой совести, — холодное чудовище!

Всё готов он дать *вам*, если *вы* поклонитесь ему, новый кумир; так покупает он блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей.

Приманить хочет он вами многое множество! Адское изобретение было тут создано, конь смерти, бряцающий сбруей божественных почестей!

Смерть для многих была изобретена, что прославляет саму себя как жизнь, — поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!

Государством зову я то, где все пьют яд, хорошие и дурные; где все теряют самих себя, хорошие и дурные; где медленное самоубийство всех — называется «жизнью».

Посмотрите же на этих лишних! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов; образованностью называют они свою кражу — и всё обращается у них в болезнь и беду!

Посмотрите же на этих лишних! Они всегда больны, они изрыгают желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и даже не могут себя переварить.

Посмотрите же на этих лишних! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, — эти неимущие!

Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг через друга и потому срываются в грязь и в пропасть.

Все они хотят достичь трона, их безумие в этом, — как будто счастье восседает на троне! Часто грязь восседает на троне — а часто и трон стоит на грязи.

По-моему, все они безумцы, и карабкающиеся обезьяны, и бредящие. По-моему, дурно пахнет их кумир, холод-

ное чудовище; по-моему, дурно пахнут все эти служители кумира.

Братья мои, разве хотите вы задохнуться в смраде их ртов и вожделений! Лучше разбейте окна и прыгайте на волю!

Избегайте же дурного запаха! Прочь от идолопоклонства лишних!

Сторонитесь дурного запаха! Прочь от дыма этих человеческих жертв!

И теперь еще свободна для великих душ земля. Много еще пустых мест для одиноких и тех, кто одиночествует вдвоем, — где веет запахом тихих морей.

Свободна еще для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто обладает малым, тем обладают меньше; хвала малой бедности!

Там, где оканчивается государство, начинается человек, не лишний человек; там начинается песнь необходимых, мелодия единожды существующая и незаменимая.

Туда, где *оканчивается* государство, — туда смотрите, братья мои! Разве вы не видите радугу и мосты к сверхчеловеку? —

Так говорил Заратустра.

О базарных мухах

Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами малых.

С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Уподобься вновь твоему любимому дереву с раскинутыми ветвями: тихо, прислушиваясь, склонилось оно над морем.

Где оканчивается уединение, там начинается базар; а где начинается базар, начинается шум великих актеров и жужжанье ядовитых мух.

В мире самые лучшие вещи ничего еще не значат, если нет того, кто их сначала исполнит; великими людьми называет народ этих исполнителей.

Плохо понимает народ великое, то есть — созидающее. Но любит он всех исполнителей и актеров великого.

Вокруг изобретающих новые ценности вращается мир; незримо вращается он. Но вокруг актеров вращается народ и слава: таков порядок мира.

У актера есть дух, но мало совести духа. Он всегда верит в то, чем заставляет верить сильнее всего, — верить в *себя*!

Завтра у него новая вера, а послезавтра — еще более новая. Чувства его быстры, как народ, и настроения переменчивы.

Опрокинуть — называется у него: доказать. Сделать сумасшедшим — называется у него: убедить. А кровь для него лучшее из всех оснований.

Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он Ложью и Ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые создают в мире много шума!

Полон праздничными шутами базар — и народ хвалится своими великими людьми! Для него они — господа на час.

Но час настойчиво торопит их, и оттого они торопят тебя. И от тебя хотят они Да или Нет. Горе, ты хочешь поставить свой стул между За и Против?

Не завидуй этим безусловным, настойчивым, ты, любящий истину! Никогда еще истина не держалась за руку безусловного.

От этих торопливых удались туда, где ты в безопасности: лишь на базаре нападают с вопросом: Да или Нет?

Медленно переживание всех глубоких источников: долго должны они ждать, прежде чем узнают, *что* упало в их глубину.

Сторонится базара и славы всё великое: в стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу, ты изжален ядовитыми мухами. Беги туда, где суровый, свежий воздух!

Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко к малым и жалким. Беги от их невидимого мщения! Для тебя они только Мщение.

Не поднимай руки против них! Они бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой для мух.

Бесчисленны эти малые и жалкие; не одному гордому зданию дождевые капли и сорняки послужили к гибели.

Ты не камень, но стал уже полым от множества капель. Ты еще растрескаешься и лопнешь от множества капель.

Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, исцарапанным в кровь вижу я тебя в сотнях мест; и твоя гордость не хочет даже возмущаться.

Крови твоей хотели бы они при всей их невинности, крови жаждут их бескровные души – и потому они жалят при всей их невинности.

Но ты, глубокий, страдаешь слишком глубоко даже от малых ран; и не успевал ты излечится, как такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке.

Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим роком выносить их ядовитую неправоту!

Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость их похвала. Они хотят близости твоей кожи и крови.

Они льстят тебе, как богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед богом или дьяволом. Ну что ж! Льстецы они и визгуны, и ничего более.

Часто они даже прикидываются перед тобой любезными. Но это всегда было лукавством трусливых. Да, трусы лукавы!

Они много думают о тебе своей узкой душою, — подозрительным кажешься ты им всегда! Всё, о чем много думают, становится подозрительным.

Они наказывают тебя за твои добродетели. Они искренне прощают тебе лишь — твои ошибки.

Ты мягок и справедлив и потому говоришь: «Невиновны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «Виновно всякое великое существование».

Даже если ты мягок к ним, они всё-таки чувствуют твое презрение; и они возвращают твое благодеяние скрытыми злодеяниями.

Твоя безмолвная гордость противоречит их вкусу; они торжествуют, когда ты достаточно скромен, чтобы быть тщеславным.

То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же малых!

Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимом мщении.

Разве ты не замечал, как часто умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила покидала их, как дым покидает угасающий огонь?

Да, мой друг, укор совести ты для своих ближних: ибо они недостойны тебя. Потому они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь.

Твои ближние всегда будут ядовитыми мухами; великое в тебе — должно делать их более ядовитыми и еще более похожими на мух.

Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где суровый, свежий воздух! Не твое назначение быть махалкой для мух. —

Так говорил Заратустра.

О целомудрии

Я люблю лес. В городах плохо жить: там слишком много одержимых страстями.

Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты страстной женщины?

И посмотрите на этих мужчин: их глаза говорят — они не знают ничего лучшего на земле, как лежать с женщиной.

Грязь на дне их души; и горе, если у грязи их есть еще дух!

О, если бы вы были совершенны, по крайней мере, как звери! Но зверям присуща невинность.

Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств.

Разве я советую вам целомудрие? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.

Они, быть может, воздерживаются, но сука-чувственность проглядывает с завистью во всём, что делают они.

Даже на высоты их добродетели и до глубины холодного духа следует за ними это животное и вражда его.

И как ловко умеет сука-чувственность вымаливать кусок духа, когда ей отказывают в куске плоти!

Вы любите трагедии и всё, что терзает сердце? Но я недоверчив к вашей суке.

У вас слишком жестокие глаза, и вы сладострастно смотрите на страдающих. Не переоделось ли это ваше сладострастие и называло себя состраданием!

Вот какую притчу скажу я вам: немало желавших изгнать своего дьявола сами вошли при этом в свиней.

Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю — то есть грязью и похотью души.

Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это еще не худшее.

Познающий неохотно вступает в воду истины не тогда, когда грязна она, но когда мелка.

Поистине, есть целомудренные до глубины души; они более мягки сердцем, они смеются охотнее и чаще, чем вы.

Они смеются и над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?

Целомудрие не есть ли безумие? Но безумие пришло к нам, а не мы к нему.

Мы предложили этому гостю приют и сердечность; теперь он живет у нас, — пусть остается, сколько хочет!» —

Так говорил Заратустра.

О друге

«Один около меня — всегда слишком много» — так думает отшельник. «Всегда одиножды один — это дает со временем два!»

Я и Меня слишком усердствуют в разговоре; как вынести это, если бы не было друга?

Всегда для отшельника друг является третьим: третий — это пробка, мешающая разговору двоих погрузиться вглубь.

Ах, слишком много глубин для всех отшельников. Поэтому так тоскуют они по другу и его высоте.

Наша вера в других выдает, во что мы хотели бы верить в себе самих. Наша тоска по другу — наш предатель.

И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. И часто нападают и создают себе врага, чтобы скрыть свою уязвимость.

«Будь по крайней мере моим врагом!» — так говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.

Если хотят иметь друга, нужно иметь желание вести за него войну, а чтобы вести войну, надо *уметь* быть врагом.

Нужно в своем друге уважать еще и врага. Разве можешь ты близко подойти к своему другу и не перейти к нему?

В своем друге нужно иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противишься ему.

Ты не хочешь перед другом носить одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты даешь ему себя, каков ты есть? Но он за это посылает тебя к дьяволу!

Кто не скрывает себя, возмущает этим других: настолько основательна ваша причина бояться наготы! Да, если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!

Не нарядиться тебе достаточно красиво для своего друга: ибо ты должен быть для него стрелою и тоской по сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим, — чтобы узнать, как он выглядит? Что же такое лицо твоего друга? Это собственное лицо твое в грубом и несовершенном зеркале.

Видел ли ты своего друга спящим? Не испугался ли ты, что так выглядит твой друг? О, друг мой, человек есть нечто, что д*о*лжно превзойти.

В угадывании и молчании должен быть мастером друг; не всё должен хотеть ты видеть. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует.

Пусть угадыванием будет твое сострадание: чтобы ты сперва узнал, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.

Пусть сострадание к другу будет сокрыто под твердой скорлупой, на ней должен ты стереть себе зубы. Тогда оно обретет свою тонкость и сладость.

Чистый ли ты воздух, и одиночество, и хлеб, и лекарство для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей и, однако, для друга он избавитель.

Ты раб? Тогда не можешь быть другом. Ты тиран? Тогда ты не можешь иметь друзей.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.

В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в зрячей любви женщины всегда еще есть неожиданность, и молния, и ночь рядом со светом.

Еще не способна женщина к дружбе: женщины всё еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы.

Еще не способна женщина к дружбе. Но скажите мне, вы, мужчины, кто же из вас способен к дружбе?

О, эта ваша бедность, мужчины, и эта ваша скупость души! Сколько даете вы другу, столько собираюсь я дать даже своему врагу и не стану от того беднее.

Существует товарищество — пусть будет и дружба! —

Так говорил Заратустра.

О тысяче и одной цели

Много стран видел Заратустра и много народов; так открыл он добро и зло многих народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло.

Не мог бы жить ни один народ, не умея сперва оценивать; но если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.

Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось посмешищем и позором — так нашел я. Многое нашел я, что здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести.

Никогда один сосед не понимал другого: всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа.

Скрижаль добра над каждым народом. Взгляни, это скрижаль его преодолений; взгляни, это голос его воли к власти.

Похвально то, что кажется ему трудным; что неизбежно и трудно, называет он добром, а что освобождает от величайшей нужды, редкое и самое трудное, — ценит он как священное.

Что позволяет ему господствовать, побеждать и блистать, на страх и зависть соседу, — это означает для него высоту, начало, мерило, смысл всех вещей.

Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа, и страну, и небо, и соседа его, ты угадал и закон его преодолений и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде.

«Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других; никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга» — это заставляло дрожать душу грека, и он шел своей стезею величия.

«Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою» — казалось одновременно мило и тяжело тому народу, от которого идет мое имя, — имя, которое для меня одновременно мило и тяжело.

«Чтить отца и мать и всей душой служить воле их»: эту скрижаль преодоления поставил над собой другой народ и стал поэтому могучим и вечным.

«Соблюдать верность и ради верности отдать честь и кровь даже за дурные и опасные дела»: так поучаясь, укрощал себя другой народ, и, так укрощая себя, стал он чреват великими надеждами.

Поистине, люди дали себе всё добро и всё зло свое. Поистине, не заимствовали они и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.

Человек сначала вложил ценности в вещи, чтобы сохранить себя, — он создал сначала смысл вещей, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», то есть: оценивающим.

Оценивать значит создавать: слушайте, вы, созидающие! Оценка — драгоценность и сокровище всех оцененных вещей.

Из оценки впервые возникает ценность, и без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте это, вы, созидающие!

Перемена ценностей — это перемена созидающих. Всегда уничтожает тот, кто должен быть созидателем.

Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности; поистине, сама личность есть еще самое юное из созданий.

Народы некогда поставили над собой скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали.

Тяга к стаду старше, чем тяга к Я; и покуда добрая совесть именуется стадом, лишь дурная совесть говорит: Я.

Поистине, лукавое Я, лишенное любви, ищущее своей пользы в пользе многих, — это не начало стада, а его гибель.

Любящими были всегда и созидающими те, кто создал добро и зло. Огонь любви горит на именах всех добродетелей и огонь гнева.

Много стран видел Заратустра и много народов; большей силы не нашел Заратустра на земле, чем дела любящих: «добро» и «зло» их имя.

Поистине, — власть этой хвалы и хулы чудовище. Скажите, братья, кто его победит? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу шей?

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи шей, недостает единой цели. У человечества еще нет цели.

Но скажите же, братья мои: если человечеству недостает еще цели, то, быть может, недостает еще — и его самого? —

Так говорил Заратустра.

О любви к ближнему

Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему—это ваша дурная любовь к самим себе.

Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель; но я насквозь вижу ваше «бескорыстие».

Ты старше, чем Я; Ты признано священным, а Я еще нет: оттого жмется человек к ближнему.

Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее, я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего!

Выше любви к ближнему любовь к дальнему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя; почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к ближнему.

Вы не выносите себя самих и любите себя недостаточно; и вот вы хотите соблазнить ближнего к любви и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы вам стали невыносимы всякие ближние и соседи их; тогда вы были бы должны из себя самих создать себе друга с переполненным сердцем его.

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, вы сами хорошо думаете о себе.

Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. И так говорите вы о себе, общаясь с другими, и обманываете насчет себя соседа.

Так говорит глупец: «Общение с людьми портит характер, особенно когда его нет».

Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой, потому что хотел бы себя потерять. Ваша дурная любовь к себе создает тюрьму из одиночества.

Дальние оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы собираетесь впятером, шестой всегда должен умереть.

Я не люблю ваших празднеств: слишком много актеров находил я там, и даже зрители вели себя часто как актеры.

Не о ближнем учу я вас, но о друге. Друг пусть будет для вас праздником земли и предчувствием сверхчеловека.

Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами.

Я учу вас о друге, в котором мир являет себя завершенным, как чаша добра, — о созидающем друге, всегда готовом подарить завершенный мир.

И как мир развернулся для него, так вновь для него он свертывается в кольца, как становится добро из зла, как становится цель из случая.

Будущее и самое дальнее пусть будет причиной твоего сегодня: в своем друге должен любить ты сверхчеловека как свою причину.

Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам, — я советую вам любовь к дальнему. —

Так говорил Заратустра.

О пути созидающего

Ты хочешь, брат мой, идти в уединение? Ты хочешь искать путь к себе? Помедли немного и выслушай меня.

«Кто ищет, легко теряется сам. Всякое уединение есть грех», — так говорит стадо. И ты долго принадлежал стаду.

Голос стада еще будет звучать и в тебе. И когда ты скажешь: «У меня уже не одна совесть с вами», — это будет жалобой и болью.

Смотри, саму эту боль породила единая совесть: и последний отблеск этой совести горит еще на твоей печали.

Но ты хочешь следовать пути своей печали, пути к самому себе? Так покажи мне свое право на это и свою силу!

Ты новая сила и новое право? Начальное движение? Вечновращающееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя?

Ах, так много вожделения высоты! Так много судорог честолюбцев! Покажи мне, что ты не из вожделеющих и не из честолюбцев!

Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не больше, чем от кузнечных мехов: они надувают и делают более пустым.

Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты избежал ярма.

Из тех ли ты, *кому позволено* избежать ярма? Таких немало, кто сбросил свою последнюю ценность, когда сбросил рабство.

Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой взор должен ясно поведать мне: свободный *для чего?*

Можешь ли ты дать себе свое добро и зло и поставить над собою волю свою, как закон? Можешь ли ты быть себе судьей и мстящим за свой закон?

Ужасно быть наедине с судьей и мстящим за свой закон. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и ледяное дыхание одиночества.

Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты, одинокий; сегодня еще есть у тебя всё твое мужество и твои надежды.

Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь твоя гордость согнется и твое мужество заскрипит. Когда-нибудь ты закричишь: «Я одинок!»

Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а низменное увидишь слишком близко; само твое возвышенное будет пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты закричишь: «Всё — ложь!»

Есть чувства, которые хотят убить одинокого; если это не удается, они сами должны умереть! Но способен ли ты быть убийцею?

Знаешь ли ты уже, брат мой, слово «презрение»? И муку твоей справедливости, — быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты вынуждаешь многих переменить о тебе мнение; это ставят они тебе в большую вину. Близко подходил ты к ним и всё-таки прошел мимо; этого они никогда не простят.

Ты превосходишь их; но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься в глазах зависти. А больше всех ненавидят того, кто летает.

«Как намеревались вы быть ко мне справедливыми? — должен ты говорить. — Я выбираю вашу несправедливость как предназначенный мне удел».

Несправедливость и грязь бросают они вслед одинокому; но, брат мой, если хочешь ты быть звездою, ты должен светить им не слабее!

И остерегайся добрых и праведных! Они охотно распинают тех, кто изобретает для себя собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.

Остерегайся и святой простоты! Всё для нее нечестиво, что не просто; и она любит играть с огнем — костров.

Остерегайся приступов любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.

Иному ты должен подать не руку, а только лапу; и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти.

Но злейшим врагом, которого можешь ты встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Одинокий, ты идешь по пути к самому себе! И твой путь идет мимо тебя самого и твоих семи демонов!

Еретиком будешь ты для себя и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Твоим желанием должно быть сжечь себя в собственном пламени; как же хотел ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!

Одинокий, ты идешь путем созидающего: бога хочешь ты создать себе из своих семи демонов!

Одинокий, ты идешь путем любящего: себя самого любишь ты и потому презираешь себя, как презирают только любящие.

Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает тот о любви, кто не должен был презирать то, что любил он!

Со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, брат мой; и только позднее заковыляет вслед тебе справедливость.

С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто хочет в созидании быть превыше самого себя и так погибает. –

Так говорил Заратустра.

О старых и молодых бабенках

«Почему крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом?

Не сокровище ли, подаренное тебе? Или рожденное тебе дитя? Или теперь ты сам идешь воровскими путями, ты, друг злых?» —

Поистине, брат мой! — отвечал Заратустра. — Это сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я.

Но она беспокойна, как малое дитя; и если бы я не зажимал ей рта, она кричала бы во всё горло.

Когда сегодня я шел один своей дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к моей душе:

«Многое уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».

И я возразил: «О женщине надо говорить только мужчинам».

«Скажи и мне о женщине, — сказала она; я достаточно стара, чтобы тотчас всё позабыть».

И я внял просьбе ее и так говорил:

«Всё в женщине загадка, и всё в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.

Мужчина для женщины средство: цель всегда ребенок. Но что такое женщина для мужчины?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины, как самой опасной игрушки.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина; всё остальное — глупость.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому любит он женщину: горька и самая сладкая женщина.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.

В настоящем мужчине сокрыто дитя, оно хочет играть. Ну-ка, женщины, откройте мне дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой, чистой и тонкой, как алмаз, сияющей добродетелями еще не существующего мира.

Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Пусть ваша надежда зовется: «О, если бы мне родить сверхчеловека!»

Пусть в вашей любви будет храбрость! Своею любовью должны вы атаковать того, кто внушает вам страх!

Пусть в вашей любви будет ваша честь! Женщина вообще мало понимает в чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимыми, и никогда не быть вторыми.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо тогда приносит она любую жертву, а любая другая вещь не имеет для нее цены.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина дурна.

Кого ненавидит женщина больше всего? – Так говорило железо магниту: «Я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы притянуть к себе».

Счастье мужчины зовется: я хочу. Счастье женщины зовется: он хочет.

«Смотри, теперь только стал мир совершенен!» – так думает каждая женщина, когда она повинуется от полноты любви.

И повиноваться должна женщина и найти глубину для своей поверхности. Поверхность – душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах: женщина чует его силу, но не понимает ее». –

Тогда возразила мне старая женщина: «Много лестного сказал Заратустра, и особенно для тех, кто достаточно молод для этого.

Странно, Заратустра мало знает женщин, и, однако, он верно говорит о них! Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного?

А теперь в благодарность прими маленькую истину! Ведь я достаточно стара для нее!

Запеленай ее и зажми ей рот: иначе она будет кричать во всё горло, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» — сказал я. И так говорила старушка:

«Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» —

Так говорил Заратустра.

Об укусе змеи

Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку свою на лицо. Тут приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею; тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела бежать. «Погоди, — сказал Заратустра, — я еще не поблагодарил тебя! Ты разбудила меня вовремя, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток, — ответила печально змея, — мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда же дракон умирал от яда змеи? — сказал он. — Но возьми обратно свой яд! Ты не настолько богата, чтобы дарить его мне». Тогда змея вновь обвилась вокруг его шеи и стала лизать его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал это своим ученикам, они спросили: «В чем же мораль твоего рассказа, о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это:

«Уничтожителем морали называют меня добрые и праведные: мой рассказ аморален.

Если есть у вас враг, не платите ему за зло добром: ведь это устыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.

И лучше гневайтесь, но не стыдите! И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих. Лучше прокляните и вы немного!

И если случилась с вами большая несправедливость, скорей сделайте в ответ пять малых! Ужасно смотреть, как кого-то одного давит несправедливость.

Разве вы уже знали это? Разделенная несправедливость — уже наполовину справедливость. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!

Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для нарушителя, то мне не нравятся ваши наказания.

Благороднее признать себя неправым, чем оказаться правым, особенно если ты прав. Только для этого надо быть достаточно богатым.

Я не люблю вашей холодной справедливости; и во взоре ваших судей глядят на меня всегда палач и его холодный меч.

Скажите, где же находится справедливость, которая есть любовь со зрячими глазами?

Создайте же мне любовь, что вынесет не только всякое наказание, но и любую вину!

Создайте же мне справедливость, которая оправдывает всякого, кроме того, кто судит!

Вы хотите слышать еще и это? У того, кто хочет быть глубоко справедливым, даже ложь обращается в человеколюбие.

Но как мог бы я быть совершенно справедливым! Как мог бы я каждому воздать свое! С меня достаточно, если каждому отдаю я мое.

Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!

На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень в него; но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать этот камень?

Остерегайтесь обидеть отшельника! Но если вы это сделали, то и убейте его! —

Так говорил Заратустра.

О ребенке и браке

Есть у меня вопрос к тебе одному, брат мой: подобно свинцовому лоту бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока она.

Ты молод и желаешь ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя: тот ли ты человек, кто *имеет право* желать ребенка?

Победитель ли ты, укротивший себя, повелитель чувств, господин своих добродетелей? Так спрашиваю я тебя.

Или в твоем желании говорят зверь и естественная потребность? Или одиночество? Или разлад с самим собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода тосковали по ребенку. Живые памятники должен ты строить своей победе и своему освобождению.

Превыше себя должен ты строить. Но сперва ты должен построить себя соразмерно в отношении тела и души.

Не только вдаль должен ты насаждать себя, но и ввысь! Да поможет тебе в этом сад супружества!

Высшее тело должен создать ты, первое движение, вечновращающееся колесо, — созидающего должен ты создать.

Брак — так называю я волю двух создать одного, который больше тех, кто его создал. Почтительность друг перед другом как перед желающими подобной воли называю я браком.

Пусть это будет смыслом и истиной твоего брака. Но то, что называет браком многое множество, эти лишние, — ах, как назову я это?

Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь души вдвоем! Ах, это жалкое самодовольство вдвоем!

Браком называют они всё это; и они говорят, будто браки их заключены на небе.

Так вот, мне не нравится это небо лишних людей! Нет, не нравтся мне они, эти опутанные небесною сетью звери!

Пусть подальше остается от меня бог, который, прихрамывая, идет благословлять то, чего он не соединял!

Не смейтесь над этими браками! У какого ребенка нет причин плакать из-за своих родителей?

Достойным казался мне этот человек и созревшим для смысла земли; но когда я увидел его жену, земля показалась мне домом для умалишенных.

Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней.

Один вышел, как герой, на поиски истины, а в конце концов добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это.

Другой был недоступен в общении и разборчив в выборе. Но одним разом испортил он навсегда свое общество; своим браком называет он это.

Третий искал служанки с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкою женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.

Осторожными находил я теперь всех покупателей, и у всех были хитрые глаза. Но и хитрейший все же покупает жену в мешке.

Много кратких безумств — это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим кратким безумствам.

Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу, — ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам! Но почти всегда два зверя угадывают друг друга.

И даже ваша лучшая любовь есть только восторженное подобие и болезненный пыл. Она факел, который должен светить вам к высшим путям.

Однажды вы должны будете любить превыше себя! Так *научитесь* сначала любить! Потому вы и должны испить горькую чашу вашей любви.

Горечь есть в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!

Жажду в созидающем, стрелу и тоску по сверхчеловеку: скажи, брат мой, это ли твоя воля к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак. —

Так говорил Заратустра.

О свободной смерти

Многие умирают слишком поздно, а некоторые умирают слишком рано. Все еще чуждо звучит учение: «Умри вовремя!»

Умри вовремя: так учит Заратустра.

Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться! — Так советую я лишним.

Но даже лишние важничают своей смертью, и даже самый пустой орех хочет, чтобы его разгрызли.

Серьезно относятся все к смерти, но смерть еще праздник. Еще не научились люди освящать самые прекрасные праздники.

Совершенную смерть показываю я вам, которая для живущих становится жалом и обетом.

Своей смертью умирает свершивший свой путь, победоносно, окруженный надеющимися и дающими обет.

Так следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих!

Так умереть лучше всего; а еще — умереть в борьбе и растратить великую душу.

Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и подкрадывается, как вор, — и, однако, входит как господин.

Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, ибо *я* хочу.

И когда же захочу я? — У кого есть цель и наследник, тот хочет смерти вовремя для цели и наследника.

Из почтения к цели и наследнику больше не повесит он сухих венков в святилище жизни.

Поистине, не хочу я походить на тех, кто сучит веревку: они тянут свои нити в длину, а сами при этом пятятся.

Иной становится для своих истин и побед слишком стар; беззубый рот не имеет уже права на любую истину.

Каждый желающий славы должен вовремя проститься с почестью и владеть трудным искусством – вовремя уйти.

Надо перестать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными; это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили.

Конечно, есть кислые яблоки, участь которых – ждать до последнего дня осени: к этому времени становятся они спелыми, желтыми и сморщенными.

У одних сперва стареет сердце, у других ум. Иные бывают стариками в юности, – но кто поздно юн, остается юным надолго.

Иному не удается жизнь: ядовитый червь въелся ему в сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Иной не бывает никогда сладким: он гниет уже летом. Трусость, вот что удерживает его на суку.

Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева всё гнилое и червивое!

Пусть придут проповедники *скорой* смерти! Они были бы настоящей бурей и сотрясателями деревьев жизни! Но я слышу только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение к земному? У этого земного – вот у кого слишком много терпения к вам, вы, злоречивые!

Поистине, слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповедники медленной смерти, – и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.

Он знал только слезы и уныние иудея, вместе с ненавистью добрых и праведных, – иудей Иисус; тогда напала на него тоска по смерти.

Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы жить и научился любить землю – и смеяться притом.

Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы от своего учения, если б достиг моего возраста! Достаточно благороден был он, чтобы отречься!

Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы его душа и крылья мысли.

Но в мужчине больше от ребенка, чем в юноше, и меньше уныния: лучше понимает он смерть и жизнь.

Свободный к смерти и свободный в смерти, говорящий священное Нет, когда нет уже времени говорить Да: так понимает он смерть и жизнь.

Пусть не будет ваша смерть хулой на человека и землю, друзья мои, — этого прошу я у меда вашей души.

В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря над землей, — или же смерть плохо удалась вам.

Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и землею хочу я вновь стать, чтобы найти отдых у той, что меня родила.

Поистине, была цель у Заратустры, он бросил свой мяч; теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели, вам бросаю я золотой мяч.

Больше всего люблю я смотреть на вас, мои друзья, когда вы бросаете золотой мяч! Поэтому еще немного задержусь я на земле, простите мне это!

Так говорил Заратустра.

О дарящей добродетели

1

Когда Заратустра простился с городом, которому был предан сердцем и имя которого было: «Пестрая корова», — последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и составили его свиту. Так дошли они до перекрестка; тогда Заратустра сказал им, что дальше он хочет идти один: ибо он любит ходить в одиночестве. Ученики же на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; затем он так говорил к своим ученикам:

— Скажите же мне: как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно, и бесполезно, и блестяще, и мягко в своем блеске; оно всегда дарит себя.

Только как отражение высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Подобно золоту светится взор дарящего. Блеск золота заключает мир между луной и солнцем.

Необыкновенна высшая добродетель и бесполезна, блестяща она и мягка в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.

Впрямь, я разгадываю вас, мои ученики: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что может у вас быть общего с кошками и волками?

В том жажда ваша, чтобы самим стать жертвою и даянием; потому вы и жаждете сложить все богатства в свою душу.

Ненасытно стремится душа ваша к сокровищам и драгоценному, ибо ненасытна добродетель ваша в желании дарить.

Вы притягиваете все вещи к себе и в себя, чтобы обратно текли они из родника вашего как дары вашей любви.

Поистине, в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь; но здоровым и священным называю я это себялюбие.

Есть другое себялюбие, чересчур бедное, голодающее, которое всегда хочет красть, — себялюбие больных, больное себялюбие.

Глазом вора смотрит оно на всё блестящее; алчностью голода примеряется оно к тому, кто обильно ест; и всегда шныряет оно вокруг стола дарящих.

Болезнь говорит в этой алчности и невидимое вырождение; о хилом теле говорит воровская алчность этого себялюбия.

Скажите мне, братья мои: что считается у нас худым и наихудшим? Не *вырождение* ли? — Мы всегда угадываем вырождение там, где нет дарящей души.

Вверх идет наш путь, от рода к сверх-роду. Но ужас для нас то вырождающееся чувство, которое говорит: «Всё для меня».

Вверх летит наше чувство: оно есть подобие нашего тела, подобие возвышения. Подобия этих возвышений суть имена добродетелей.

Так проходит тело через историю, становящееся и борющееся. А дух — что он ему? Глашатай его битв и побед, товарищ и отзвук.

Подобия все имена добра и зла: они не выражают, они только намекают. Безумец, кто хочет от них знания.

Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить подобиями: вот где исток вашей добродетели.

Тогда возвысилось ваше тело и воскресло; своей отрадою восхищает оно дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей.

Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток, отрада и опасность для живущих рядом, — вот исток вашей добродетели.

Когда вы возвысились над похвалою и порицанием, и ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам, — вот исток вашей добродетели.

Когда вы презираете удобство и мягкое ложе и можете лечь не слишком далеко от мягкотелых, — вот исток вашей добродетели.

Когда вы хотите единой воли, и эта перемена всех потребностей называется у вас необходимостью, — вот исток вашей добродетели.

Поистине, она есть новое добро и зло! Поистине, это новое глубокое журчание и голос нового источника!

Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она, а вокруг нее мудрая душа: золотое солнце, а вокруг него змея познания.

2

Здесь ненадолго умолк Заратустра и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить — и его голос изменился:

— Оставайтесь верны земле, братья мои, всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас.

Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!

Возвращайте, как я, улетевшую добродетель обратно на землю, — да, обратно к телу и жизни, чтобы дала она смысл земле, человеческий смысл!

Сотни раз улетали и сбивались с пути как дух, так и добродетель. Ах, в нашем теле и теперь живут все эти грезы и ошибки: плотью и волею сделались они.

Сотни раз делали попытку и до сих пор заблуждались как дух, так и добродетель. Да, попыткой был человек. Как много невежества и заблуждения сделалось в нас плотью!

Не только разум тысячелетий — также и безумие их прорывается в нас. Опасно это, быть наследником.

Еще боремся мы шаг за шагом с исполином случаем, над всем человечеством всё еще царит неразумие и отсутствие смысла.

Пусть послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли; пусть будет ценность всех вещей вновь установлена вами! Поэтому вы должны бороться! Поэтому вы должны созидать!

Познавая, очищается тело; приобретая опыт познания, оно возвышается; для познающего священны все побуждения; душа возвысившегося становится радостной.

Врач, помоги себе сам: так поможешь ты и своему больному. Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Есть тысячи троп, по которым никогда не ходили; тысячи здоровий и скрытых островов жизни. Всё еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека.

Бодрствуйте и прислушивайтесь, вы, одинокие! Неслышными взмахами крыл прилетают из будущего ветры, и до тонких ушей доносится добрая весть.

Вы, сегодня одинокие, вы, изгнанники, однажды вы должны стать народом; от вас, избравших самих себя, должен произойти избранный народ — и от него сверхчеловек.

Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже окружена она новым благоуханием, приносящим исцеление, — и новой надеждой!

3

Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова; долго в нерешимости взвешивал он посох в своей руке. Наконец так заговорил он — и голос его изменился:

— Один ухожу я теперь, ученики мои! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Поистине, я советую вам: уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо отплачивает учителю тот, кто всегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?

Вы почитаете меня; но что если однажды падет почитание ваше? Берегитесь, как бы кумир не убил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы верующие в меня, — но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, и вот вы нашли меня. Так поступают все верующие; поэтому всякая вера так мало значит.

Теперь я призываю вас потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам.

Поистине, другими глазами, братья мои, буду я тогда искать утерянных мною; другою любовью буду я тогда любить вас.

И однажды должны вы будете стать моими друзьями и детьми единой надежды; тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами великий полдень.

Великий полдень — когда человек стоит в середине своего пути между зверем и сверхчеловеком и празднует свой вечерний путь как свою высшую надежду: ибо это путь к новому утру.

И тогда идущий к закату сам благословит себя за то, что был он переходящим, и солнце его познания будет стоять в зените.

«*Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек*» — такова должна быть однажды в великий полдень наша последняя воля! —

Так говорил Заратустра.

Часть вторая

«...и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам.

Поистине, другими *глазами*, братья мои, буду я тогда искать утерянных мною; другою любовью буду я тогда любить вас».

Заратустра. О дарящей добродетели (I. С. 81)

Ребенок с зеркалом

После этого Заратустра снова возвратился в горы и в уединение своей пещеры и избегал людей: ожидая, подобно сеятелю, посеявшему свое семя. Но душа его была полна нетерпением и страстным желанием видеть тех, кого он любил: ибо еще многое он имел дать им. А это самое трудное: из любви сжимать раскрытую руку и, как дарящий, хранить стыдливость.

Так проходили для одинокого месяцы и годы; но мудрость его росла и причиняла страдание своей полнотою.

Однажды утром проснулся он еще до зари, долго припоминал что-то, сидя на своем ложе, и наконец так обратился к своему сердцу:

«Что же так напугало меня во сне, что я проснулся? Разве не подходил ко мне ребенок, несший зеркало?

«О Заратустра, – сказал мне ребенок, – посмотри на себя в зеркале!»

Но когда я посмотрел в зеркало, я вскрикнул, и мое сердце содрогнулось: не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и язвительную усмешку его.

Поистине, слишком хорошо понимаю я значение снов и предостережение их: мое *учение* в опасности, сорная трава хочет называться пшеницей!

Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения, так что возлюбленные мои должны стыдиться даров, что дал я им.

Утеряны для меня друзья; настал мой час искать утерянных мною!» –

С этими словами Заратустра вскочил, но не как испуганный, ищущий воздуха, а скорее как ясновидящий и песнопевец, на которого низошел дух. С удивлением на него смотрели его орел и его змея: ибо, подобно утренней заре, грядущее счастье легло на лицо его.

– Что же случилось со мною, мои звери? – сказал Заратустра. – Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь?

Безрассудно мое счастье и безрассудное будет оно говорить: слишком оно еще юно — будьте же терпеливы к нему!

Ранен я своим счастьем; все страдающие должны быть мне врачами!

К моим друзьям могу я вновь спуститься, а также к моим врагам! Заратустра вновь может говорить, и дарить, и делать для любимых то, что они любят больше всего.

Моя нетерпеливая любовь течет потоком через край, вниз, к восходу и к закату. С молчаливых гор и грозовых туч страдания с шумом несется моя душа в долины.

Слишком долго тосковал я и смотрел вдаль. Слишком долго принадлежал я одиночеству; так разучился я молчанию.

Устами всецело сделался я, и шумом ручья с высоких скал, — вниз, в долины хочу я низринуть мою речь.

И пусть низринется поток моей любви туда, где нет пути! Как не найти потоку, в конце концов, дороги к морю!

Правда, есть озеро во мне, отшельническое, самодостаточное; но поток моей любви увлекает его с собою вниз — к морю!

Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидающим, от старых языков. Не хочет больше мой дух бродить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь, — в твою колесницу я прыгаю, буря! И даже тебя я хочу еще хлестать своей злобой!

Как крик и как ликование хочу я нестись по широким морям, пока не найду блаженных островов, где пребывают мои друзья —

И мои враги между ними! Как люблю я теперь каждого, к кому только могу говорить! Даже враги принадлежат к моему блаженству.

И когда я хочу оседлать своего самого дикого коня, мое копье помогает мне всего лучше: оно всегда готовый слуга моей ноги —

Копье, что бросаю я в моих врагов! Как благодарю я их, что могу наконец метнуть его!

Слишком велико было напряжение моей тучи; среди хохота молний хочу я градом осыпать долины.

Могуче будет тогда вздыматься моя грудь; могуче дохнет она бурей над горами — так придет для нее облегчение.

Поистине, подобно буре, приходит мое счастье и моя свобода! Но враги должны думать, что *само зло* неистовствует над их головами.

Да, даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости; и, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами.

Ах, если бы мог я пастушьей свирелью привлечь вас обратно! Ах, если моя львица мудрость научилась бы нежно рычать! Многому уже научились мы вместе!

Моя дикая мудрость зачала на одиноких горах; на жестких камнях родила она самого младшего из своих детей.

Теперь, безумная, бегает она по суровой пустыне и ищет, всё ищет мягкого дерна — моя старая дикая мудрость!

На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои! — на вашу любовь хотела бы она уложить свое любимое дитя!

Так говорил Заратустра.

На блаженных островах

Плоды падают со смоковниц, они хороши и сладки; и когда они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и их сладкую плоть! Осень вокруг, и чистое небо, и время после полудня.

Посмотрите, какое обилие вокруг нас! Из преизбытка хорошо смотреть на дальние моря.

Некогда говорили: «бог», когда смотрели на дальние моря; но теперь учил я вас говорить: «сверхчеловек».

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы оно простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля.

Могли бы вы *сотворить* бога? — Так молчите о всяких богах! Но вы несомненно могли бы сотворить сверхчеловека.

Быть может, не вы сами, братья мои! Но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека, — и пусть это будет вашим лучшим творением! —

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы оно было ограничено тем, что можно помыслить.

Могли бы вы *мыслить* бога? — Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы всё превратилось в человечески-мыслимое, человечески-видимое, человечески-чувствуемое! Ваш собственный смысл должны вы додумать до конца!

И то, что называли вы миром, должно сначала быть создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им! И поистине, для вашего блаженства, вы, познающие!

И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды, вы, познающие? Не могло быть вам врождено ни непостижимое, ни неразумное.

Но я хочу открыть вам всё свое сердце, друзья: *если бы* существовали боги, как выдержал бы я не быть богом! *Следовательно*, нет богов.

Я сделал вывод; но теперь он выводит меня. —

Бог есть предположение; но кто испил бы всю муку этого предположения и не умер? Неужели нужно отнять веру у созидающего, а у орла парение на орлиной высоте?

Бог есть мысль, которая делает всё прямое кривым и всё, что стоит, вращающимся. Но тогда время бы исчезло и всё преходящее было бы только ложью?

Мыслить подобное — словно попасть в вихрь, испытать крепость костей человеческих, и еще — это расстройство желудка: поистине, вертячкой называю я такие догадки.

Злым называю я и враждебным человеку — всё это учение о едином, и полном, и неподвижном, и сытом, и непреходящем!

Всё непреходящее — это только подобие! Поэты слишком много лгут. —

Но о времени и становлении должны говорить самые лучшие подобия: хвалой должны они быть и оправданием всего преходящего!

Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, нужны страдания и многие превращения.

Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие! Так будьте ходатаями и оправдателями всего преходящего.

Чтобы сам созидающий стал ребенком, стал новорожденным, для этого он должен желать быть роженицей и болью роженицы.

Поистине, через сотни душ шел я своей дорогой и через сотни колыбелей и родильных мук. Уже много раз я прощался, я знаю последние, разбивающие сердце часы.

Но так хочет моя созидающая воля, моя судьба. Или, говоря вам откровеннее: такой именно судьбы — хочет моя воля.

Всё чувствующее страдает во мне и пребывает в темнице; но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости.

Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас Заратустра.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда остается от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем воля к рождению.

Прочь от бога и богов тянула меня эта воля; что осталось бы созидать, если бы боги — были здесь!

Но к человеку влечет меня снова и снова страстная воля моя к созиданию; так устремляется молот к камню.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, моих образов образ! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Страшно свирепствует мой молот против своей тюрьмы. От камня пылью летят осколки; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я: ибо тень подошла ко мне — из всех вещей самая тихая, самая легкая подошла однажды ко мне!

Красота сверхчеловека подошла ко мне, как тень. Ах, братья мои! Что мне теперь — до богов! —

Так говорил Заратустра.

О сострадательных

Мои друзья, до друга вашего дошли насмешливые слова: «Посмотрите только на Заратустру! Разве не ходит он среди нас, как среди зверей?»

Но было бы лучше так сказать: «Познающий ходит среди людей, *как будто* среди зверей».

И сам человек называется у познающего: зверь, имеющий красные щеки.

Откуда это у него? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться?

О друзья мои! Так говорит познающий: стыд, стыд, стыд — вот история человека!

И потому благородный предписывает себе никого не стыдить: стыд предписывает он себе перед всяким страдающим.

Поистине, не люблю я этих сердобольных, блаженных в своем сострадании: слишком лишены они стыда.

Если и должен я быть сострадательным, я все-таки не хочу называться им; и если я сострадателен, то уж лучше издали.

Люблю я прикрывать голову и убегаю, прежде чем узнают меня; так советую я делать и вам, друзья мои!

Пусть судьба всегда посылает мне навстречу тех, кто чужд страданию и с кем я *вправе* делить надежду, пищу и мед!

Поистине, я делал и то, и другое для страдающих; но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться.

С тех пор как существуют люди, человек слишком мало радовался; лишь это, братья мои, наш первородный грех!

И когда мы научимся больше радоваться, тогда мы тем лучше разучимся причинять другим боль и выдумывать ее.

Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему, поэтому вытираю я также и душу.

Ибо когда я видел страдальца страдающим, я стыдился его из-за его стыда; и когда я помогал ему, я жестоко обходился с его гордостью.

Большие одолжения рождают не благодарных, а мстительных; и если маленькое благодеяние не забывают, оно обращается в гложущего червя.

«Будьте неприступны, принимая! Отмечайте этим, что вы принимаете!» — так советую я тем, кому нечем отдарить.

Но я из тех, кто дарит: я люблю дарить, как друг друзьям. И пусть чужие и бедные сами срывают плоды с моего дерева: это менее стыдно.

А от нищих надо бы совсем избавиться! Впрямь, сердишься, что даешь им, и сердишься, что не даешь.

И заодно с ними грешников и угрызения совести! Верьте мне, друзья мои: угрызения совести учат кусать.

Но хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое!

Вы говорите: «Радость от мелкой злобы бережет нас от крупного злого дела», — но здесь не следует быть бережливым.

Злое дело похоже на нарыв: оно зудит, и чешется, и прорывается наружу, — оно говорит честно.

«Гляди, я — болезнь» — так говорит злое дело; в этом честность его.

Но мелкая мысль похожа на грибок: он ползет и нагибается и нигде не хочет остановится, — пока всё тело не будет вялым и дряблым от маленьких грибков.

А тому, кто одержим дьяволом, я так говорю на ухо: «Лучше, чтобы ты вырастил своего дьявола! Даже для тебя существует еще путь величия!» —

Ах, братья мои! О каждом знаешь слишком много! И многие делаются для нас прозрачными, но от этого мы не можем еще пройти сквозь них.

Трудно жить с людьми, ибо так трудно хранить молчание.

И не к тому, кто противен нам, бываем мы несправедливы больше всего, а к тому, до кого нам нет никакого дела.

Если есть у тебя страдающий друг, будь для его страдания отдохновением, но и жестким ложем, походной кроватью: так будешь ты ему полезнее всего.

И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори: «Я прощаю тебе то, что ты мне сделал; но что ты сделал это *себе*, — как мог бы я простить!»

Так говорит всякая великая любовь: она преодолевает даже прощение и жалость.

Надо сдерживать свое сердце; стоит только распустить его, и как быстро теряешь голову!

Ах, где в мире совершались большие безумства, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумства сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их!

Так говорил однажды мне дьявол: «Даже у бога есть свой ад: это его любовь к людям».

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: «Бог умер; из-за сострадания к людям умер бог». —

Итак, я предостерегаю вас от сострадания: *оттуда* придет к людям тяжелая туча! Поистине, я знаю толк в приметах погоды!

Запомните также и эти слова: всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет — создать!

«Себя самого приношу я в жертву своей любви, *и ближнего своего подобно себе*» — такова речь всех созидающих.

Но все созидающие тверды. —

Так говорил Заратустра.

О священниках

Однажды Заратустра подал знак своим ученикам и говорил им такие слова:

«Вот — священники; и хотя они мои враги, проходите мимо них спокойно, с опущенными мечами!

И среди них есть герои; многие из них слишком много страдали, поэтому они хотят заставить других страдать.

Злые враги они: нет ничего мстительнее их смирения. И легко оскверняет себя тот, кто нападает на них.

Но моя кровь родственна их крови; и я хочу, чтобы моя кровь почиталась и в их крови». —

И когда прошли они мимо, напала на Заратустру скорбь; но недолго боролся он со своею скорбью и начал так говорить:

— Жаль мне этих священников. И они мне противны; но для меня это не самое важное, с тех пор как я среди людей.

Я страдаю и страдал с ними: пленники они для меня и отверженные. Тот, кого называют они спасителем, заковал их в оковы —

В оковы ложных ценностей и слов безумия! Ах, если бы кто-нибудь спас их от их спасителя!

К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но смотрите, это было спящее чудовище!

Ложные ценности и слова безумия — это худшие чудовища для смертных: долго дремлет и ждет в них судьба.

Но наконец оно приходит, и подстерегает, и пожирает, и проглатывает тех, что строили на нем себе жилища.

О, посмотрите же на эти жилища, что построили себе священники! Церквами называют они свои сладостно благоухающие пещеры.

О, этот поддельный свет, этот спертый воздух! Здесь, где душа не смеет — взлететь в свою высоту!

Но так велит их вера: «На коленях вверх по лестнице, вы, грешники!»

Поистине, предпочитаю я видеть бесстыдного, чем перекошенные глаза их стыда и благоговения!

Кто создал себе эти пещеры и лестницы покаяния? Не были ли ими те, кто хотел спрятаться и стыдился ясного неба?

Только когда ясное небо вновь проглянет сквозь разрушенные крыши на траву и пунцовый мак у разрушенных стен, — снова обращу я свое сердце к жилищам этого бога.

Они называли богом то, что противоречило им и причиняло страдание; и поистине, много героического было в их поклонении!

И не иначе умели они любить своего бога, как распяв человека!

Как трупы думали они жить, черным обшили они свой труп; и даже из их речей чую я еще тошную пряность склепов.

Кто живет вблизи их, живет вблизи черных прудов, откуда жаба в сладкой задумчивости поет свою песню.

Лучшие песни должны бы они мне петь, чтобы научился я верить в их спасителя: спасенными должны бы выглядеть его ученики!

Нагими хотел бы я видеть их: ибо только красота должна проповедовать покаяние. Но кого же убедит эта закутанная печаль!

Поистине, сами их спасители явились не из свободы и седьмого неба свободы! Поистине, сами они никогда не ходили по коврам познания!

Из многих дыр состоял дух этих спасителей; и в каждую поместили они свое безумие, свою затычку, которую они назвали богом.

В их сострадании утонул их дух, и когда они вздувались и раздувались от сострадания, на поверхности всегда плавало великое безумие.

Гневно, с криком гнали они свое стадо по своей тропинке, — как будто к будущему ведет только одна тропа! Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще к овцам!

Крошечный ум и большая душа были у этих пастырей; но, братья мои, какими маленькими странами были до сих пор даже самые большие души!

Кровавыми знаками отмечен путь, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью доказывают истину.

Но кровь наихудшее доказательство истины; кровь отравляет самое чистое учение до безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на костер из-за своего учения, — что это доказывает! Куда правдивее, когда из собственного пожара выходит собственное учение!

Горячее сердце и холодная голова: где они встречаются, там рождается ураган, имя ему «Спаситель».

Поистине, были люди более великие и более высокие по рождению, чем те, кого народ называет спасителями, эти яростные ураганы!

И от более великих, чем были все спасители, должны вы, братья мои, избавиться, если хотите найти путь к свободе!

Никогда еще не было сверхчеловека. Нагими видел я обоих, самого большого и самого маленького человека:

Еще слишком похожи они друг на друга. Поистине, даже самого большого находил я — слишком человеческим!

Так говорил Заратустра.

О добродетельных

Громом и небесным огнем надо говорить к вялым и сонным чувствам.

Но голос красоты говорит тихо, он вкрадывается только в самые чуткие души.

Тихо вздрагивал и смеялся сегодня мой щит; это священный смех и трепет красоты.

Над вами, вы, добродетельные, смеялась сегодня моя красота. И до меня доносился ее голос: «Они хотят еще — чтобы им заплатили!»

Вы еще хотите, чтобы вам заплатили, вы, добродетельные! Хотите плату за добродетель, небо за землю и вечность за ваше сегодня?

И теперь негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаятеля плат и наград? И поистине, я даже не учу, что добродетель сама себе награда.

Ах, вот мое горе: в основу вещей волгали награду и наказание — и даже в основу ваших душ, вы, добродетельные!

Но подобно клыку вепря должно мое слово бороздить почву вашей души; плугом хочу я называться для вас.

Все сокровенное вашей почвы должно выйти на свет; и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и разбитые, отделится ваша ложь от вашей истины.

Ибо вот ваша истина: вы *слишком чисты* для грязи слов: мщение, наказание, награда, возмездие.

Вы любите вашу добродетель, как мать свое дитя; но слыхано ли, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

Ваша возлюбленная Самость, вот ваша добродетель. Жажда кольца есть в вас: чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо.

Гаснущей звезде подобно всякое дело вашей добродетели: ее свет всегда еще в пути и блуждает — когда же не будет он больше в пути?

Так и свет вашей добродетели еще в пути, даже когда дело совершено. Пусть оно ныне забыто и мертво — луч его света жив еще и блуждает.

Пусть ваша добродетель будет вашей Самостью, а не чем-то посторонним, кожей, покровом: вот истина из глубин вашей души, вы, добродетельные! —

Конечно, есть те, кто добродетелью называет судороги под плетью; вы довольно наслушались их воплей!

Есть и другие, называющие добродетелью леность своих пороков; как только их ненависть и их зависть сонно потягиваются, их «справедливость» просыпается и трет свои заспанные глаза.

Есть и такие, которых тянет вниз: их демоны тянут их. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и алчная страсть их к своему богу.

Ах, и их крик достигал ваших ушей, вы, добродетельные: «Что *не* есть я, это, это для меня бог и добродетель!»

Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущие камни с горы: они говорят много о достоинстве и добродетели, — свою узду называют они добродетелью!

Есть и такие, что подобны часам, заведенным на день; они тикают и хотят, чтобы тиканье называлось — добродетелью.

Поистине, они забавляют меня: где бы ни находил я такие часы, я завожу их своей насмешкой; и они должны еще прожужжать мне!

Другие гордятся своей пригоршней справедливости и клевещут во имя ее на всё, так что мир тонет в их несправедливости.

Ах, как отвратительно звучит слово «добродетель» в их устах! И когда они говорят: «Я справедлив», всегда это звучит как: «Я отомщен!»

Своей добродетелью хотят они выцарапать глаза врагам; они возносятся только для того, чтобы унизить других.

И есть такие, что сидят в своем болоте и так говорят из тростника: «Добродетель — это значит сидеть смирно в болоте.

Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укусить; во всем мы держимся мнения, внушенного нам».

И есть такие, что любят жесты и думают: добродетель — это своего рода жест.

Их колени всегда преклоняются, а руки восхваляют добродетель, но их сердце ничего не знает об этом.

И есть такие, что считают за добродетель сказать: «Добродетель необходима»; но в душе они верят только в необходимость полиции.

И иной, кто не может видеть высокое в людях, называет добродетелью то, что слишком близко видит низкое их: добродетелью называет он свой дурной глаз.

Одни хотят, чтобы их наставили и подвигли, и называют это добродетелью; а другие хотят, чтобы их сокрушили – и также называют это добродетелью.

И почти все верят, что участвуют в добродетели; все хотят по меньшей мере быть знатоками в «добре» и «зле».

Не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам: «Что знаете *вы* о добродетели! Что *могли бы* вы знать о добродетели!» –

Но чтобы устали вы, друзья мои, от старых слов, которым научились от глупцов и лжецов:

чтобы устали от слов «награда», «возмездие», «наказание», «справедливая месть» –

чтобы устали говорить: «Такой-то поступок хорош, ибо он бескорыстен».

Ах, друзья мои! Пусть *ваша* Самость будет в поступке, как мать в ребенке, – таково должно быть *ваше* слово о добродетели!

Поистине, я отнял у вас сотню слов и самые дорогие игрушки вашей добродетели; и теперь вы сердитесь на меня, как сердятся дети.

Они играли у моря, – вдруг пришла волна и смыла в пучину их игрушку; теперь плачут они.

Но та же волна должна принести им новые игрушки и рассыпать перед ними новые пестрые раковины!

Так будут они утешены; подобно им, и вы, друзья мои, получите свое утешение – и новые пестрые раковины! –

Так говорил Заратустра.

Об отребье

Жизнь есть родник радости; но где пьет отребье, там все колодцы отравлены.

Всё чистое мило мне; но не могу я видеть оскаленных морд и жажду нечистых.

Они бросали свой взор в глубь колодца: теперь мне сверкает из колодца их мерзкая улыбка.

Священную воду отравили они похотью; и когда свои грязные сны они называли радостью, отравляли они еще и слова.

Негодует пламя, когда отсыревшие сердца свои кладут они на огонь; сам дух кипит и дымится, когда отребье приближается к огню.

Приторным и размягшим становится плод в их руках, недолговечным и сухим делает их взор плодовое дерево.

И иные, кто отвернулся от жизни, отвернулись только от отребья: они не хотели делить с отребьем ни источника, ни пламени, ни плода.

И иные, кто уходил в пустыню и вместе с хищными зверями терпел жажду, просто не хотели сидеть у водоема вместе с грязными погонщиками верблюдов.

И иные, кто приходил как опустошение и град на все плодородные поля, хотели только засунуть свою ногу в пасть отребья и так заткнуть ему глотку.

Знание, что для самой жизни нужны вражда, и смерть, и кресты мучеников, — это еще не тот кусок, которым давился я больше всего —

Но однажды я спросил и почти подавился своим вопросом: как? неужели для жизни *нужно* и отребье?

Нужны отравленные источники, и зловонные огни, и грязные сны, и черви в хлебе жизни?

Не моя ненависть, а мое отвращение жадно пожирало мою жизнь! Ах, я часто утомлялся духом, когда даже отребье находил остроумным!

И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти – с отребьем!

Среди народов жил я, чужеязычный, заткнув уши: чтобы язык их барышничества и их торговля из-за власти оставались мне чуждыми.

И, зажав нос, шел я мрачно через все вчера и сегодня: поистине, дурно пахнут пишущей чернью все вчера и сегодня!

Как калека, ставший глухим, слепым и немым, так жил я долго, чтобы не жить вместе с властвующей, пишущей и веселящейся чернью.

С трудом, осторожно поднимался мой дух по лестнице; крохи радости были его усладой; опираясь на посох, влачилась жизнь для слепца.

Что же случилось со мною? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как взлетел я на высоту, где никакое отребье не сидит уже у источника?

Разве не само отвращение мое создало мне крылья и силы, предчувствующие источник? Поистине, я должен был взлететь в самую высь, чтобы вновь найти родник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой высоте, бьет для меня родник радости! И есть жизнь, от которой не пьет отребье вместе с вами!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто вновь опустошаешь ты кубок, желая наполнить его!

Еще должен я научиться более скромно приближаться к тебе: слишком сильно стремится навстречу мое сердце тебе –

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, – как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело и полуднем лета!

Летом на самой высоте, с холодными источниками и блаженной тишиною; о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это наша высь и наша родина; слишком высоко и недоступно живем мы здесь для всех нечистых и их жажды.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он! Он засмеется в ответ вам *своею* чистотой.

На дереве будущего вьем мы гнездо свое; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им почудилось бы, что они пожирают огонь, и они спалили бы себе глотки!

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы счастье наше для их тел и духа!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я однажды еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание их духа: так хочет мое будущее.

Действительно, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: «Остерегайтесь харкать *против* ветра!» —

Так говорил Заратустра.

О тарантулах

Взгляни, это нора тарантула! Не хочешь ли ты посмотреть на него самого? Здесь висит его сеть; тронь ее, чтобы она задрожала.

Вот идет он добровольно; добро пожаловать, тарантул! Черным сидит на твоей спине твой треугольник и примета; и знаю я также, что сидит в твоей душе.

Мщение сидит в твоей душе: куда ты укусишь, там вырастает черный струп; мщением заставляет твой яд кружиться душу!

Так говорю я вам для сравнения, вам, проповедникам *равенства*, заставляющим кружиться души! Тарантулы вы для меня и затаившиеся мстители!

Но я хочу вывести ваши тайники на свет; потому и смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты.

Потому рву я вашу сеть, чтобы ярость выманила вас из вашей норы-лжи и месть выскочила из-за вашего слова «справедливость».

Пусть будет человек избавлен от мести, — это для меня мост к высшей надежде и радуга после долгих гроз.

Но другого, конечно, хотят тарантулы. «Для нас справедливость именно в том, чтобы мир наполнился грозами нашего мщения» — так говорят они между собой.

«Мщению и поруганию хотим мы предать всех, кто не подобен нам» — такой обет дают сердца тарантулов.

«Воля к равенству — вот что должно стать отныне именем добродетели; и против всего власть имущего хотим мы поднять свой крик!»

Вы, проповедники равенства, бессильное безумие тиранов так вопиет в вас о «равенстве», так переодеваются ваши сокровенные желания тиранов в слова о добродетели!

Угрюмое высокомерие, скрытая зависть, быть может, высокомерие и зависть ваших отцов, — это прорывается в вас пламенем и безумием мести.

То, о чем молчал отец, сказывается в сыне; и часто находил я, что сын есть обнаженная тайна отца.

На вдохновенных похожи они, но не сердце вдохновляет их — а месть. И если они становятся хитрыми и холодными, это не ум, а зависть делает их хитрыми и холодными.

Ревность приводит их даже на путь мыслителей; и в том отличительная черта их ревности — всегда идут они слишком далеко, так что их усталость должна в конце концов лечь спать на снегу.

В каждой их жалобе звучит мщение, в каждой их похвале есть желание причинить страдание — и быть судьями кажется им блаженством.

Но так советую я вам, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать!

Это народ дурного сорта и происхождения; в их лицах проглядывают палач и ищейка.

Не доверяйте всем тем, кто много говорит о своей справедливости! Поистине, их душам недостает не только меду.

И если они сами себя называют «добрыми и праведными», не забывайте: чтобы стать фарисеями, им недостает только — власти!

Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали и путали.

Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни, — и в то же время они проповедники равенства и тарантулы.

Они ратуют за жизнь, хотя при этом сидят в своих норах, эти ядовитые пауки, отвернувшись от жизни: так они хотят причинять страдание.

Тем хотят они причинять страдание, у кого теперь власть: ибо для них нет ничего лучше проповеди смерти.

Будь иначе, и тарантулы учили бы иначе: именно они были когда-то лучшими клеветниками на мир и сжигателями еретиков.

Я не хочу, чтобы меня смешивали и путали с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит *мне* справедливость: «Люди не равны».

И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?

По тысяче мостов и тропинок должны протискиваться они к будущему, и пусть между ними будет всё больше

войны и неравенства: так заставляет меня говорить моя великая любовь!

Изобретателями образов и призраков должны они стать в своей вражде, и этими образами и призраками должны они еще сразиться в величайшей битве!

Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий и все имена ценностей, – это должно быть оружием и бряцающими знаками того, что жизнь должна всегда снова преодолевать себя!

В высоту хочет она строить себя, столбами и ступенями, сама жизнь; в дальние дали хочет смотреть она и на блаженные красоты, – *для этого* ей нужна высота!

И так как ей нужна высота, нужны ей ступени и противоречие ступеней и восходящих! Восходить хочет жизнь и, восходя, преодолевать себя.

Посмотрите, друзья мои! Здесь, где нора тарантула, высятся развалины древнего храма, – посмотрите на них просветленными глазами!

Поистине, тот, кто некогда здесь, в камне, воздвигал свои мысли, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрейшими!

Даже в красоте есть борьба и неравенство, и война за власть и сверхвласть – этому учит он нас самым явственным образом.

Как божественно преломляются здесь в борьбе своды и арки, как светом и тенью устремляются они друг против друга, божественно-стремительные, –

так же уверенно и прекрасно пусть будем врагами и мы, друзья мои! Божественно устремимся мы друг *против* друга! –

Горе! Тут укусил меня самого тарантул, мой старый враг! Божественно уверенно и прекрасно укусил он меня в палец!

«Должно быть наказание и справедливость – так думает он, – ведь недаром же ему петь здесь гимны в честь вражды!»

Да, он отомстил за себя! И, горе! теперь мщением заставит он кружиться и мою душу!

Но чтобы *не* стал я кружиться, друзья мои, привяжите меня покрепче к этому столбу! Уж лучше хочу я быть столпником, чем вихрем мщения!

Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра; а если он и танцор, то никак не танцор тарантеллы! –

Так говорил Заратустра.

О прославленных мудрецах

Народу служили вы и народному суеверию, вы все, прославленные мудрецы! — а *не* истине! И потому только платили вам почтением.

И еще потому выносили ваше неверие, что было оно острословием и окольным путем к народу. Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешается над их своеволием.

Но ненавистен народу, как волк собакам, — свободный ум, враг цепей, кто не молится и живет в лесах.

Выгнать его из убежища — это называлось всегда у народа «чувством справедливости»; на него он еще натравливает самых зубастых собак.

«Истина здесь: ибо здесь народ! Горе, горе ищущему!» — так звучало исстари.

Свой народ хотели вы оправдать в его поклонении, это называли вы «волей к истине», вы, прославленные мудрецы!

И ваше сердце всегда говорило себе: «Из народа вышел я, оттуда же низошел на меня голос бога».

Упрямые и умные, подобно ослам, вы всегда были ходатаями за народ.

И немало властителей, желавших ладить с народом, впрягали впереди своих коней еще — осленка, прославленного мудреца.

А теперь хотелось бы мне, прославленные мудрецы, чтобы вы наконец совсем сбросили шкуру льва!

Пеструю шкуру хищного зверя и космы исследующего, ищущего, завоевывающего!

Ах, чтобы научился я верить в вашу «правдивость», вам надо сперва разрушить вашу волю к поклонению.

Правдивый — так называю я того, кто идет в пустыни, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовое поклониться.

На желтом песке, палимый солнцем, жадно косится он на богатые источниками острова, где всё живое отдыхает под тенью деревьев.

Но жажда не может заставить его стать похожим на этих хорошо устроившихся: ибо где есть оазисы, там есть и идолы.

Голодной, сильной, одинокой, безбожной—такой хочет быть воля льва.

Свободная от счастья рабов, избавленная от богов и поклонения, бесстрашная и наводящая страх, великая и одинокая—такова воля правдивого.

В пустыне исстари жили правдивые, свободные умы, как господа пустыни; а в городах живут хорошо откормленные, прославленные мудрецы,—вьючные животные.

Ибо всегда тянут они, как ослы,—телегу *народа*!

Не то чтобы я сердился на них из-за этого: но слугами остаются они для меня и запряженными, даже если сверкают золотой сбруей.

И часто бывали они хорошими слугами, достойными похвалы. Ибо так говорит добродетель: «Если должен ты быть слугой, ищи того, кому твоя служба всего полезнее!»

«Дух и добродетель твоего господина должны расти оттого, что ты его слуга: так будешь ты сам расти вместе с его духом и его добродетелью!»

И поистине, вы, прославленные мудрецы, вы, слуги народа! Вы сами росли вместе с духом и добродетелью народа—а народ через вас! К вашей чести говорю я это!

Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях, близоруким народом,—который не знает, что такое *дух*!

Дух есть жизнь, которая сама режет по живому: собственным страданием увеличивает она свое знание,—знали ли вы уже это?

И счастье духа в том, чтобы помазанным быть и освященным слезами на заклание,—знали ли вы уже это?

И слепота слепого, и его искание ощупью свидетельствуют о силе солнца, на которое он глядел,—знали ли вы уже это?

С помощью гор должен учиться *строить* познающий! Мало того, что дух движет горами,—знали ли вы уже это?

Вы знаете только искры духа, но не видите вы наковальни, которой является он, и жестокости его молота!

Поистине, вы не знаете гордости духа! Но еще менее вынесли бы вы скромность духа, если б однажды захотела она говорить!

Никогда не могли вы бросить свой дух в снежную яму: вы недостаточно горячи для этого! Оттого и не знаете вы восторгов его холода.

Но во всем обходитесь вы, по-моему, слишком запросто с духом; и из мудрости часто делали вы богадельню и больницу для плохих поэтов.

Вы не орлы; оттого и не испытывали вы счастья в испуге духа. А кто не птица, не должен гнездиться над безднами.

Вы кажетесь мне теплыми — но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как лед, самые глубокие источники духа, — наслаждение для горячих рук и для тех, кто действует.

Почтенные стоите вы тут, строгие, с прямыми спинами, прославленные мудрецы! — вами не движет могучий ветер и воля.

Видели вы когда-нибудь парус, плывущий по морю, округленный, надутый ветром и дрожащий от порывов ветра?

Подобно парусу, дрожащему от порывов духа, проходит по морю моя мудрость — моя дикая мудрость!

Но вы, слуги народа, вы, прославленные мудрецы, — как *могли* бы вы идти со мной! —

Так говорил Заратустра.

Ночная песнь

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: только теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне, она сама говорит языком любви.

Я свет; ах, если бы я был ночью! Но в том одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы я был темным и ночным! Как приник бы я к сосцам света!

И еще вас хотел бы я благословить, вы, искрящиеся звездочки и светлячки небес! – и быть блаженно счастливым от ваших даров света.

Но я живу в моем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что вырывается из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что рука моя никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу ожидающие глаза и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О жажда желаний! О ненасытный голод среди пресыщения!

Они берут у меня, – но затрагиваю ли я их душу? Пропасть лежит между Давать и Брать; но даже через малую пропасть трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинять страдание хотел бы я тем, кому свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною: так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже тянется к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении: так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство льется из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от бесконечного раздавания.

Мои глаза не проливаются перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания наполненных рук.

Куда же ушли слезы из моих глаз и мягкость из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех, кто светит!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом, — для меня молчат они.

О, в этом вражда света к светящемуся, безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца к светящемуся, равнодушное к другим солнцам, — так движется всякое солнце.

Подобно буре, летят солнца своими путями, в этом движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом холод их.

О, это только вы, темные, вы, ночные, создаете теплоту из светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждой ночного! И одиночеством!

Ночь: теперь вырывается, как родник, из меня мое желание, — я хочу говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И душа моя тоже бьющий ключ.

Ночь: только теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного. —

Так пел Заратустра.

Танцевальная песнь

Однажды вечером проходил Заратустра со своими учениками по лесу; и вот, отыскивая источник, вышел он на зеленый луг, окаймленный молчаливыми деревьями и кустарником; на нем танцевали девушки. Узнав Заратустру, девушки перестали танцевать; Заратустра же подошел к ним с приветливым видом и говорил такие слова:

«Не прекращайте танец, вы, милые девушки! К вам подошел не противник игр, зло глядящий, не враг девушек.

Ходатай бога я перед дьяволом, а он – дух тяжести. Как бы мог я, легконогие, быть врагом божественных танцев? Или женских ножек с красивыми изгибами?

Пожалуй, я – лес и ночь темных деревьев; но кто не испугается моего мрака, найдет и кущи роз под моими кипарисами.

И маленького бога, возможно, найдет он, более всего любезного девушкам: у колодца лежит он, тихо, с закрытыми глазами.

Поистине, среди бела дня уснул он, лентяй! Не гонялся ли он слишком много за бабочками?

Не сердитесь на меня, прекрасные танцовщицы, если я слегка накажу маленького бога! Быть может, кричать будет он и плакать, – но он готов смеяться, даже когда плачет!

И со слезами на глазах пусть просит он вас о танце; а я спою песнь под его танец:

Песнь танца и насмешки над духом тяжести, моим величайшим и самым могучим демоном, о котором говорят, что он «владыка мира». –

И вот песня, которую пел Заратустра, в то время как Купидон и девушки вместе танцевали:

В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь! И мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое.

Но ты вытащила меня золотою удочкой; насмешливо смеялась ты, когда я называл тебя непостижимой.

«Так говорят все рыбы, — отвечала ты, — чего не постигают *они*, то непостижимо.

Но я лишь изменчива и дика, и во всем женщина, притом не добродетельная:

Хотя я зовусь у вас, мужчин, «глубокой» или «верной», «вечной», «таинственной».

Но вы, мужчины, всегда одаряете нас собственными добродетелями — ах, вы, добродетельные!»

Так смеялась она, невероятная; но никогда не верю я ей и ее смеху, когда она дурно говорит о себе.

И когда я с глазу на глаз говорил со своей дикой мудростью, она сказала мне гневно: «Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь, потому только ты и *хвалишь* жизнь!»

Чуть было зло не ответил я на это и не сказал ей, рассерженной, правду; нельзя злее ответить, как «сказав правду» своей мудрости.

Так обстоит дело между нами тремя. До глубины души люблю я только жизнь — и поистине, всего больше тогда, когда ее ненавижу!

Но если я благосклонен к мудрости и часто слишком благосклонен к ней, — это оттого, что она очень напоминает мне жизнь!

У нее те же глаза, тот же смех и даже золотая удочка; что я могу поделать, если они так похожи одна на другую?

И когда однажды жизнь спросила меня: «Кто это, мудрость?» — я с жаром ответил: «Ах да! мудрость!

Ее жаждут и не насыщаются, смотрят сквозь покровы, ловят сетью.

Красива ли она? Почем я знаю! Но и самые старые карпы еще попадаются на ее приманки.

Изменчива она и упряма; часто я видел, как кусала она себе губы и вела гребень против волос.

Быть может, она зла и лукава, и во всем она баба; но когда она дурно о себе говорит, именно тогда обольщает она больше всего».

Когда я сказал это жизни, она зло улыбнулась и закрыла глаза. «О ком же ты говоришь? — спросила она. — Не обо мне ли?

И если даже ты прав, — можешь ли ты *это* говорить мне прямо в лицо! А теперь скажи мне о твоей мудрости!»

Ах, ты опять раскрыла свои глаза, о возлюбленная жизнь! И мне показалось, что я опять погружаюсь в непостижимое. –

Так пел Заратустра. Но когда танец кончился и девушки ушли, он сделался печальным.

«Солнце давно уже село, – сказал он наконец, – луг сырой, от лесов веет прохладой.

Неведомое окружает меня и смотрит задумчиво. Как! Ты жив еще, Заратустра?

Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие жить еще? –

Ах, друзья мои, это вечер вопрошает во мне. Простите мне мою печаль!

Вечер настал: простите мне, что вечер настал!» –

Так говорил Заратустра.

Надгробная песнь

«Там остров могил, молчаливый; там могилы моей юности. Туда отнесу я вечнозеленый венок жизни».

Так решив в сердце, поплыл я по морю. –

О вы, юности моей лики и видения! О взоры любви, божественные мгновения! Как быстро умерли вы! Я вспоминаю о вас сегодня как о моих мертвецах.

От вас, мои дорогие мертвецы, нисходит сладкое благоухание, что облегчает сердце слезами. Поистине, оно глубоко трогает и делает легким сердце одинокого пловца.

Всё еще я самый богатый и больше всех вызываю зависть – я, самый одинокий! Ведь вы *были* со мною, а я все еще с вами; скажите, кому падали, как мне, такие розовые яблоки с дерева?

Всё еще я наследник и земля вашей любви, цветущий в память о вас пестрыми дикорастущими добродетелями, о вы, возлюбленные!

Ах, мы были созданы оставаться близкими друг другу, вы, милые, нездешние чудеса; не как боязливые птицы подошли вы ко мне и к желанию моему – нет, как доверчивые к доверчивому!

Вы созданы для верности, подобно мне, и для нежных вечностей; должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности, вы, божественные взоры и мгновения: иному имени не научился я еще.

Поистине, слишком быстро умерли вы для меня, беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал и я от вас; невиновны мы друг перед другом в нашей неверности.

Чтобы *меня* убить, душили вас, вы, певчие птицы моих надежд! В вас, возлюбленные мои, пускала всегда злоба свои стрелы – чтобы попасть в мое сердце!

И она попала! Ведь вы были всегда самыми близкими моему сердцу, моим владением и моей одержимостью, – *потому* должны были вы умереть молодыми и слишком рано!

В самое уязвимое, чем я владел, пустили стрелу; то были вы, чья кожа походит на нежный пух и еще больше на улыбку, умирающую от одного взгляда!

Но так скажу я своим врагам: «Что значит человекоубийство в сравнении с тем, что вы сделали мне!

Худшее сделали вы мне, чем всякое человекоубийство; невозвратное взяли вы у меня», — так говорю я вам, мои враги!

Разве не убивали вы самые дорогие лики и чудеса моей юности! Товарищей моих игр отнимали вы у меня, блаженных духов! В память их возлагаю я этот венок и это проклятие.

Это проклятие вам, мои враги! Разве не укоротили вы мою вечность, — так звук разбивается в холодную ночь! Одним взглядом божественного ока промелькнула она для меня, — одним мгновением!

Так говорила в добрый час когда-то моя чистота: «Божественными должны быть все существа».

Тогда напали вы на меня с грязными призраками; ах, куда же улетел тот добрый час!

«Все дни должны быть для меня священны» — так говорила когда-то мудрость моей юности, поистине, веселой мудрости речь!

Но тогда украли вы, враги, у меня мои ночи и продали их за бессонную муку; ах, куда же улетела та веселая мудрость?

Когда-то ждал я от птиц счастливых примет, — тогда пустили вы мне на дорогу враждебное чудовище — сову. Ах, куда же улетело тогда мое нежное стремление?

Когда-то я дал обет отрешиться от всякого отвращения, — тогда превратили вы моих ближних и самых близких в гнойные язвы. Ах, куда же улетел тогда мой самый благородный обет?

Как слепец, шел я когда-то блаженными путями, — тогда набросали вы грязи на дорогу слепца, и теперь чувствует он отвращение к старой тропинке.

И когда я совершил самое трудное и праздновал победу своих преодолений, — тогда вы заставили тех, кто любили меня, кричать, что причиняю я им жестокую боль.

Поистине, всё это было делом ваших рук: вы отравляли мой лучший мед и старания моих лучших пчел.

К моей щедрости вы посылали самых наглых нищих; вокруг моего сострадания заставляли вы тесниться неисправимых бесстыдников. Так ранили вы мои добродетели в их вере.

И если приносил я в жертву самое священное, тотчас присоединяло к этому ваше «благочестие» свои жирные дары, так что в чаду вашего жира задыхалось мое самое священное.

И однажды хотел я танцевать, как никогда еще не танцевал: выше небес хотел я танцевать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца.

И он затянул ужасающий глухой напев; ах, он трубил мне в уши, как печальный рог!

Убийственный певец, орудие злобы, самый невиновный! Уже стоял я готовым к лучшему танцу — тогда убил ты своими звуками мой восторг!

Только в танце умею я говорить символами о самых высоких вещах — и теперь остался мой самый высокий символ невыраженным в моих телодвижениях!

Невыраженной и неразрешенной осталась моя высшая надежда! И умерли все образы и утешения моей юности!

Как же я вынес это? Как перенес и превозмог эти раны? Как восстала моя душа из этих могил?

Да, есть во мне нечто неуязвимое, непогребаемое, взрывающее скалы, — это *моя воля*. Молчаливо и не изменяясь проходит она через годы.

Своим ходом хочет идти на моих ногах моя старая воля; ее чувство безжалостно и неуязвимо.

Неуязвим я только в мою пяту. Всё еще жива ты и верна себе, самая терпеливая! Всё еще прорываешься ты сквозь все могилы!

В тебе живет еще всё неразрешенное моей юности; и как жизнь и юность, сидишь ты здесь, надеясь, на желтых развалинах могил.

Да, ты еще для меня разрушительница всех могил; будь здорова, моя воля! И только где есть могилы, есть воскресения. —

Так пел Заратустра.

О самопреодолении

«Волей к истине» называете вы, мудрейшие, то, что движет вами и делает вас страстными?

Волей к мыслимости всего сущего — так называю *я* вашу волю!

Все сущее хотите вы сперва *сделать* мыслимым: ибо вы сомневаетесь со здоровым недоверием, мыслимо ли уже оно.

Оно должно покоряться и поддаваться вам! Так хочет ваша воля. Гладким должно оно стать и подвластным духу, как его зеркало и отражение.

В этом вся ваша воля, вы, мудрейшие, как воля к власти, — и даже когда вы говорите о добре и зле и об оценках ценностей.

Создать хотите вы мир, перед которым могли бы преклонить колена, — такова ваша последняя надежда и опьянение.

Однако немудрые, народ, — подобны реке, по которой плывет челн, а в нем сидят торжественные и разряженные оценки ценностей.

Вашу волю и ваши ценности пустили вы по реке становления; старая воля к власти выдает себя в том, во что верит народ как в добро и зло.

То были вы, мудрейшие, кто посадил таких гостей в этот челн и дал им блеск и гордые имена, — вы и ваша господствующая воля!

Всё дальше несет река ваш челн, она *должна* нести его. Что за беда, если пенится разбитая волна и гневно противится килю!

Не река ваша опасность и конец вашего добра и зла, вы, мудрейшие, но сама эта воля, воля к власти, — неистощимая творящая воля к жизни.

Но чтобы поняли вы мое слово о добре и зле, я скажу вам еще свое слово о жизни и свойстве всего живого.

Живое прослеживал я, прошел великими и малыми путями, чтобы познать его свойство.

Стогранным зеркалом ловил я взор жизни, когда уста ее молчали, — чтобы взор говорил мне. И ее взор говорил мне.

Но где ни находил я живое, там слышал я речь о повиновении. Всё живое есть нечто повинующееся.

И вот второе: тому повелевают, кто не может повиноваться себе самому. Таково свойство живого.

Но вот третье, что я слышал: повелевать труднее, чем повиноваться. И не потому только, что повелевающий несет бремя всех повинующихся и что легко может это бремя раздавить его:

Попыткой и дерзновением казалось мне всякое повеление; и всегда, повелевая, живущее рискует собой.

И даже когда он повелевает себе самому, — даже тогда он должен еще искупить свое повеление. Своего собственного закона должен он стать судьей, и мстителем, и жертвой.

«Но как же происходит это?» — так спрашивал я себя. Что заставляет всё живое повиноваться и повелевать и, повелевая, быть еще повинующимся?

Слушайте же мое слово, вы, мудрейшие! Проверьте хорошенько, проник ли я в сердце жизни и до самых корней ее сердца!

Где находил я живое, там находил я и волю к власти; и даже в воле слуги находил я волю быть господином.

Чтобы более сильному служило более слабое — к этому принуждает его воля, которая хочет быть господином над еще более слабым: лишь без этой радости не может оно обойтись.

И как меньшее отдается большему, чтобы оно радовалось и власть имело над меньшим, — так отдает себя в жертву и величайшее и из-за власти рискует — жизнью.

В том и самопожертвование величайшего, что это дерзновение, и опасность, и игра в кости, где на кону смерть.

А где есть жертва, и служение, и взоры любви, — там есть и воля быть господином. Окольными путями крадется слабейший в крепость и в самое сердце сильнейшего — и крадет власть.

И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. «Смотри, — говорила она, — я то, *что всегда должно преодолевать самое себя.*

Конечно, вы называете это волей к рождению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному: но все это единое и тайна.

Лучше погибну я, чем отрекусь от этого единого; и поистине, где гибель и листопад, там, смотрите, жизнь жертвует собой – ради власти!

Пусть буду я борьбой, и становлением, и целью, и противоречием целей; ах, кто угадывает мою волю, угадывает также, какими *кривыми* путями она должна идти!

Что бы ни создавала я и как бы ни любила я это, – скоро должна я стать противницей ему и моей любви: так хочет моя воля.

И даже ты, познающий, только тропа и след моей воли; поистине, моя воля к власти ходит по стопам твоей воли к истине!

Конечно, не попал в истину тот, кто выстрелил в нее словом о «воле к существованию»: такой воли – не существует!

Ибо то, чего нет, не может хотеть; а что существует, как могло бы оно еще стремиться к существованию!

Только там, где есть жизнь, есть и воля: не воля к жизни, но – так учу я тебя – воля к власти!

Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь; но и в самой оценке говорит – воля к власти!» –

Так учила меня когда-то жизнь; с помощью этого разрешаю я, вы, мудрейшие, и загадку вашего сердца.

Поистине, я говорю вам: добро и зло, которые были бы непреходящими, – не существуют! Из себя самих должны они снова и снова преодолевать себя.

С вашими ценностями и словами о добре и зле совершаете вы насилие, вы, ценители ценностей, – и в этом ваша скрытая любовь, и блеск, и трепет, и преизбыток вашей души.

Но еще большее насилие и новое преодоление вырастают из ваших ценностей; о него разбивается яйцо и скорлупа яйца.

И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу, и это – творческое благо. –

Будем же говорить только о нем, вы, мудрейшие, хотя это дурно. Молчание еще хуже; все замалчиваемые истины становятся ядовитыми.

И пусть разобьется всё, что может разбиться о наши истины! Столько домов предстоит еще построить! —

Так говорил Заратустра.

О возвышенных

Спокойно дно моего моря: кто бы угадал, что оно скрывает забавных чудовищ!

Непоколебима моя глубина — но она блестит от плавающих загадок и усмешек.

Возвышенного видел я сегодня, торжественного, кающегося духом; о, как смеялась моя душа над его безобразием!

С выпяченной грудью, похожий на тех, кто вбирает в себя дыхание, — так стоял он, возвышенный, в молчании:

Увешанный безобразными истинами, своей охотничьей добычей, и богатый разодранными одеждами; много шипов висело на нем — но я не видел ни одной розы.

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным возвратился этот охотник из леса познания.

После битвы с дикими зверями вернулся он домой; но сквозь его суровость проглядывает еще дикий зверь — непобежденный!

Как тигр всё еще стоит он, готовый прыгнуть; но я не люблю эти напряженные души, не по вкусу мне все эти настороженные.

И вы говорите мне, друзья, что о вкусах и привкусах не спорят? Но вся жизнь есть спор о вкусах и привкусах!

Вкус — это одновременно и вес, и весы, и весовщик; и горе всему живому, которое захотело бы жить без спора о весе, о весах и о весовщике!

Если бы утомился своей возвышенностью, этот возвышенный, только тогда началась бы его красота, — и только тогда вкусил бы я его и нашел вкусным.

И только когда он сам отвернется от себя, перепрыгнет он через собственную тень — и, поистине! прямо в *свое* солнце.

Слишком долго сидел он в тени, щеки побледнели у кающегося духом; почти умер он с голоду от своих ожиданий.

Презрение еще в его взоре, отвращение таится на его устах. Хотя отдыхает он теперь, но его отдых улегся на солнце.

Он должен был был поступать, как вол, и его счастье должно бы пахнуть землей, а не презрением к земле.

Белым волом хотел бы я видеть его, идущим, фыркая и мыча, впереди плуга, и его мычание должно бы хвалить всё земное!

Темно его лицо; тень руки играет на нем. Затенен еще смысл его взора.

Само его дело еще тень на нем: рука затемняет действующего. Еще не преодолел он своего дела.

Люблю я в нем выю вола – но теперь хочу я видеть и взор ангела.

И от своей воли героя должен он отучиться: вознесенным должен он быть, а не только возвышенным; сам эфир должен вознести его, лишенного воли!

Он победил чудовищ, он разгадал загадки – но он должен еще освободить своих чудовищ и свои загадки, в небесных детей должен он превратить их.

Еще не научилось его познание улыбаться и жить без ревности; еще не утих в красоте поток его страстей.

Поистине, не в сытости должно смолкнуть и утонуть его желание, но в красоте! Изящество свойственно щедрости великодушного.

Закинув руку за голову – так должен бы отдыхать герой, так должен он преодолевать и свой отдых.

Но именно для героя *красота* самая трудная из вещей. Недостижима красота для всякой сильной воли.

Немного больше, немного меньше – именно это значит здесь много, это значит здесь всего больше.

Стоять с расслабленными мускулами и распряженной волей – это и есть самое трудное для всех вас, вы, возвышенные!

Когда власть становится милостивой и нисходит в видимое – красотой называю я такое нисхождение.

И ни от кого не требую я так красоты, как от тебя, могущественный; твоя доброта пусть будет твоей последней победой над собой.

На всякое зло считаю я тебя способным; поэтому я и требую от тебя добра.

Поистине, часто смеялся я над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому что у них бессильные руки!

Добродетели колонны должен ты следовать: чем выше она подымается, тем становится красивее и изящнее, а внутри тверже и выносливее.

Когда-нибудь должен ты, возвышенный, стать прекрасным и держать зеркало перед собственной красотой.

Тогда душа твоя будет содрогаться от божественных желаний; и поклонение будет даже в твоем тщеславии!

Это и есть тайна души: только когда герой покинул ее, приближается к ней, в сновидении, — сверхгерой.

Так говорил Заратустра.

О стране образованности

Слишком далеко залетел я в будущее, ужас напал на меня.

И когда я огляделся, — смотри! время было моим единственным современником.

Тогда полетел я назад, домой — всё быстрее и быстрее; так пришел я к вам, современники, в страну образованности.

Впервые посмотрел я на вас как следует и с добрыми желаниями; поистине, с тоскою в сердце пришел я.

Но что случилось со мною? Как ни было мне страшно, — я должен был рассмеяться! Никогда не видел мой глаз ничего более пестрого!

Я всё смеялся и смеялся, тогда как ноги и сердце дрожали: «Да тут родина всех горшков с красками!» — сказал я.

С пятьюдесятью кляксами на лице и теле — так сидели, к моему удивлению, вы, современники!

И с пятьюдесятью зеркалами вокруг вас, которые льстили и подражали игре ваших красок!

Поистине, вы не могли бы носить лучшей маски, современники, чем ваше собственное лицо! Кто бы мог вас — *узнать*!

Исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков размалеванные новыми знаками — так надежно скрылись вы от всех толкователей!

Даже если найдется специалист по почкам, кто поверит, что они у вас есть! Из красок кажетесь вы изготовленными и из склеенных ярлыков.

Все века и народы пестро выглядывают из-под ваших покровов; все обычаи и все верования пестроязычно говорят в ваших жестах.

Кто из вас совлек бы с себя покрывала, мантии, краски и жесты — у того осталось бы вполне достаточно, чтобы пугать этим птиц.

Поистине, я сам испуганная птица, однажды увидевшая вас нагими и без красок; и я улетел прочь, когда скелет стал подавать мне знаки любви.

Скорее хотел бы я быть поденщиком в подземном мире у теней минувшего! — тучнее и полнее вас обитатели подземного мира!

В этом, да, в этом горечь кишок моих, что ни нагими, ни одетыми не выношу я вас, современники!

Всё зловещее, что есть в будущем и что некогда пугало улетевших птиц, поистине, куда приятнее и ближе сердцу, чем ваша «действительность».

Ибо так говорите вы: «Мы всецело действительные, без веры и суеверия»; так гордитесь вы — ах, даже не имея предмета гордости!

Но как *могли бы* верить вы, размалеванные! — вы, картины всего, во что некогда верили!

Ходячее опровержение вы самой веры и калечение всяких мыслей. *Неправдоподобные* — так называю *я* вас, вы, действительные!

Все времена пустословят друг против друга в ваших умах; но сны и пустословие всех времен были все-таки правдоподобнее, чем ваше бодрствование!

Бесплодны вы, *поэтому* и недостает вам веры. Но кто должен был творить, у того всегда были свои вещие сны и звезды-знамения — и вера в веру! —

Полуоткрытые ворота вы, у которых ждут могильщики. И вот *ваша* действительность: «Всё достойно того, чтобы погибнуть».

Ах, вот стоите вы предо мной, вы, бесплодные, худые, с торчащими ребрами! И кое-кто из вас хорошо понимает это и сам.

И он говорит: «Кажется, бог, пока я спал, тайком что-то похитил у меня? Поистине, достаточно, чтобы сделать себе из этого женушку!

Удивительна бедность ребер моих!» — так говорили уже многие из людей настоящего.

Да, смешны вы мне, современники! И особенно когда вы удивляетесь сами себе.

И горе мне, если б не мог я смеяться над вашим удивлением и должен был пить всю гадость из ваших мисок!

Но я хочу легче относиться к вам, ибо *тяжелое* должен нести я; и что мне за дело, если жуки и летучие козявки сядут на мою ношу!

Поистине, не станет она от этого тяжелее! И не от вас, современники, должна придти ко мне великая усталость. —

Ах, куда еще подняться мне с моей тоской! Со всех гор высматриваю я отечества и родные страны.

Но родину не нашел я нигде: неуютно мне во всех городах и рвусь я прочь из всех ворот.

Чужды и смешны мне современники, к которым еще недавно влекло меня сердце; и изгнан я из отечеств и родных стран.

Так что люблю я еще только *страну детей* моих, неоткрытую, лежащую в самом дальнем море; пусть ищут и ищут ее мои корабли.

Своими детьми хочу я искупить то, что я сын своих отцов, и всем будущим — *это* настоящее!

Так говорил Заратустра.

О непорочном познании

Когда вчера взошел месяц, мне казалось, что он хочет родить солнце: так широко, как на сносях, лежал он на горизонте.

Но он обманул меня своей беременностью; и скорее еще я поверю в месяц-мужчину, чем в месяц-женщину.

Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Поистине, с нечистой совестью бродит он по крышам.

Он похотлив и ревнив, этот монах в месяце, падок он до земли и всех радостей влюбленных.

Нет, я не люблю его, этого кота на крышах! Противны мне все, кто подкрадывается к полузакрытым окнам!

Набожно и молча бродит он по звездным коврам — но я не люблю мужских ног, ступающих тихо, на которых не звенит даже шпора.

Шаги всякого честного правдиво говорят; но кошка идет по земле, крадучись. Взгляни, по-кошачьи лукаво восходит месяц. —

Такое сравнение даю я вам, чувствительные лицемеры, вам, ищущим «чистого познания»! Вас называю *я* — сластолюбцами!

Вы также любите землю и земное, я разгадал вас! — но стыд в вашей любви и нечистая совесть, — вы подобны месяцу!

Презирать земное убедили ваш дух, но не нутро ваше — а *оно* в вас сильнее всего!

И теперь стыдится ваш дух, что угождает нутру вашему, и от собственного стыда ходит окольными и обманными путями.

«Для меня было бы высшим счастьем, — так говорит себе ваш изолгавшийся дух, — смотреть на жизнь без вожделения, а не как собака, с высунутым языком:

Быть счастливым в созерцании, с умершей волей, без приступов и алчности себялюбия, — холодным и серым всем телом, но с пьяными глазами месяца!

Для меня было бы лучшим — так соблазняет самого себя соблазненный — любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикасаться к ее красоте.

И я называю *непорочным* познание всех вещей, когда я ничего не хочу от них, кроме права лежать перед ними, подобно зеркалу с сотней глаз». —

О вы, чувствительные лицемеры, вы, сластолюбцы! Вам недостает невинности в вожделении, и вот почему клевещете вы на желание!

Поистине, не как творящие, рождающие и радующиеся становлению любите вы землю!

Где есть невинность? Там, где есть воля к рождению. И кто хочет творить из себя и выше себя, у того самая чистая воля.

Где есть красота? Там, где я *должен хотеть* всей волей; где я хочу любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом.

Любить и погибнуть — это созвучно от вечности. Воля к любви — это значит хотеть также смерти. Так говорю я вам, трусы!

Но ваш косой взгляд скопца хочет называться «созерцанием»! А к чему можно прикоснуться трусливым глазом, должно быть окрещено именем «прекрасного»! О вы, осквернители благородных имен!

Но в том проклятье ваше, вы, незапятнанные, ищущие чистого познания, что никогда не родите вы, — хотя бы широко, как на сносях, и лежали на горизонте!

Поистине, вы набрали полный рот благородных слов — и мы должны верить, что ваше сердце переполнено, лжецы?

Но *мои* слова — ничтожны, презренны, кривы: охотно подбираю я то, что на ваших трапезах падает под стол.

Все еще могу я сказать ими истину — вам, лицемерам! Да, мои рыбьи косточки, раковины и колючие листья должны — щекотать носы лицемерам!

Дурной запах всегда вокруг вас и ваших трапез: ибо ваши похотливые мысли, ложь и притворство прямо-таки висят в воздухе!

Осмельтесь же сперва поверить самим себе — себе и нутру своему! Кто не верит себе самому, всегда лжет.

Личиной бога закрылись вы от самих себя, вы, «чистые», в личине бога укрылся ваш ужасный кольчатый червь.

Поистине, обманываете вы, «созерцающие»! Даже Заратустра был однажды обманут вашей божественной оболочкой; не угадал он, какими клубками змей была набита она.

Душу бога мечтал я некогда видеть играющей в ваших играх, вы, ищущие чистого познания! О лучшем искусстве и не мечтал я когда-то, чем ваши искусства!

Змеиную нечисть и дурной запах скрывала от меня даль и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь.

Но я подошел к вам *ближе*, тогда наступил для меня день — и теперь наступает для вас, — кончились любовные похождения месяца!

Взгляните на него! Застигнутый, бледный стоит он — перед утренней зарею!

Уже близко оно, огненное светило, — *его* любовь приближается к земле! Невинность и жажда творца есть любовь всякого солнца!

Смотрите же на него, как оно нетерпеливо поднимается над морем! Разве вы не чувствуете жадного, горячего дыхания его любви?

Морем хочет напиться оно и вбирать его глубину к себе на высоту — тысячью грудей поднимается к нему страсть моря.

Оно *хочет*, чтобы жажда солнца целовала его и упивалась им; воздухом *хочет* оно стать, и высотою, и стезею света, и самим светом!

Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря.

И вот что зовется для *меня* познанием: всё глубокое должно подняться — на мою высоту!

Так говорил Заратустра.

Об ученых

Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове, — и, объедая, она говорила: «Заратустра не ученый больше».

Сказала и неприступно и гордо удалилась. Ребенок рассказал мне об этом.

Люблю я лежать здесь, где играют дети, у развалившейся стены, среди чертополоха и красного мака.

Я всё еще ученый для детей, а еще для чертополоха и красного мака. Невинны они, даже в своей злобе.

Но для овец я уже не ученый: так хочет мой жребий — да будет он благословенен!

Ибо вот истина: ушел я из дома ученых и еще захлопнул за собой дверь.

Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не приучился я, подобно им, к познанию, как к щелканью орехов.

Свободу люблю я и воздух над свежей землей; лучше буду я спать на воловьих шкурах, чем на званиях и почестях их.

Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей, часто перехватывает у меня дыхание. Тогда мне нужно на простор, прочь из всех запыленных комнат.

Но они прохлаждаются в прохладной тени, они хотят во всем быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце жжет ступени.

Подобно тем, кто стоит на улице и глазеет на людей, — так ждут и они и глазеют на мысли, подуманные другими.

Если дотронуться до них руками, от них поневоле поднимается пыль, как от мучных мешков; но кто же догадается, что их пыль идет от зерна и от золотых даров нивы?

Когда выдают они себя за мудрых, меня знобит от их мелких изречений и истин: часто от мудрости их идет запах, как будто исходит она из болота, и поистине, я слышал уже, как лягушка квакала из нее!

Они ловкачи, у них искусные пальцы; что *моя* простота при разнообразии их! Как вдевать нитку, и ткать, и вязать знают их пальцы; так вяжут они чулки духа!

Они хорошие часовые механизмы, нужно только правильно заводить их! Тогда показывают они безошибочно время и производят при этом легкий шум.

Подобно мельницам, работают они и толкут: только подбрасывай им свои зерна! — уж они сумеют их измельчить и сделать из них белую пыль.

Они зорко следят за пальцами друг друга и не слишком доверяют один другому. Изобретательные на маленькие хитрости, подстерегают они тех, чье знание ходит на хромых ногах, — подобно паукам подстерегают они.

Я видел, как всегда с осторожностью готовят они яд; и всегда надевали они при этом стеклянные перчатки на свои пальцы.

И в поддельные кости умеют они играть; я заставал их играющими с таким жаром, что они при этом потели.

Мы чужды друг другу, и их добродетели противны мне еще больше, чем их лукавство и поддельные игральные кости их.

И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и невзлюбили они меня.

Они и слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами; и потому наложили они дерева, и земли, и сору между мной и своими головами.

Так заглушали они звук моих шагов, — и хуже всего слушали меня до сих пор самые ученые.

Все ошибки и слабости людей наваливали они между собой и мною; «черным полом» называют они это в своих домах.

И все-таки хожу я со своими мыслями *над* их головами; и даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и их головами.

Ибо люди *не* равны: так говорит справедливость. И чего я хочу, *они* не имели бы права хотеть!

Так говорил Заратустра.

О поэтах

«С тех пор как лучше знаю я тело, — сказал Заратустра одному из своих учеников, — дух для меня только подобие духа; а всё «непреходящее» — только уподобление».

«Это слышал я однажды от тебя, — отвечал ученик, — и тогда ты прибавил еще: «Но поэты слишком много лгут». Почему же сказал ты, что поэты слишком много лгут?»

«Почему? — сказал Заратустра. — Ты спрашиваешь, почему? Я не принадлежу к тем, у кого позволено спрашивать об их Почему.

Разве переживания мои начались вчера? Давно миновало время, когда переживал я основания своих мнений.

Разве не был бы я бочкой памяти, если б хотел иметь при себе свои основания?

Слишком много для меня — самому хранить свои мнения; немало птиц улетает прочь.

И среди них нахожу я залетную птицу в моей голубятне, она незнакома мне и дрожит, когда я кладу на нее свою руку.

Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгут? — Но и Заратустра поэт.

Веришь ли ты, что сказал он правду? Почему веришь ты этому?»

Ученик отвечал: «Я верю в Заратустру». Но Заратустра покачал головой и улыбнулся.

— Вера не делает меня блаженным, — сказал он, — особенно вера в меня.

Но положим, кто-нибудь сказал бы всерьез, что поэты слишком много лгут; он был бы прав — *мы* лжем слишком много.

Мы знаем слишком мало и мы плохие ученики, — потому и должны мы лгать.

И кто из нас, поэтов, не разбавлял своего вина? Немало ядовитой мешанины приготовлялось в наших погребах, немало неописуемого творилось там.

И так как мы мало знаем, нам по сердцу нищие духом, особенно если это молодые бабенки!

И даже падки мы к тому, о чем старые бабы рассказывают друг другу по вечерам. Это называем мы вечной женственностью в нас.

Как будто есть особый, тайный доступ к знанию, *скрытый* для тех, кто чему-нибудь учится, – так верим мы в народ и «мудрость» его.

Все поэты верят: если кто-нибудь, лежа в траве или на пустынном склоне, навострит уши, то узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землей.

И если находят на поэтов приливы нежности, они всегда думают, что сама природа влюблена в них:

Она подкрадывается к их ушам, чтобы нашептывать таинственное и влюбленные льстивые речи; этим гордятся и чванятся они перед всеми смертными!

Ах, есть так много вещей между небом и землей, мечтать о которых позволяли себе только поэты!

И особенно *выше* неба: ибо все боги суть подобия и измышления поэтов!

Поистине, нас влечет всегда вверх – в царство облаков; на них сажаем мы свои пестрые чучела и называем их тогда богами и сверхчеловеками:

Ибо достаточно легки они для этих седалищ! – все эти боги и сверхчеловеки.

Ах, как устал я от всего недостаточного, которому непременно надо быть событием! Ах, как устал я от поэтов!

Пока Заратустра так говорил, сердился на него ученик, но молчал. И Заратустра молчал; и взор его обращен был внутрь, как будто глядел он в далекую даль. Наконец он вздохнул и перевел дух.

– Я от сегодня и от прежде, – сказал он затем, – но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и от когда-нибудь.

Я устал от поэтов, древних и новых: поверхностные все они для меня и мелководные моря.

Они думали недостаточно глубоко, потому и не погружалось чувство их до самого дна.

Немного сладострастия и немного скуки – таковы еще лучшие мысли их.

Дуновением и мельканием призраков кажется мне перезвон их арф; что знали они до сих пор о страстности звуков! —

Для меня они недостаточно чистоплотны: все они мутят свою воду, чтобы казалась она глубокой.

И любят выдавать себя за примирителей; но посредниками и путаниками остаются они для меня и половинчатыми и нечистоплотными! —

Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая поймать хороших рыб; но каждый раз вытаскивал голову какого-нибудь старого бога.

Так давало море голодному камень. Должно быть, и сами они родом из моря.

Конечно, попадаются жемчужины в них; тем более похожи сами они на твердые раковины моллюсков. И часто вместо души находил я в них соленую слизь.

У моря научились они его тщеславию; не есть ли море павлин из павлинов?

Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост и никогда не устает играть своим кружевным веером из серебра и шелка.

Тупо смотрит на него буйвол, душой близкий к песку, еще более близкий к чаще, но всего ближе к болоту.

Что ему красота, и море, и убранство павлина! Это сравнение говорю я поэтам.

Поистине, сам дух их — павлин из павлинов и море тщеславия!

Зрителей требует дух поэта, хотя бы и были то буйволы! —

Но я устал от этого духа, и я предвижу время, когда он устанет от самого себя.

Изменившимися видел я поэтов и направившими взоры на самих себя.

Приближение кающихся духом видел я: они выросли из них.

Так говорил Заратустра.

О великих событиях

Есть остров в море — недалеко от блаженных островов Заратустры, — на нем постоянно дымится огнедышащая гора; народ и особенно старые бабы из народа говорят об этом острове, что он каменной глыбой поставлен перед вратами преисподней, а через сам вулкан идет вниз узкая тропинка, ведущая к этим вратам.

В ту пору, как Заратустра пребывал на блаженных островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора, и команда его сошла на берег, чтобы пострелять кроликов. Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно: «Пора! Настало время!» Когда же видение было совсем близко к ним — оно быстро пролетело мимо, подобно тени, туда, где была огненная гора, — тогда узнали они, к величайшему смущению, что это Заратустра; ибо все они уже видели его, за исключением самого капитана, и любили его, как любит народ: в равной степени совмещая любовь и робость.

«Смотрите! — сказал старый кормчий, — это Заратустра отправляется в ад!» —

В то самое время, как эти корабельщики пристали к огненному острову, разнесся слух, что Заратустра исчез; и когда спрашивали друзей его, они рассказывали, что ночью он сел на корабль, не сказав, куда хочет отправиться.

Так возникло смятение, а через три дня к этому смятению присоединилась еще история корабельщиков — и теперь весь народ говорил, что дьявол унес Заратустру. Хотя ученики его смеялись над этой болтовней и один из них сказал даже: «Скорее поверю я, что Заратустра унес дьявола». Но в глубине души все были полны тревоги и томительного ожидания; как же велика была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них.

И вот рассказ о беседе Заратустры с огненным псом.

– Земля, – сказал он, – имеет кожу; и эта кожа поражена болезнями. Одна из этих болезней, к примеру, называется: «человек».

А другая из этих болезней называется «огненный пес»; о *нем* люди много лгали себе и позволяли другим себе лгать.

Чтобы изведать эту тайну, перешел я море, и я увидел истину нагою, поистине! голой с головы до пят.

Теперь я знаю, что это за огненный пес, а также все дьяволы извержения и ниспровержения, которых боятся не одни только старые бабы.

«Выходи, огненный пес, из своей бездны! – кричал я, – и признавайся, как глубока эта бездна! Откуда берется то, что изрыгаешь ты вверх?

Ты пьешь обильно из моря, это выдает твое пересоленное красноречие! Право, для пса бездны берешь ты слишком много пищи с поверхности!

Не более чем чревовещателем земли считаю я тебя, и всякий раз, когда я слышал речи дьяволов ниспровержения и извержения, находил я их похожими на тебя: пересоленными, лживыми, плоскими.

Вы горазды рычать и засыпать пеплом! Вы самые лучшие хвастуны и достаточно изучили искусство доводить грязь до кипения.

Где вы, там непременно должна быть поблизости грязь и много губчатого, пористого и защемленного: оно хочет на свободу.

«Свобода» – вопите вы все особенно охотно; но я разучился верить в «великие события», коль скоро вокруг них много воплей и дыма.

И поверь мне, друг мой, шум ада! Величайшие события – это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.

Не вокруг изобретателей нового шума – вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир; *неслышно* вращается он.

Признайся! Мало всегда оказывалось совершившегося, когда твой шум и дым рассеивались. Что толку, если город превращается в мумию и статуя лежит в грязи!

И вот что скажу я еще разрушителям статуй. Это, пожалуй, величайшее безумие – бросать соль в море и статуи в грязь.

В грязи вашего презрения лежала статуя; но таков ее закон, что из презрения для нее вновь вырастает жизнь и живая красота!

Теперь в божественном облике восстает она, обольстительная в своем страдании; и поистине! она еще поблагодарит вас, что вы низвергли ее, ниспровергатели!

Такой совет даю я королям, и церквям, и всему одряхлевшему от лет и от добродетели – дайте только низвергнуть себя! Чтобы вновь вернулись вы к жизни, а к вам – добродетель!» –

Так говорил я перед огненным псом; тут он сердито прервал меня и спросил: «Церковь? Что это такое?»

«Церковь? – отвечал я, – это род государства, и притом самый лживый. Молчи же, лицемерный пес! Ты знаешь род свой лучше других!

Как и ты сам, государство – лицемерный пес; как и ты, любит оно говорить дымом и грохотом – чтобы заставить верить, что, подобно тебе, оно говорит из чрева вещей.

Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле, государство; и в этом также верят ему». –

И как только сказал я это, огненный пес, как бешеный, стал извиваться от зависти. «Как, – кричал он, – самым важным зверем на земле? И в этом также верят ему?» И столько дыма и ужасных криков выходило из его пасти, что я думал, он задохнется от гнева и зависти.

Наконец он приутих, и унялось его пыхтение; но как только он утих, сказал я со смехом:

«Ты сердишься, огненный пес, – значит, я прав насчет тебя!

И чтобы оставался я правым, послушай о другом огненном псе, он говорит действительно из сердца земли.

Он дышит золотом и золотым дождем: так хочет сердце его. Что ему пепел, дым и горячая слизь!

Смех выпархивает из него, как пестрое облако; противны ему твое клокотание, плевки и колики твоих внутренностей!

Но золото и смех – их берет он из сердца земли: ибо, чтобы знал ты наконец, – *сердце земли из золота*».

Когда услышал это огненный пес, он не смог больше слушать меня. Пристыженный, поджал он свой хвост, издал робкое гав, гав! и уполз вниз в свою пещеру. –

Так рассказывал Заратустра. Но ученики едва слушали его: так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и о летающем человеке.

«Не знаю, что и думать об этом! — сказал Заратустра. — Разве я призрак?

Но, наверное, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о страннике и его тени?

Несомненно одно: я должен держать ее крепче, — иначе она еще испортит мое доброе имя».

И снова Заратустра качал головой и удивлялся. «Не знаю, что и думать об этом!» — повторил он.

«Почему же кричал призрак: «Пора! Настало время!»? *Для чего* — настало время?» —

Так говорил Заратустра.

Прорицатель

«—и я видел: наступило великое уныние среди людей. Лучшие устали от дел своих.

Объявилось учение, вера бежала рядом с ним: «Всё пусто, всё равно, всё было!»

И со всех холмов доносилось: «Всё пусто, всё равно, всё было!»

Правда, собрали мы жатву; но почему сгнили и почернели наши плоды? Что упало с недоброго месяца в последнюю ночь?

Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось наше вино, дурной глаз спалил наши поля и сердца.

Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пепел—даже огонь утомили мы.

Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но глубина не хочет поглотить!

«Ах, где есть еще море, где можно утонуть»: так раздается наша жалоба—над мелкими болотами.

Поистине, мы слишком устали для смерти; мы еще бодрствуем и продолжаем жить—в склепах!» —

Такие речи слышал Заратустра от одного прорицателя; и эти предсказания проникли в его сердце и изменили его. Печальный и усталый бродил он; он стал похож на тех, о ком говорил прорицатель.

«Поистине,—сказал он своим ученикам,—еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как же спасу я тогда мой свет!

Чтобы не погас он среди этой печали! Для дальних миров должен быть он светом и для самых далеких ночей!

Так опечаленный в сердце своем, бродил Заратустра; и три дня не принимал он ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец, случилось так, что впал он в глубокий сон. Ученики же сидели вокруг него, бодрствуя

долгими ночами, и с беспокойством ждали, проснется ли он, заговорит ли опять и выздоровеет ли от своей печали.

И вот речь, которую произнес Заратустра, когда проснулся; но его голос доходил до учеников словно издалека.

«Послушайте сон, который я видел, друзья, и помогите мне отгадать его смысл!

Загадка еще для меня этот сон; его смысл сокрыт в нем, пленен и еще не витает над ним на вольных крыльях.

От всякой жизни отрешился я, так снилось мне. Ночным и могильным сторожем сделался я в замке Смерти на одинокой горе.

Там охранял я ее гробы; мрачные своды были полны этими трофеями побед. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь.

Запах запыленной вечности вдыхал я; в духоте и пыли лежала моя душа. Да и кто мог бы проветрить там свою душу!

Свет полуночи был всегда вокруг меня, одиночество скорчилось рядом с ним; а третьей — хрипящая тишина смерти, худшая из моих подруг.

Ключи носил я, самые заржавленные из всех ключей; и я умел отворять ими самые скрипучие из всех ворот.

Подобно зловещему карканью, пробегал звук по длинным ходам, когда поднимались затворы ворот: неприветливо кричала эта птица, неохотно давала она будить себя.

Но было еще ужаснее, и еще сильнее сжималось мое сердце, когда всё замолкало, и кругом водворялась тишина, и я один сидел в этом коварном молчании.

Так медленно шло время, если время еще существовало, — откуда мне знать! Но, наконец, случилось то, что меня разбудило.

Трижды прозвучали удары в ворота, как громом, трижды зазвучали и заревели своды в ответ; тогда пошел я к воротам.

«Альпа! — кричал я, — кто несет свой прах на гору? Альпа! Альпа! Кто несет свой прах на гору?»

И я нажимал на ключ, и напирал на ворота, и выбивался из сил. Но они не отворялись ни на палец.

Тут бушующий ветер распахнул створы их; свистя, завывая, рассекая воздух, бросил он мне черный гроб.

И среди шума, свиста и завывания раскололся гроб и исторг из себя тысячеголосый хохот.

И тысяча гримас детей, ангелов, сов, шутов и бабочек величиной с ребенка смеялась и издевалась надо мной и неслась на меня.

Страшно испугался я – и упал наземь. И закричал от ужаса, как никогда не кричал.

Но собственный крик разбудил меня – я пришел в себя». –

Так рассказывал Заратустра свой сон и потом умолк: он не знал еще значения своего сна. Но ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, схватил руку Заратустры и сказал:

«Сама твоя жизнь объясняет нам этот сон, о Заратустра!

Не ты ли сам этот ветер, с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке Смерти?

Не ты ли сам этот гроб, полный пестрой злобой и ангельскими гримасами жизни?

Поистине, подобно тысячеголосому детскому смеху, входит Заратустра во все склепы, смеясь над ночными и могильными сторожами и над теми, кто гремит мрачными ключами.

Пугать и опрокидывать будешь ты их своим смехом; обморок и пробуждение докажут твою власть над ними.

И даже когда наступят долгие сумерки и смертельная усталость, ты не закатишься на нашем небе, ты, заступник жизни!

Новые звезды дал ты увидеть нам и новые красоты ночи; поистине, самый смех раскинул ты над нами пестрым шатром.

Теперь детский смех всегда будет бить ключом из гробов; теперь всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной усталостью: в этом ты сам нам порука и предсказатель!

Поистине, *их самих видел ты во сне*, своих врагов, – это был твой самый тяжелый сон!

Но как ты проснулся от них и пришел в себя, так и они должны проснуться от себя самих – и придти к тебе!» –

Так говорил ученик; и все остальные теснились вокруг Заратустры, хватали руки его и хотели его убедить оставить

ложе и печаль и вернуться к ним. Заратустра же сидел, выпрямившись, на своем ложе, с отсутствующим взором. Подобно тому, кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел он на своих учеников и вглядывался в их лица; и все еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, смотрите, изменился сразу его взор; он понял всё, что случилось, и, гладя себе бороду, сказал твердым голосом:

«Ну что ж! Это придет в свое время; но позаботьтесь, ученики мои, чтобы был у нас хороший обед, и поскорей! Так думаю я искупить дурные сны!

Прорицатель же должен есть и пить рядом со мною; и поистине, я покажу ему еще море, в котором может он утонуть!»

Так говорил Заратустра. И еще долго смотрел он в лицо ученику, объяснившему сон, и качал при этом головой. —

Об избавлении

Однажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему:

«Посмотри, Заратустра! Даже народ учится у тебя и приобретает веру в твое учение; но чтобы он совсем уверовал в тебя, для этого нужно еще одно — ты должен убедить сначала нас, калек! Здесь у тебя прекрасный выбор и, поистине, случай с несколькими шансами! Слепых можешь исцелять ты и хромых заставлять бегать, и у кого слишком много за спиной, ты тоже мог бы кое-что поубавить: это, думаю я, было бы прекрасным средством заставить калек уверовать в Заратустру!»

Но Заратустра так возразил говорившему: «Когда забирают у горбатого горб его, у него забирают и дух его — так учит народ. И когда дают слепому глаза его, он видит на земле слишком много дурного — так что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хромому, наносит ему величайший вред: ибо едва он сможет бежать, как его пороки уже бегут за ним, — так учит народ о калеках. И почему бы Заратустре не учиться у народа, если народ учится у Заратустры?

Но с тех пор как живу я среди людей, для меня это еще наименьшее зло, что вижу я: этому недостает глаза, тому — уха, третьему — ноги, а есть и такие, что потеряли язык, или нос, или голову.

Я вижу и видел худшее, иной раз столь отвратительное, что не обо всем хотелось бы говорить, а об ином не хотелось бы даже и молчать: например, о людях, которым недостает всего, кроме одного, что у них в избытке, — о людях, которые не что иное, как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще что-нибудь большое; калеками наизнанку называю я таких.

И когда я вышел из своего уединения и впервые проходил по этому мосту, я не верил своим глазам, всё смотрел

и смотрел и наконец сказал: «Это — ухо! Ухо величиной с человека!» Я посмотрел еще пристальнее — и действительно, ниже уха двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и тщедушное. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле, — и этим стеблем был человек! Вооружась лупой, можно было даже разглядеть маленькое завистливое личико, а также одутловатую душонку, которая болталась на стебле. Народ же говорил мне, что большое ухо не просто человек, а великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях, — и я остался при убеждении, что это калека наизнанку, у которого всего слишком мало и одного слишком много».

Сказав так горбатому и тем, для кого он был рупором и заступником, Заратустра обратился с глубоким недовольством к своим ученикам и сказал:

«Поистине, друзья мои, я брожу среди людей, как среди обломков и кусков людей!

Для меня ужасное зрелище — видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни.

И если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое: обломки, куски людей и ужасные случайности — и ни одного человека!

Настоящее и прошлое на земле — ах! друзья мои — это и есть самое невыносимое *для меня*; и я не мог бы жить, если бы не был провидцем того, что должно придти.

Провидец, волящий, творящий, само будущее и мост к будущему — ах, он подобен калеке на этом мосту, — всё это Заратустра.

Вот и вы часто спрашивали себя: «Кто для нас Заратустра? Как должны мы называть его?» И, подобно мне, вы задавали себе в ответ вопросы.

Обещающий ли он? Или исполняющий? Завоевывающий? Или наследующий? Осень? Или плуг? Врач? Или выздоравливающий?

Поэт ли он? Или говорящий правду? Освободитель? Или притеснитель? Добрый? Или злой?

Я брожу среди людей, как среди обломков будущего, — того будущего, что вижу я.

И в том всё мое творчество и стремление, чтобы творить и соединять воедино то, что является обломком, и загадкой, и ужасной случайностью.

Как вынес бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, и отгадчиком, и избавителем от случая!

Спасти минувших и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» — лишь это назвал бы я избавлением!

Воля — так называется освободитель и вестник радости: так учил я вас, мои друзья! А теперь научитесь еще вот чему: сама воля еще пленница.

Волить — это освобождает — но как называется то, что и освободителя заковывает в цепи?

«Это было»: так называется скрежет зубовный и сокровенная печаль воли. Бессильная против того, что сделано, — она злобный созерцатель всего минувшего.

Вспять не может волить воля; не может она победить время и стремление времени, — в этом сокровенная печаль воли.

Волить — освобождает: чего только не придумывает сама воля, чтобы освободиться от печали и посмеяться над своей тюрьмой?

Ах, безумцем становится каждый пленник! Безумством освобождает себя и плененная воля.

Время не бежит назад, в этом досада ее; «то, что было» — так называется камень, который она не может покатить.

И вот катит она камни от досады и гнева и мстит тому, кто не чувствует, подобно ей, гнева и досады.

Так стала воля, освободительница, причинять страдание: и на всем, что может страдать, вымещает она, что не может повернуть вспять.

Это, только это есть само *мщение*: обращение воли против времени и его «это было».

Поистине, великое сумасбродство живет в нашей воле; проклятьем стало всему человеческому, что это сумасбродство научилось духу!

Дух мщения: друзья мои, он был до сих пор лучшим помышлением людей; и где было страдание, там всегда должно было быть наказание.

«Наказание», — так называет себя мщение; с помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью.

Так как в самом волящем есть страдание, оттого что не может оно волить вспять, — то и сама воля и вся жизнь должны быть — наказанием!

И вот накатила туча за тучей на дух — пока наконец безумие не стало проповедовать: «Всё преходит, и потому всё достойно прейти!»

«Самой справедливостью является тот закон времени, что оно должно пожирать своих детей», — так проповедовало безумие.

«Нравственно упорядочены все вещи согласно праву и наказанию. О, где же избавление от потока вещей и от наказания «существованием»?» Так проповедовало безумие.

«Может ли быть избавление, если есть вечное право? Ах, не сдвинуть камень «это было», вечными должны быть и все наказания!» Так проповедовало безумие.

«Никакое дело не может быть уничтожено: как могло бы оно быть не сделано из-за наказания! Вот, вот оно, вечное в наказании «существованием»: существование вечно и вновь должно быть делом и виной!

«Разве что, наконец, воля не избавится от себя самой и не станет волей к не-волению — но ведь вы знаете, братья мои, эту песенку безумия!

Прочь вел я вас от этих песенок, когда учил: «Воля есть творец».

Всякое «это было» есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока творящая воля не добавит: «Но так хотела я!»

Пока творящая воля не добавит: «Но так волю я! Так буду я волить!»

Но говорила ли она уже так? И когда это случается? Разве отделена уже воля от собственного безумия?

Стала ли воля сама для себя избавительницей и вестницей радости? Забыла ли она дух мщения и весь скрежет зубовный?

И кто научил ее примирению с временем и высшему, чем всякое примирение?

Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля к власти, — но как это может случиться с ней? Кто научит ее волить вспять?»

На этом месте речи Заратустра вдруг остановился и стал похож на страшно испугавшегося. Испуганными глаза-

ми смотрел он на своих учеников; взор его, как стрелами, пронизывал их мысли и тайные помыслы. Но чуть погодя он уже опять смеялся и говорил добродушно:

«Трудно жить с людьми, ибо так трудно молчать. Особенно для болтливого». —

Так говорил Заратустра. Но горбатый прислушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо; когда же он услышал, что Заратустра смеется, он с любопытством взглянул на него и проговорил медленно:

«Но почему Заратустра говорит с нами иначе, чем со своими учениками?»

Заратустра отвечал: «Что же тут удивительного! С горбатыми надо говорить по-горбатому!»

«Хорошо, — сказал горбатый, — а ученикам надо всё разбалтывать.

Но почему говорит Заратустра иначе к своим ученикам — чем к самому себе?» —

О человеческой мудрости

Не высота – склон ужасен!

Склон, где взор устремляется *вниз*, а рука тянется *вверх*. Тогда трепещет сердце от двойственной воли своей.

Ах, друзья, угадываете ли вы и двойственную волю моего сердца?

Это, это *мой* склон и моя опасность, что взор устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться – на глубину!

За человека цепляется моя воля, цепями привязываю я себя к человеку, ибо влечет меня ввысь, к сверхчеловеку: к нему стремится другая воля моя.

И *потому* живу я слепым среди людей, как будто не знаю я их: чтобы рука моя не утратила веры в твердое.

Я не знаю вас, людей; эта тьма и это утешение часто простираются вокруг меня.

Я сижу у проезжих ворот, открытых любому плуту, и спрашиваю: кто хочет меня обмануть?

Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не остерегаться обманщиков.

Ах, если бы я остерегался человека, – как бы мог человек быть якорем для воздушного шара моего! Слишком легко унесло бы меня вверх и вдаль!

Это провидение правит моей судьбой, чтобы был я неосмотрителен.

И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из любого стакана; и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой.

Часто так говорил я себе в утешение: «Ну что ж! Давай! Старое сердце! Несчастье не удалось тебе; наслаждайся этим как своим – счастьем!»

Моя вторая человеческая мудрость такова: больше щажу я *тщеславных*, чем гордых.

Разве не оскорбленное тщеславие мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там вырастает нечто лучшее, чем гордость.

Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра была хорошо сыграна, – но для этого нужны хорошие актеры.

Хорошими актерами находил я всех тщеславных: они играют и хотят, чтобы смотрели на них с удовольствием, – весь их дух в этом желании.

Они играют себя, они изобретают себя; вблизи их люблю я быть зрителем жизни: это исцеляет от уныния.

Потому щажу я тщеславных, что они врачи моего уныния, они приковывают меня к человеку, как к зрелищу.

Да и кто измерит в тщеславном всю глубину его скромности! Я добр к нему и сострадателен из-за его скромности.

У вас хочет он научиться своей вере в себя; он питается вашими взглядами, он жадно ест хвалу из ваших рук.

Даже вашей лжи верит он, если вы умело лжете о нем: ибо в самой глубине вздыхает его сердце: «Что такое *я*!»

И если истинная добродетель та, что не знает о себе самой, – что ж, и тщеславный не знает о своей скромности! –

Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не отбивает у меня охоту глядеть на злых.

Я счастлив при виде чудес, порождаемых знойным солнцем: тигра, пальмы и гремучих змей.

И среди людей есть прекрасный приплод знойного солнца, и в злых много чудесного.

Впрочем, как мудрейшие среди вас не казались мне такими мудрыми, так нашел я и злобу людей лучшей, чем говорят о ней.

Часто спрашивал я, качая головой: «К чему гремите вы, гремучие змеи?»

Поистине, даже для зла есть еще будущее! И самый знойный юг не открыт еще человеком.

Сколь многое называют и теперь злейшей злобой, хотя оно имеет всего двенадцать футов в ширину и три месяца в длину! Но однажды придут в мир драконы побольше.

Чтобы сверхчеловек не был лишен своего дракона, сверх-дракона, достойного его, – надо, чтобы много знойного солнца еще пылало над влажным девственным лесом!

Ваши дикие кошки должны стать сперва тиграми, а ваши ядовитые жабы — крокодилами: ибо у доброго охотника должна быть и добрая охота!

И поистине, вы, добрые и праведные! В вас есть много смешного, и особенно ваш страх перед тем, что до сих пор называли «дьяволом»!

Так чужда ваша душа всего великого, что сверхчеловек был бы вам *страшен* в своей доброте!

И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек с радостью купает свою наготу.

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и мой тайный смех: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Ах, устал я от этих высших и лучших, с их «высоты» потянуло меня ввысь, прочь, вперед, к сверхчеловеку!

Ужас напал на меня, когда увидел я этих лучших нагими; тогда выросли у меня крылья, чтобы унестись в далекое будущее.

В далекое будущее, в южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник: туда, где боги стыдятся всяких одежд!

Но переодетыми хочу я видеть *вас*, близкие и ближние мои, и наряженными, и тщеславными, и гордыми, как «добрые и праведные». —

И переодетым хочу я сам сидеть среди вас, — чтобы *не узнавать* вас и себя; это и есть моя последняя человеческая мудрость.

Так говорил Заратустра.

Самый тихий час

Что случилось со мною, друзья мои? Вы видите, я расстроен, изгнан, повинуюсь против воли, готов уйти — ах, уйти от *вас*!

Да, еще раз должен Заратустра вернуться в свое уединение; но нерадостно возвращается на этот раз медведь в свою берлогу!

Что случилось со мною? Кто принуждает меня? — Ах, этого хочет мой гневный повелитель, он говорил ко мне; называл ли я вам когда-нибудь его имя?

Вчера вечером говорил ко мне *мой самый тихий час* — вот имя моего ужасного повелителя.

А случилось это так, — ибо я должен сказать вам всё, чтобы ваше сердце не ожесточилось против внезапно уходящего!

Знаете ли вы испуг засыпающего? —

До самых пальцев ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его и начинается сон.

Такое сравнение даю я вам. Вчера, в самый тихий час, почва ушла из-под моих ног: сон начался.

Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание, — никогда не слышал я такой тишины вокруг, — так что мое сердце испугалось.

Тогда я услышал беззвучный голос: «*Ты знаешь это, Заратустра?*» —

И я вскрикнул от страха при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица, — но я молчал.

Тогда я еще раз услышал беззвучный голос: «Ты знаешь это, Заратустра, но ты не говоришь об этом!» —

И я отвечал наконец, подобно упрямцу: «Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом!»

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Ты не *хочешь*, Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве!» —

И я плакал и дрожал как ребенок и сказал: «Ах, я хотел бы, но разве могу я! Избавь же меня! Это свыше моих сил!»

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «При чем тут ты, Заратустра! Скажи свое слово и разбейся!» —

И я отвечал: «Ах, разве это *мое* слово? Кто я? Я жду более достойного; я не достоин даже разбиться о него».

Тогда опять сказал он мне беззвучно: «При чем тут ты? Ты еще недостаточно кроток для меня. У кротости самая грубая шкура». —

И я отвечал: «Чего только не вынесла шкура моей кротости! У подножия своей высоты живу я; как высоки мои вершины? Никто еще не сказал мне этого. Но хорошо знаю я свои долины».

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «О Заратустра, кто должен двигать горами, тот передвигает и долины и низменности». —

И я отвечал: «Еще не двигало мое слово горами, и что я говорил, не достигало людей. И хотя шел я к людям, но еще не дошел я до них».

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Что знаешь ты *об этом*! Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвнее». —

И я отвечал: «Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему; и, поистине, дрожали тогда мои ноги.

И так говорили они мне: «Ты разучился находить путь, теперь ты разучиваешься и ходить!»

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Что тебе до насмешек их! Ты тот, кто разучился повиноваться; теперь должен ты приказывать!

Разве ты не знаешь, *кто* для всех нужнее? Кто приказывает великое.

Великое совершить трудно; но еще труднее приказать великое.

Самое непростительное в тебе: у тебя есть власть, а ты не хочешь властвовать».—

И я отвечал: «Мне недостает голоса льва, чтобы приказывать».

Тогда я снова услышал как будто шепот: «Самые тихие слова те, что приносят бурю. Мысли, приходящие на голубиных лапах, управляют миром.

О Заратустра, ты должен идти как тень того, что должно наступить: так будешь ты приказывать и, приказывая, идти впереди». —

И я отвечал: «Мне стыдно».

Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Ты должен еще стать ребенком и не иметь стыда.

Гордыня юности еще на тебе, поздно стал ты юным, — но кто хочет превратиться в ребенка, должен преодолеть еще свою юность». —

И я решался долго и дрожал. Наконец сказал я то же, что и в первый раз: «Я не хочу».

Тогда раздался смех вокруг меня. Увы, смех этот разрывал мне внутренности и терзал мое сердце!

Тогда я в последний раз услышал беззвучный голос: «О Заратустра, твои плоды созрели, но ты не созрел для своих плодов!

Надо тебе опять уединиться: ибо ты должен еще дозреть». —

И вновь раздался смех и улетел; тогда наступила вокруг меня тишина, как будто двойная тишина. Я же лежал на земле, пот катился с моих членов.

Теперь слышали вы всё, и почему я должен вернуться в свое уединение. Ничего не утаил я от вас, друзья мои.

Но и это услышали вы от меня, от того, *кто* всё еще самый молчаливый из людей, — и хочет остаться таким!

Ах, друзья мои! Я мог бы сказать вам что-то еще, я мог бы дать вам что-то еще! Почему не даю я? Разве я скуп? —

Но когда Заратустра произнес эти слова, овладела им сила скорби и близость разлуки с друзьями, так что он громко заплакал; и никто не знал, как утешить его! Ночью же ушел он один и оставил своих друзей.

Часть третья

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь возвыситься. А я смотрю вниз, потому что я возвышен.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.

Заратустра, О чтении и письме (I. C. 41)

Странник

Была полночь, когда Заратустра отправился в путь через горный хребет острова, чтобы ранним утром достичь противоположного берега: там хотел он сесть на корабль. Была там хорошая гавань, в которой даже чужие корабли охотно становились на якорь; они брали с собой тех, кто с блаженных островов хотел пуститься в море. И когда Заратустра всходил на гору, он вспоминал дорогой о своих многочисленных одиноких странствованиях с самой юности и о том, сколь на многие горы, хребты и вершины он уже взбирался.

«Я странник и восходящий на горы, — говорил он своему сердцу, — я не люблю равнин и, кажется, я не могу долго сидеть спокойно.

И какая бы судьба и какое переживание ни ждали меня, — всегда будет в них странствование и восхождение на горы: в конце концов, мы переживаем только самих себя.

Миновало то время, когда мне смели встречаться случайности; и что *могло бы* теперь еще случиться со мною, что не было бы уже моей собственностью!

Оно только возвращается, оно наконец приходит домой — мое собственное Я, и всё то от него, что было долго на чужбине, рассеянное среди всех вещей и случайностей.

И еще одно знаю я: теперь я стою перед своей последней вершиной и перед тем, что давно предуготовано мне. Ах, на самый трудный путь свой должен я вступить! Ах, я начал свое самое одинокое странствование!

Но тому, кто подобен мне, не избежать этого часа: часа, который говорит ему: «Только теперь ты идешь своим путем величия! Вершина и пропасть — слились теперь воедино!

Ты идешь своим путем величия: теперь стало твоим последним убежищем то, что доселе называлось твоей последней опасностью!

Ты идешь своим путем величия; теперь твое высшее мужество должно быть в том, что позади тебя нет больше пути!

Ты идешь своим путем величия; здесь никто не должен красться за тобой! Сами ноги твои стирали путь за тобою, и над ним написано: «Невозможность».

И если не будет у тебя больше ни одной лестницы, ты должен будешь научиться взбираться на свою собственную голову: как иначе хотел бы ты подняться вверх?

На свою собственную голову и выше — через собственное сердце! Теперь всё самое нежное в тебе должно стать еще самым твердым.

Кто всегда слишком берег себя, в конце концов хворает от своей чрезмерной осторожности. Хвала всему, что делает твердым! Я не хвалю землю, где текут — масло и мед!

Надо научиться *не замечать* себя, чтобы *многое* видеть: эта твердость необходима каждому, кто восходит на горы.

Но у кого назойливый глаз познающего, как усмотрит он в вещах больше, чем их показную суть!

Но ты, о Заратустра, хотел увидеть основу и изнанку всех вещей; потому должен ты подняться над самим собою, всё выше и выше, пока даже твои звезды не окажутся *под* тобой!

Да! Смотреть вниз на самого себя и даже на свои звезды — вот что назвал бы я своей *вершиной*, вот что осталось для меня моей *последней* вершиной!..»

Так говорил Заратустра с собою, поднимаясь на гору, суровыми речами утешая свое сердце: ибо он был ранен в сердце, как никогда еще прежде. И когда он достиг вершины горного хребта — смотрите — здесь, расстилаясь, лежало перед ним другое море, — и он стоял неподвижно и долго молчал. А ночь на этой высоте была холодная, и ясная, и светлая от звезд.

«Я узнаю мой жребий, — сказал он наконец с грустью. — Ну что ж! Я готов. Началось мое последнее уединение.

Ах, это черное печальное море подо мною! Ах, эта тяжелая ночная угрюмость! Ах, судьба и море! К вам должен я теперь спуститься *вниз*.

Перед самой высокой своею горой стою я и перед самым долгим своим странствованием; поэтому я должен спуститься глубже, чем когда-либо поднимался:

— глубже погрузиться в страдание, чем когда-либо поднимался, до самой черной его волны! Так хочет моя судьба. Ну что ж! Я готов.

«Откуда берутся высочайшие горы?» — так спрашивал я однажды. Тогда узнал я, что они выходят из моря.

Это свидетельство запечатлено на их каменных породах и склонах их вершин. Из самой глубины должно придти самое высокое к своей высоте. —

Так говорил Заратустра на пике горы, где было холодно; но когда он достиг близости моря и наконец стоял один среди утесов, овладела им усталость от пути и еще бóльшая тоска, чем прежде.

«Теперь еще всё спит, — говорил он. — И море спит. Сонно и незнакомо смотрит на меня его око.

Но дышит оно теплом, я это чувствую. И я чувствую, что оно грезит. Оно мечется в грезах на жестких подушках.

Чу! Как оно стонет от злых воспоминаний! Или от злых предчувствий?

Ах, я печален вместе с тобой, темное чудовище, и на себя самого досадую я из-за тебя.

Ах, почему нет в руке моей достаточной силы! Охотно, поистине, избавил бы я тебя от злых грез!» —

И пока Заратустра так говорил, смеялся он грустно и горько над самим собой. «Как! Заратустра! — сказал он, — ты еще хочешь утешать песнью море?

Ах, ты, любвеобильный глупец Заратустра, ты, безмерно блаженный в своем доверии! Но таким был ты всегда: всегда подходил ты доверчиво ко всему страшному.

Каждое чудовище хотел ты еще погладить. Дуновение теплого дыхания, немного мягкой шерсти на лапах — и ты уже был готов полюбить и привлечь к себе.

Любовь — опасность для самого одинокого, любовь ко всему, *если только оно живое*! Смеха, поистине, достойны моя глупость и моя скромность в любви!» —

Так говорил Заратустра и опять засмеялся; но тут он вспомнил о своих покинутых друзьях — и, как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли. И вдруг смеющийся заплакал: от гнева и тоски горько заплакал Заратустра.

О видéнии и загадке

1.

Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра на корабле, — ибо одновременно с ним сел на корабль человек, прибывший с блаженных островов, — всеми овладело великое любопытство и ожидание. Но Заратустра молчал два дня и был холоден и глух от печали, так что не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня вновь открыл он свои уши, хотя и продолжал молчать: ибо много необыкновенного и опасного можно было услышать на этом корабле, пришедшем издалека и собиравшемся плыть еще дальше. Заратустра же был другом всех тех, кто совершает дальние путешествия и не может жить без опасности. И смотрите, пока слушал он, развязался в конце концов его собственный язык и лед его сердца разбился; тогда начал он так говорить:

«Вам, отважным искателям, испытателям и тем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, —

вам, опьяненным загадками, любителям полумрака, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

— ибо не хотите вы нащупывать нить трусливой рукой; и где вы можете *отгадать*, там ненавидите вы — *делать выводы* —

вам одним расскажу я загадку, которую *видел*, — *видение* самого одинокого. —

Мрачный шел я недавно через мертвенно-бледные сумерки, — мрачно и твердо, со сжатыми губами. Не одно солнце закатилось для меня.

Тропинка, упрямо поднимающаяся между валунами, злобная, одинокая, без травы и без кустарника, — горная тропинка хрустела под упорством моей ноги.

Безмолвно ступая среди насмешливого громыхания голышей, растаптывая камень, с которого соскальзывала: так настойчиво продвигалась моя нога вверх.

Вверх: наперекор духу, увлекавшему ее вниз, увлекавшему в пропасть, духу тяжести, моему демону и заклятому врагу.

Вверх: хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот, хромой, — делая хромым и меня, вливая свинец в мои уши, свинцовые капли мыслей в мой мозг.

«О Заратустра, — насмешливо шептал он слог за слогом, — ты, камень мудрости! Ты забросил себя высоко, но каждый брошенный камень должен — упасть!

О Заратустра, ты камень мудрости, ты метательный камень, ты сокрушитель звезд! Себя самого забросил ты так высоко, — но каждый брошенный камень — должен упасть!

Приговоренный к себе самому и к побиванию себя камнями; о Заратустра, далеко же бросил ты камень, — но на *тебя* упадет он обратно!»

Тут карлик умолк, и это продолжалось долго. Его молчание давило меня; так вдвоем человек бывает поистине более одиноким, чем в одиночестве!

Я поднимался и поднимался, я грезил, я думал, — но всё давило меня. Я походил на больного, утомленного ужасной мукой, которого снова будит ото сна еще более мучительный сон. —

Но есть во мне нечто, что я называю мужеством; оно до сих пор убивало во мне всякое уныние. Это мужество заставило меня наконец остановиться и сказать: «Карлик! Ты! Или я!» —

Мужество — вот лучший убийца, — мужество; которое *нападает*: ибо в каждом нападении звучит победная музыка.

Но человек самый мужественный зверь: этим победил он всех зверей. Победной музыкой преодолел он всякую боль; а человеческая боль — самая глубокая боль.

Мужество убивает даже головокружение на краю пропасти; а где человек не стоял бы на краю пропасти! Разве видеть не значит — видеть пропасть?

Мужество лучший убийца: мужество убивает даже сострадание. Сострадание же самая глубокая пропасть: насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдание.

Но мужество лучший убийца, мужество, которое нападает: оно убивает насмерть даже смерть, ибо говорит: «Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!»

В этих словах много победной музыки. Имеющий уши да слышит. –

2.

«Стой! Карлик! – сказал я. – Я! Или ты! Но я сильнейший из нас двоих: ты не знаешь моей самой бездонной мысли! *Ее* – ты не мог бы нести!» –

Тут стал я вдруг более легким: карлик спрыгнул с моих плеч, любопытный карлик! Он сел на корточки на камень передо мной. Прямо здесь, где мы остановились, были ворота.

«Взгляни на эти ворота! Карлик! – продолжал я. – У них два лица. Два пути сходятся здесь, по ним никто еще не проходил до конца.

Эта длинная дорога позади – она длится вечность. А та длинная дорога впереди – это другая вечность.

Они противоречат друг другу, эти пути; они сталкиваются лбами – и здесь, у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: «Мгновенье».

Но если кто-нибудь пошел бы по ним дальше – всё дальше и дальше, – думаешь ли ты, карлик, что эти пути вечно себе бы противоречили?» –

«Всё прямое лжет, – презрительно пробормотал карлик. – Всякая истина крива, само время есть круг».

«Ты, дух тяжести! – сказал я сердито, – не притворяйся, что это так легко! Или я оставлю тебя сидеть на корточках, где ты сидишь, хромоногий, – а ведь я нес тебя *наверх*!

Взгляни, – продолжал я, – на это Мгновенье! От этих врат Мгновенья убегает длинная вечная дорога *назад*: позади нас лежит вечность.

Не должно ли было всё, что *может* идти, уже однажды пройти эту дорогу? Не должно ли было всё, что *может* случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти?

И если всё здесь уже было – что думаешь ты, карлик, об этом Мгновении? Не должны ли и эти ворота уже однажды – здесь быть?

Не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за собою *всё* грядущее? *Следовательно* — еще и само себя?

Ибо всё, что *может* идти, и *вдаль* по длинной дороге — *должно* еще раз пройти! —

И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам этот лунный свет, и я, и ты в воротах, шепчемся между собой, шепчемся о вечных вещах, — разве все мы уже не были должны быть здесь?

— и возвратиться и пройти по той другой дороге, вперед, вдаль, по этой длинной ужасающей дороге, — не должны ли мы вечно возвращаться?»

Так говорил я, всё тише: ибо страшился собственной мысли и сокровенного значения своих мыслей и задних мыслей. Тут вдруг услышал я вблизи *вой* собаки.

Не слышал ли я уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устремилась в прошлое. Да! Когда я был ребенком, в самом далеком детстве:

— тогда слышал я собаку, которая так выла. И видел ее, ощетинившуюся, с поднятой кверху головой, дрожащую, в самую тихую полночь, когда и собаки верят в призраков:

— так что мне было жаль ее. Над домом только что взошел, в мертвом молчании, полный месяц; он стоял неподвижно, круглым огненным шаром, — неподвижно над плоской крышей, как над чужой собственностью:

— от этого собаку обуял страх: ведь собаки верят в воров и призраков. И когда я опять услышал этот вой, я вновь почувствовал жалость.

Куда же девался карлик? И ворота? И паук? И все перешептывания? Было ли это во сне? Или наяву? Вдруг снова стоял я среди диких скал, один, одинокий, в пустынном свете луны.

Но там лежал человек! И там — собака! с ощетинившейся шерстью прыгает и визжит, — тут она увидела, что я подошел, — и сразу снова завыла, *закричала*; слышал ли я когда-нибудь, чтобы собака кричала так о помощи?

И, поистине, увидел я то, чего никогда не видел. Я увидел молодого пастуха, корчившегося, задыхающегося, в конвульсиях, с искаженным лицом; изо рта его свисала черная тяжелая змея.

Видел ли я когда-нибудь столько отвращения и бледного ужаса на одном лице? Должно быть, он спал? Тогда змея заползла ему в глотку — и впилась в нее.

Моя рука рванула змею, рванула еще — напрасно! она не вырвала змею из глотки. Тогда из меня вырвался крик: «Откуси! Откуси!

Голову! Откуси!» — так выкрикнул из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жалость, всё хорошее и всё дурное во мне кричало из меня в едином крике. —

Вы, смельчаки вокруг меня! Вы, искатели, испытатели и те из вас, кто плавает под коварными парусами по неисследованным морям! Вы, любители загадок!

Разгадайте же мне загадку, которую я видел тогда, растолкуйте же мне это виде́ние самого одинокого!

Ибо это было виде́ние и предвидение — *что* видел я тогда в этом символе? И *кто* он, кто однажды еще должен придти?

Кто тот пастух, которому заползла в глотку змея? *Кто* этот человек, которому всё самое тяжелое, самое черное заползет в глотку?

Но пастух откусил, как советовал ему мой крик; он откусил уверенно! Далеко отплюнул он голову змеи — и вскочил на ноги. —

Ни пастуха, ни человека более, — преображенный, просветленный, который *смеялся*! Никогда еще на земле не смеялся человек, как *он* смеялся!

О братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека, — и теперь пожирает меня жажда, тоска, которая никогда не стихнет.

Тоска по этому смеху пожирает меня; о, как вынесу я еще жизнь? И как мог бы вынести я теперь смерть! —

Так говорил Заратустра.

О блаженстве против воли

С такими загадками и горечью в сердце плыл Заратустра по морю. Но на четвертый день путешествия, когда был он далеко от блаженных островов и своих друзей, он превозмог всю скорбь свою: победоносно, твердой ногою снова встал он на путь своей судьбы. И так говорил тогда Заратустра к своей ликующей совести:

Один я снова и хочу им быть, наедине с ясным небом и свободным морем; снова послеполуденное время вокруг меня.

В послеполуденное время однажды обрел я впервые своих друзей, и в послеполуденное время обрел я их снова, в час, когда всякий свет становится спокойнее.

Ибо то счастье, которое еще блуждает между небом и землей, ищет себе пристанища в светлой душе; *от счастья* стал всякий свет теперь более спокойным.

О послеполуденное время моей жизни! Однажды спустилось и *мое* счастье в долину, искать себе пристанища; тогда обрело оно эти открытые гостеприимные души.

О послеполуденное время моей жизни! Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно: эти живые посевы моих мыслей и этот рассвет моей высшей надежды!

Последователей некогда искал созидающий и детей *своей* надежды – и смотрите, оказалось, что он не может найти их иначе, как сам сначала создав их.

Так занят я своим делом, идя к детям и возвращаясь от них: ради своих детей должен Заратустра завершить самого себя.

Ибо всем сердцем любят только своего ребенка и свое дело; а где есть великая любовь к себе, там служит она верным признаком беременности: так обнаружил я.

Еще зеленеют мои дети в свою первую весну, стоя близко друг к другу, вместе колеблемые ветром, деревья моего сада и лучшей земли.

И поистине! Где такие деревья стоят близко друг к другу, там *находятся* блаженные острова!

Но когда-нибудь я вырою их и рассажу каждое отдельно: чтобы оно научилось одиночеству, и упорству, и осторожности.

Суковатое и изогнутое, с гибкой твердостью должно оно стоять у моря живым маяком непобедимой жизни.

Там, где бури низвергаются в море, и хобот гор пьет воду, там должно каждое из них стоять днем и ночью на страже, для *своего* испытания и познания.

Познанным и испытанным должно оно стать, чтобы понять, моего ли оно рода и происхождения, — господин ли оно упорной воли, молчаливое даже когда говорит, уступая так, чтобы, давая, *брать*:

— чтобы однажды стать моим последователем, и созидающим, и празднующим вместе с Заратустрой, тем, кто пишет мою волю на моих скрижалях: для более полного завершения всех вещей.

И ради него и подобных ему должен я сам завершить *себя*; поэтому бегу я теперь своего счастья и предлагаю себя всем несчастьям — ради *моего* последнего испытания и познания.

И поистине, настало время мне уходить; тень странника, и поздняя пора, и самый тихий час — всё говорило мне: «Настало время!»

Ветер дул в замочную скважину и говорил: «Иди!» Дверь лукаво распахивалась и говорила: «Уходи!»

Но я лежал, прикованный любовью к моим детям; желание наложило на меня эти узы, желание любви, чтобы я сделался жертвой своих детей и из-за них потерял себя.

Желать — это значит для меня: потерять себя. *У меня есть вы, мои дети!* В этом обладании всё должно быть уверенностью и ничто не должно быть желанием.

Но солнце моей любви жгло меня, в собственном соку варился Заратустра, — тогда пронеслись тень и сомнение надо мной.

Уже жаждал я мороза и зимы: «О, если бы мороз и зима заставили меня снова скрипеть и похрустывать!» — вздыхал я, — тогда поднялись от меня ледяные туманы.

Мое прошлое вскрыло свои могилы, много заживо погребенного страдания проснулось; оно лишь выспалось, сокрытое в саване.

Так всё кричало мне знаками: «Пора!» Но я — не слушал, пока наконец не зашевелилась моя бездна и моя мысль не укусила меня.

Ах, бездонная мысль, *моя* мысль! Когда найду я силу слышать, как ты роешь, и не дрожать более?

До самой гортани стучит мое сердце, когда я слышу, как ты роешь! Даже твое молчание хочет задушить меня, ты, бездонно молчаливая!

Никогда еще не решался я вызвать тебя *наружу*: довольно того уже, что я носил тебя — с собою! Еще не был я достаточно силен для последней смелости льва и его дерзости.

Достаточно того ужаса, каким всегда была для меня твоя тяжесть; но когда-нибудь я должен найти силу и голос льва, он вызовет тебя наружу!

И когда я наконец преодолею это в себе, тогда преодолею я нечто большее; *победа* должна быть печатью моего завершения! —

А пока я всё блуждаю по неведомым морям; случай льстит мне, лицемерный; вперед и назад смотрю я — и не вижу конца.

Еще не наступил час моей последней борьбы, — или он как раз настает? Поистине, с коварной прелестью смотрят на меня кругом море и жизнь!

О послеполуденное время моей жизни! О счастье перед вечером! О пристань в открытом море! О мир в неизвестности! Как не доверяю я вам всем!

Поистине, не доверяю я вашей коварной прелести! Я похож на влюбленного, который не доверяет слишком бархатной улыбке.

Он отталкивает от себя возлюбленную, оставаясь нежным даже в своей суровости, ревнивец, — так отталкиваю и я от себя этот блаженный час.

Прочь от меня, блаженный час! С тобою пришло ко мне блаженство против воли! Готовый к самому глубокому своему страданию стою я здесь, не вовремя пришел ты!

Прочь от меня, блаженный час! Лучше найди себе пристанище там — у моих детей! Спеши! и благослови их еще до вечера *моим* счастьем!

Уже приближается вечер: солнце садится. Удалилось мое счастье! —

Так говорил Заратустра. И он ждал своего несчастья всю ночь — но ждал напрасно. Ночь оставалась ясной и тихой, и счастье само приближалось к нему всё ближе и ближе. А к утру засмеялся Заратустра в сердце своем и сказал насмешливо: «Счастье бегает за мной. Это потому, что я не бегаю за женщинами. А счастье — женщина».

Перед восходом солнца

О небо надо мной, ты, чистое! Глубокое! Ты бездна света! Взирая на тебя, я трепещу от божественных желаний.

Броситься в твою высоту — вот *моя* глубина! Укрыться в твоей чистоте — вот *моя* невинность!

Бога скрывает его красота, — так скрываешь ты свои звезды. Ты не говоришь, — *так* сообщаешь ты мне свою мудрость.

Безмолвно над бушующим морем взошло ты сегодня, твоя любовь и стыдливость возвещают откровение моей бушующей душе.

В том, что пришло ты ко мне, прекрасное, скрытое в своей красоте, что безмолвно говоришь ты мне, открытое в своей мудрости:

О, неужели не угадал бы я всей стыдливости твоей души! *Прежде* солнца пришло ты ко мне, самому одинокому.

Мы друзья изначала, у нас скорбь, и страх, и основа общие; даже солнце у нас общее.

Мы не говорим друг с другом, потому что знаем слишком многое; мы молчим друг другу, мы улыбаемся нашим знанием друг другу.

Не свет ли ты моего пламени? Не в тебе ли душа, сестра моего прозрения?

Вместе учились мы всему; вместе учились мы подниматься над собою к себе самим и безоблачно улыбаться:

— безоблачно улыбаться вниз светлыми очами из многомильной дали, в то время как под нами дымятся, как дождь, насилие, и цель, и вина.

И если блуждал я один, — *чего* алкала душа моя по ночам и на тропинках заблуждения? И если поднимался я на горы, *кого*, как не тебя, искал я на горах?

Все мои странствования и восхождения на горы — были лишь необходимостью и помощью беспомощному; *лететь* хочет вся моя воля, лететь в *тебя*!

И кого ненавидел я более, чем тянущиеся облака и всё, что пятнает тебя? Мою собственную ненависть ненавидел я, потому что она пятнала тебя!

Я ненавижу тянущиеся облака, этих крадущихся хищных кошек: они отнимают у тебя и меня, что есть у нас общего, — огромное, безграничное Да и Аминь.

Этих посредников, что всё смешивают, ненавидим мы, — тянущиеся облака, этих половинчатых, которые не научились ни благословлять, ни проклинать всем сердцем.

Лучше буду сидеть я под закрытым небом в бочке, лучше сидеть без неба в бездне, чем видеть тебя, ясное небо, запятнанным тянущимися облаками!

И часто хотелось мне скрепить их зубчатыми золотыми проволоками молний, чтобы, подобно грому, я мог барабанить по их вздутому животу:

— гневный барабанщик, ведь они крадут у меня твое Да! и Аминь! Ты, небо надо мною, чистое! Светлое! Ты, бездна света! — ведь они крадут у тебя *мое* Да! и Аминь!

Пусть лучше будет шум, и гром, и проклятия непогоды, чем это осмотрительное, нерешительное кошачье спокойствие; даже среди людей всего сильнее ненавижу я тихо ступающих, половинчатых, нерешительных, медлительных, тянущиеся облака.

И «кто не может благословлять, тот должен *научиться* проклинать!» — это ясное наставление упало мне с ясного неба, эта звезда даже в темные ночи стоит на моем небе.

Но я благословляющий и говорящий Да, если только ты окружаешь меня, ты, чистое! Ясное! Бездна света! — во все бездны несу я тогда свое благословляющее Да.

Я стал благословлять и говорить Да; я долго боролся и был борцом, чтобы однажды иметь руки свободными для благословения.

И вот мое благословение: над каждою вещью быть ее собственным небом, ее круглым куполом, ее лазурным колоколом и вечной уверенностью — и блажен, кто так благословляет!

Ибо все вещи крещены у источника вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только промельки теней, влажная скорбь и тянущиеся облака.

Поистине, это благословение, а не хула, когда я учу: «Над всеми вещами стоит небо-случай, небо-невинность, небо-нечаянность, небо-дерзновение».

«Нечаянность» — вот самая древняя аристократия мира, ее возвратил я вещам, я избавил их от кабалы цели.

Эту свободу и ясность неба поставил я, как лазурный колокол, над всеми вещами, когда учил, что над ними и через них никакая «вечная воля» — не волит.

Это дерзновение и это безумие поставил я на место той воли, когда учил: «При этом одно невозможно — разумность!»

Пожалуй, *немного* разума, семя мудрости рассеяно от звезды до звезды, — ко всем вещам примешана эта закваска; ради безумия примешана мудрость ко всем вещам!

Немного мудрости еще возможно; но вот какую блаженную уверенность находил я во всех вещах: они предпочитают *танцевать* на ногах случая.

О небо надо мной, ты, чистое! Высокое! Теперь в том для меня твоя чистота, что нет вечного паука-разума и разума-паутины:

— что ты место танцев для божественных случайностей, что ты божественный стол для божественных игральных костей и игроков в кости! —

Но ты краснеешь? Не сказал ли я, чего нельзя высказывать? Не произнес ли я хулы, желая благословить тебя?

Или покраснело ты от стыда, что мы вдвоем? — Не приказываешь ли ты мне удалиться и замолчать, ибо теперь — *день* приближается?

Мир глубок, — глубже, чем когда-либо думалось дню. Не всему позволено говорить перед лицом дня. Но день приближается — и теперь мы расстаемся!

О небо надо мной, ты, стыдливое! Пылающее! О ты, мое счастье перед восходом солнца! День приближается — и теперь мы расстаемся! —

Так говорил Заратустра.

Об умаляющей добродетели

1.

Спустившись вновь на сушу, Заратустра не направился прямо на свою гору и в свою пещеру, а прошел много дорог, задавая много вопросов, спрашивая о том и об этом, так что, шутя, он говорил о себе самом: «Вот река, многими извивами возвращающаяся к источнику!» Ибо он хотел узнать, что за это время случилось *с человеком*: стал ли он более великим или измельчал. И однажды увидел он ряд новых домов; он подивился этому и сказал:

«Что означают дома эти? Поистине, невеликая душа построила их по своему подобию!

Не глупый ли ребенок вынул их из своего ящика с игрушками? Только бы другой ребенок опять уложил их в свой ящик!

А эти комнаты и каморки, — могут ли *люди* выходить из них и входить туда? Они кажутся мне сделанными для шелковичных куколок или для кошек-лакомок, которые позволяют лакомиться и собою».

Здесь Заратустра остановился и задумался. Наконец он сказал с грустью: «*Всё* измельчало!

Повсюду вижу я низкие ворота; кто подобен *мне*, может еще пройти в них, но — должен нагнуться!

О, когда же вернусь я на мою родину, где не должен я более нагибаться — не должен более нагибаться *перед малыми*!» — И Заратустра вздохнул и устремил взор свой вдаль. —

В тот же день произнес он свою речь об умаляющей добродетели.

2.

С открытыми глазами хожу я среди этих людей; они не прощают мне, что я не завидую их добродетелям.

Они норовят укусить меня, ибо я говорю им: маленьким людям нужны маленькие добродетели, — ибо трудно мне согласиться, что маленькие люди *нужны*!

Я похож здесь на петуха на чужом дворе, которого норовят клюнуть даже куры; но за это не сержусь я на этих кур.

Я вежлив с ними, как со всякой маленькой неприятностью; быть колючим по отношению к малому кажется мне мудростью ежа.

Все они говорят обо мне, сидя вечером у очага, — они говорят обо мне, но никто не думает — обо мне!

Вот новая тишина, которой я научился; их шум простирает покрывало над моими мыслями.

Они шумят между собой: «Что несет нам эта темная туча? поостережемся, чтобы она не принесла нам заразы!»

И недавно одна женщина отдернула своего ребенка, тянувшегося ко мне. «Унесите детей! — кричала она. — Такие глаза опаляют детские души».

Они кашляют, когда я говорю: они думают, что кашель — возражение против могучих ветров, — они не догадываются о шуме моего счастья!

«У нас нет времени для Заратустры» — так возражают они; но что толку во времени, у которого «нет времени» для Заратустры?

И даже когда они восхваляют меня — разве я мог бы заснуть на *их* славе? Терновый пояс — хвала их для меня: я чувствую зуд, даже когда снимаю его.

И еще научился я у них: тот, кто хвалит, делает вид, будто воздает, но на самом деле он хочет, чтобы еще больше отблагодарили его!

Спросите у моей ноги, нравится ли ей их манера хвалить и привлекать к себе! Поистине, под такой такт и тик-так не хочет она ни танцевать, ни оставаться в покое.

Маленькой добродетелью хотели бы они заманить и захвалить меня; в тик-так маленького счастья хотели бы они увлечь мою ногу.

С открытыми глазами хожу я среди этих людей: они *измельчали* и становятся всё мельче — и *делает это их учение о счастье и добродетели.*

Они ведь и в добродетели скромны, — ибо ищут довольства. А с довольством может уживаться только скромная добродетель.

Правда, они учатся шагать по-своему, и шагать вперед, — но я называю это ковылянием. Этим мешают они всякому, кто спешит.

А иные из них идут вперед и смотрят при этом назад, вытянув шею; мне нравится сталкиваться с ними на полном ходу.

Ноги и глаза не должны ни лгать, ни уличать друг друга во лжи. Но много лживого у маленьких людей.

Некоторые из них волят, но большинство повинуются чужой воле. Некоторые из них подлинные, но большинство — плохие актеры.

Есть между ними актеры бессознательные и актеры против воли, — подлинные всегда редки, особенно подлинные актеры.

Мужского здесь мало, поэтому их женщины становятся мужеподобными. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, *освободит* в женщине — *женщину.*

И вот худшее лицемерие, что встретил я у них: даже те, кто повелевают, лицемерно вторят добродетелям тех, кто служит.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится здесь лицемерие господствующих, — и горе, если первый господин есть *лишь* первый слуга!

Ах, даже в их лицемерие залетело любопытство моего взора; и я хорошо угадал всё их счастье мухи и их жужжание на освещенном солнцем оконном стекле.

Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости.

Они круглы, аккуратны и доброжелательны друг к другу, как песчинки круглы, аккуратны и доброжелательны к песчинкам.

Скромно обнять маленькое счастье — это называют они «смирением»! и при этом скромно косятся на новое маленькое счастье.

В сущности, они попросту желают лишь одного: чтобы никто не причинял им страдания. Поэтому предупредительны они к каждому и делают ему добро.

Но это *трусость* — хотя бы и называлась она «добродетелью». —

И когда им случается говорить грубо, этим маленьким людям — *я* слышу в голосе их лишь хрипоту, — ведь всякий сквозняк делает их хриплыми.

Хитры они, у их добродетелей хитрые пальцы. Но им недостает кулаков, их пальцы не умеют сжиматься в кулак.

Добродетелью считают они то, что делает скромным и ручным; так превратили они волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное человека.

«Мы поставили наш стул *посередине*, — так говорит мне их ухмылка, — одинаково далеко от гибнущих в сражении и от довольных свиней».

Но это — *посредственность*, — хотя бы и называлась она умеренностью. —

3.

Я хожу среди этих людей и порой роняю слова; но они не умеют ни брать, ни хранить.

Они удивляются, что я не пришел обличать их похоти и пороки; но поистине, я не пришел предостерегать и от карманных воров!

Они удивляются, что я не желаю умудрять и обострять их ум, — как будто им мало умников, чей голос скрипит, как грифель по аспидной доске!

И когда я кричу: «Кляните всех трусливых демонов в вас, которые желали бы визжать, складывать руки и молиться», они восклицают: «Заратустра — безбожник».

И особенно кричат об этом их проповедники смирения — но именно им люблю я кричать в ухо: «Да! *Я* — Заратустра, безбожник!»

Эти проповедники смирения! Всюду, где ничтожество, болезнь и струпья, они ползают, как вши; и только мое отвращение мешает мне давить их.

Ну что ж! Вот моя проповедь для *их* ушей: я — Заратустра, безбожник, который говорит: «Кто безбожнее меня, чтобы я мог радоваться его наставлению?»

Я — Заратустра, безбожник; где найду я подобных себе? Подобны мне все те, кто отдает себя своей воле и сбрасывает с себя всякое смирение.

Я — Заратустра, безбожник; я варю каждый случай в *моем* котле. И только когда он вполне сварится, я приветствую его как *мою* пищу.

И поистине, иные случаи повелительно приближались ко мне — но еще более повелительно говорила к ним моя *воля*, — и тотчас стояли они на коленях, умоляя —

— умоляя, чтобы не отказал я им в пристанище и сердечном приеме, и льстиво уговаривая: «Видишь, о Заратустра, так только друг приходит к другу!» —

Но что говорю я там, где нет ни у кого *моих* ушей! И так стану я взывать ко всем ветрам:

Вы всё мельчаете, вы, маленькие люди! Вы крошитесь, вы, любители довольства! Вы погибнете еще —

— от множества ваших маленьких добродетелей, от множества ваших мелких упущений, от избытка вашего маленького смирения!

Вы слишком щадите, слишком уступаете: такова ваша почва! Но чтобы дерево стало *большим*, для этого должно оно обвить крепкие скалы крепкими корнями!

Даже то, чего вы не делаете, ткет ткань всего человеческого будущего; даже ваше ничто есть паутина и паук, живущий кровью будущего.

И когда берете, вы как бы крадете, вы, маленькие и добродетельные; но и среди мошенников говорит *честь*: «Надо красть только там, где нельзя грабить».

«Дается» — таково учение смирения. Но я говорю вам, вы, любители довольства: *берется* и будет всё больше браться от вас!

Ах, если бы вы сбросили с себя всякое *полухотение* и решительно отдались и лени, и делу!

Ах, если бы вы поняли мои слова: «Делайте, так и быть, что хотите, — но прежде всего будьте такими, которые *могут хотеть*!

Любите, так и быть, своего ближнего, как себя, — но прежде всего будьте такими, которые *любят самих себя* —

— любят великой любовью, любят великим презрением!» — Так говорит Заратустра, безбожник. —

Но что говорю я там, где нет ни у кого *моих* ушей! Здесь еще слишком рано, на целый час рано для меня.

Собственный провозвестник я среди этих людей, свой собственный крик петуха среди темных улиц.

Но *их* час приближается! Приближается также и мой! Час от часу становятся они меньше, беднее, бесплоднее, — бедная трава! бедная земля!

И *скоро* будут они стоять, подобно сухой степной траве, и поистине! — усталые от себя самих, томимые скорее жаждой *огня*, чем воды!

О благословенный час молнии! О тайна перед полуднем! — В блуждающие огни однажды превращу я их, в провозвестников огненными языками:

— возвещать будут они огненными языками: «Он приближается, он близок, *великий полдень*!» —

Так говорил Заратустра.

На Масличной горе

Зима, злая гостья, сидит у меня в доме; посинели мои руки от ее дружеских рукопожатий.

Я чту ее, эту злую гостью, но охотно оставляю сидеть одну. Охотно убегаю я от нее; и если бежишь *хорошо*, то убегаешь от нее!

С теплыми ногами и с теплыми мыслями бегу я туда, где стихает ветер, — в солнечный уголок моей Масличной горы.

Здесь смеюсь я над моей строгой гостьей, и я люблю ее за то, что она ловит в доме мух и заставляет стихать разный мелкий шум.

Ведь она не выносит, когда поет комар или целых два; она делает улицу пустынной, так что лунный свет боится проникать туда ночью.

Она суровая гостья, — но я чту ее и не молюсь, подобно неженкам, пузатому идолу огня.

Лучше немного пощелкать зубами, чем молиться идолам! — таков мой нрав. И особенно зол я на всех пылких, дымящихся и удушливых идолов огня.

Кого я люблю, того люблю я больше зимою, чем летом; лучше и смелее смеюсь я над моими врагами, с тех пор как зима сидит у меня в доме.

Смело, поистине, даже тогда, когда я *заползаю* в постель; тут смеется и шалит мое укрывшееся счастье, смеется и мой обманчивый сон.

Разве я — ползаю? Никогда в жизни не ползал я перед сильными — и если когда-нибудь лгал, то лгал из любви. Поэтому весел я и в зимней постели.

Скромная постель греет меня больше, чем роскошная, ибо я ревнив к своей бедности. А зимою она верна мне больше всего.

Злобою начинаю я каждый день, я смеюсь над зимой холодной ванною — за это ворчит на меня моя строгая гостья.

И люблю щекотать ее маленькой восковой свечкой, чтобы она наконец выпустила небо из пепельно-серых сумерек.

Особенно злым бываю я утром: в ранний час, когда звенит ведро у колодца и тепло раздается на серых улицах ржание лошадей.

С нетерпением жду я, чтобы взошло наконец ясное небо, снежнобородое зимнее небо, старик белый как лунь, —

— зимнее небо, молчаливое, часто умалчивающее даже о своем солнце!

Не у него ли научился я долгому светлому молчанию? Или оно научилось ему у меня? Или каждый из нас сам его изобрел?

Происхождение всех хороших вещей тысячекратно, — все хорошие веселые вещи прыгают от радости в бытие — как бы могли они это сделать — только один раз!

Хорошая веселая вещь — это и долгое молчание, и, подобный зимнему небу, взгляд ясного круглоглазого лица:

— подобно ему скрывать свое солнце и свою непреклонную волю солнца; поистине, я *хорошо* изучил это искусство и это зимнее веселье!

Моя самая любимая злоба и искусство в том, чтобы мое молчание научилось не выдавать себя молчанием.

Гремя словами и игральными костями, дурачу я тех, кто торжественно ждет: от всех этих строгих надсмотрщиков должны ускользнуть мои воля и цель.

Чтобы никто не смог заглянуть в мою суть и мою последнюю волю, — для этого изобрел я долгое светлое молчание.

Немало умных встречал я; они прикрывали свое лицо и мутили свою воду, чтобы никто не мог их видеть насквозь, до дна.

Но именно к ним приходили более умные из недоверчивых и разгрызающих орехи; именно у них выуживали они их самых потаенных рыб!

А светлые, смелые и прозрачные — они, по-моему, самые умные из молчаливых; так *глубоко* дно их, что и самая прозрачная вода — не выдает его. —

Ты, снежнобородое молчаливое зимнее небо, ты, круглоглазая белая лунь надо мною! О ты, небесное подобие моей души и ее веселья!

И разве не *должен* я прятаться, подобно тому, кто проглотил золото, — чтобы не вспороли мою душу?

Разве не *должен* я встать на ходули, чтобы *не заметили* они моих длинных ног, — все эти завистники и ненавистники вокруг меня?

Эти продымленные, комнатные, изношенные, изжитые, истосковавшиеся души — как *могла бы* их зависть вынести мое счастье!

Поэтому я показываю им только лед и зиму на моих вершинах — и *не показываю*, что гора моя окружена всеми солнечными поясами!

Они слышат только свист моих зимних бурь — и *не слышат*, что пролетаю я и по теплым морям, подобно тоскующим, тяжелым, горячим южным ветрам.

Они сожалеют еще о моих несчастьях и случайностях — но *мое* слово гласит: «Предоставьте случаю придти ко мне; невинен он, как малое дитя!»

Как *могли бы* они вынести мое счастье, если бы я не положил несчастья, зимние беды, шапки из белого медведя и покровы снежного неба на мое счастье!

— если бы сам я не питал жалости к их *состраданию*, к состраданию этих мрачных завистников и ненавистников!

— если бы сам я не вздыхал и не дрожал перед ними от холода и не позволял терпеливо кутать себя в их сострадание!

В том мудрая радость и благоволение моей души, что *не прячет* она своей зимы и своих морозных бурь; не прячет она и своего озноба.

Для одного одиночество есть бегство больного; для другого одиночество есть бегство от больных.

Пусть *слышат* они, как дрожу и вздыхаю я от зимней стужи, все эти бедные завистливые плуты вокруг меня! С этими вздохами и дрожью убегаю я из их натопленных комнат.

Пусть они сожалеют и вздыхают о моем ознобе. «Как бы не *замерз* он от льда познания!» — так жалуются они.

А я тем временем бегаю всюду с теплыми ногами на моей Масличной горе; в солнечном уголке моей Масличной горы пою и подтруниваю я над всяким состраданием. —

Так пел Заратустра.

О прохождении мимо

Так, медленно проходя многие народы и разные города, возвращался Заратустра окольным путем к своим горам и своей пещере. И вот, подошел он неожиданно к воротам *большого города*; но здесь бросился к нему с распростертыми руками бесноватый шут и преградил ему дорогу. Это был тот самый шут, которого народ называл «обезьяной Заратустры»: ибо он кое-что перенял из манеры его говорить и охотно черпал из сокровищницы его мудрости. И шут так говорил к Заратустре:

«О Заратустра, здесь большой город; тебе здесь нечего искать, а потерять можешь всё.

Почему захотел ты брести по этой грязи? Пожалей свои ноги! Плюнь лучше на городские ворота и – вернись назад!

Здесь ад для мыслей отшельника, здесь великие мысли кипятятся живьем и развариваются на маленькие.

Здесь истлевают все великие чувства, здесь позволено стучать только костлявым убогим чувствам!

Разве ты не чувствуешь запаха бойни и харчевни духа? Разве не стоит над этим городом смрад от умерщвленного духа?

Разве не видишь ты, что души висят здесь, точно обвисшие, грязные лохмотья? – И они делают еще газеты из этих лохмотьев!

Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в игру слов? Отвратительные слова-помои извергает он! – И они делают еще газеты из этих слов-помоев!

Они травят друг друга и не знают, ради чего? Они распаляют друг друга и не знают, зачем? Они бряцают своей жестью, они звенят своим золотом.

Они холодны и ищут тепла в крепких напитках; они разгорячены и ищут прохлады у замерзших умов; все они хилы и больны общественным мнением.

Все похоти и пороки здесь у себя дома; но существуют здесь и добродетельные, здесь много услужливой, служащей добродетели:

Много услужливой добродетели с пальцами-писаками и с твердым седалищем и ожидалищем; она благословлена мелкими звездами на груди и набитыми соломой плоскозадыми дочерьми.

Существует здесь и много благочестия, много лести и угодничества перед богом воинств.

Ибо «Сверху» капают звезды и милостивые плевки; вверх тянется каждая грудь без звезды.

У месяца есть свой двор, и при дворе – свои придурки; на всё, что исходит от двора, молится нищая братия и всякая услужливая нищенская добродетель.

«Я служу, ты служишь, мы служим» – так молится господину всякая услужливая добродетель: чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, ко впалой груди!

Месяц вращается вокруг всего земного; так вращается и господин вокруг самого что ни на есть земного, – а это есть золото торгашей.

Бог воинств не бог золотых слитков; господин предполагает, а торгаш – располагает!

Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного и доброго, о Заратустра! Плюнь на этот город торгашей и вернись назад!

Здесь кровь течет испорченная, тепловатая, пенистая по всем венам; плюнь на большой город, на эту большую выгребную яму, где пенится всякая накипь!

Плюнь на город сдавленных душ и впалых грудей, язвительных глаз и липких пальцев –

– на город нахалов, бесстыдников, писак, пискляк, и распаленных честолюбцев –

– где всё порченое, зловонное, порочное, мрачное, прелое, прыщавое, коварное нарывает вместе –

– плюнь на большой город и вернись назад!» –

Но здесь прервал Заратустра бесноватого шута и зажал ему рот.

«Перестань наконец! – воскликнул Заратустра, – мне давно уже противны твоя речь и твоя особа!

Зачем так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться лягушкой и жабою?

Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая болотная кровь, что научился ты так квакать и поносить?

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве море не полно зелеными островами?

Я презираю твое презрение; и если предостерегал ты меня, – почему не предостерег ты самого себя?

Из одной только любви должно воспарить презрение мое и предостерегающая птица моя – но не из болота! –

Тебя называют моей обезьяной, ты, бесноватый шут; но я называю тебя своей хрюкающей свиньей, – хрюканьем портишь ты мне мою хвалу шутовства.

Что же заставило тебя хрюкать? Никто достаточно не *льстил* тебе, поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь основание вдоволь хрюкать, –

– чтобы иметь много поводов для *мести*! Ибо месть, ты, тщеславный шут, и есть вся твоя пена, я разгадал тебя!

Твое шутовское слово вредит *мне* даже там, где ты прав! И если бы слово Заратустры *было* сто раз право, – *ты* бы все-таки, моим словом, – *вредил* мне!»

Так говорил Заратустра; потом он посмотрел на большой город, вздохнул и долго молчал. Наконец он заговорил так:

– Мне противен этот большой город, не только этот шут. И здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать!

Горе этому большому городу! – Мне хотелось бы увидеть огненный столб, в котором сгорит он!

Ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню. Но всему свое время и своя собственная судьба. –

И такое поучение даю я тебе, шут, на прощание: где нельзя уже любить, там нужно – *пройти мимо*! –

Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города.

Об отступниках

1.

Ах, неужели всё поблекло и отцвело, что еще недавно зеленело и пестрело на этом лугу? И сколько меда надежды уносил я отсюда в свой улей!

Эти юные сердца все уже состарились, — и даже не состарились! — только устали, опошлились, успокоились; они называют это «мы опять стали набожными».

Еще недавно я видел их на рассвете выбегающими на смелых ногах; но их ноги познания устали, и теперь бранят они даже свою утреннюю смелость!

Поистине, иные из них когда-то поднимали ноги, как танцоры, их манил смех в моей мудрости, — потом они одумались. Только что я видел их согбенными — ползущими ко кресту.

Вокруг света и свободы когда-то порхали они, как мотыльки и юные поэты! Чуть старее, чуть холоднее — и вот они уже проныры, шептуны и печные лежебоки.

Не потому ли поникло сердце их, что, как кит, поглотило меня одиночество? Быть может, томительно долго, *напрасно* прислушивалось их ухо к призыву моих труб и моих герольдов?

Ах! Всегда было мало тех, чье сердце надолго сохраняет доблесть и дерзость; у таких даже дух остается выносливым. Остальные *трусливы*.

Остальные — это всегда большинство, повседневность, излишек, многое множество — все они трусливы! —

Кто подобен мне, тому встретятся на пути и переживания, подобные моим, — так что его первыми товарищами будут трупы и шуты.

А его вторыми товарищами — те, кто назовут себя *верующими* в него: живая толпа, много любви, много безумия, много безбородого почитания.

Но к этим верующим не должен привязывать свое сердце тот, кто подобен мне среди людей; в эти весны и пест-

рые луга не должен верить тот, кто знает род человеческий, непостоянный и трусливый!

Если бы могли они иначе, то и *хотели* бы они иначе. Половинчатость портит всё целое. Листья блекнут, — на что тут жаловаться!

Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся! Лучше подуй на них шумящими ветрами, —

— подуй на эти листья, о Заратустра: чтобы всё *поблекшее* скорее улетело от тебя! —

2.

«Мы опять стали набожными» — так признаются эти отступники; иные из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом.

Им смотрю я в глаза, — им говорю я в лицо и в румянец их щек: вы те, кто снова *молится*!

Но это позор, молиться! Не для всех, а для тебя, и для меня, и для тех, у кого в голове совесть. Для *тебя* это позор, молиться!

Ты знаешь: трусливый демон в тебе, охотно складывающий руки и кладущий их на колени и устраивающийся поудобнее, — этот трусливый демон говорит: «*Есть* бог!»

Но *потому* и принадлежишь ты к роду боящихся света, кому свет не дает покоя; теперь должен ты с каждым днем все глубже засовывать свою голову в ночь и чад!

И поистине, ты хорошо выбрал час: ибо теперь вновь вылетают ночные птицы. Час настал для боящихся света, час вечерний, праздничный час, когда — не «празднуется».

Я слышу и чую: настал их час для охоты и шествий, правда, не для дикой охоты, а для мягкой, вялой и выслеживающей охоты людей, тихо ступающих и тихо молящихся, —

— для охоты на чувствительных ханжей: все мышеловки для сердец теперь опять расставлены! И где ни поднимаю я завесу, отовсюду вылетает ночная бабочка.

Не сидела ли она тихо вместе с другой ночной бабочкой? Ибо всюду чую я маленькие скрытые общины; а где есть приюты, там новые богомольцы и смрад от богомольцев.

Они сидят долгими вечерами друг около друга и говорят: «Будем опять как малые дети и станем взывать к бо-

женьке!» — устами и желудком, которые испорчены набожными кондитерами.

Или смотрят долгими вечерами на хитрого, подстерегающего паука-крестовика, который сам проповедует мудрость паукам и учит так: «Под крестами хорошо ткать паутину!»

Или сидят целыми днями с удочками у болота и оттого мнят себя *глубокими*; но кто удит там, где нет рыбы, того не назову я даже поверхностным!

Или с благочестивой радостью учатся тренькать на арфе у певца-поэта, который охотно бы заарфился в сердца молодых бабенок, — ибо устал он от старых баб и их похвал.

Или они учатся страху у полусвихнувшегося ученого, в темных комнатах ждущего появления духов, — пока дух совсем не покинет его!

Или они прислушиваются к старому бурчащему-урчащему бродяге-дудочнику, который от унылых ветров научился унылости звуков; теперь вторит он ветру и проповедует уныние.

А некоторые из них сделались даже ночными сторожами: они научились трубить в рог, и делать ночной обход, и будить старое, давно уснувшее.

Пять слов о старом слышал я вчера ночью у садовой стены; они исходили от этих унылых, старых, высохших ночных сторожей.

«Как отец он недостаточно заботится о своих детях; человеческие отцы делают это лучше!» —

«Он слишком стар! Он совсем перестал заботиться о своих детях», — так отвечал другой ночной сторож.

«Разве у него *есть* дети? Никто не может этого доказать, если он сам не докажет! Мне давно хотелось, чтобы он однажды убедительно доказал это».

«Доказал? Как будто *Он* когда-либо что-нибудь доказал! Доказательства ему трудно даются; ему важно, чтобы *верили*».

«Да! Да! Вера делает его блаженным, вера в него. Такова привычка старых людей! То же и с нами!» —

— Так говорили между собой два старых ночных сторожа, боящихся света, и затем уныло трубили в свой рог; это происходило вчера ночью у садовой стены.

У меня же сердце заходилось от смеха и хотело вырваться, и не знало, куда? И оборвалось в груди.

Поистине, я умру от того, что задохнусь от смеха, глядя на пьяных ослов и слушая ночных сторожей, сомневающихся в боге.

Разве не прошло *давно* время для подобных сомнений? Кто стал бы еще будить старое, уснувшее, боящееся света!

Старым богам уже давным-давно пришел конец, — и поистине, у них был хороший, веселый божественный конец!

Их «сумерки» не продолжались до смерти, — об этом, конечно, лгут! Скорее однажды они сами *засмеяли* себя — до смерти!

Это случилось, когда самое безбожное слово было произнесено одним из богов — слово: «Бог един! У тебя не должно быть иного бога помимо меня!»

Старый сердитый бородач бог, ревнивец, до такой степени забылся —

и все боги смеялись тогда, качаясь на своих тронах, и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не бог?»

Имеющий уши да слышит. —

Так говорил Заратустра в городе, который любил он и который назывался «Пестрая корова». Отсюда оставалось всего два дня пути, чтобы вернуться в свою пещеру и к своим зверям, и душа его непрестанно радовалась близости возвращения. —

Возвращение

О одиночество! Ты *отчизна* моя, одиночество! Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе!

Теперь только погрози мне пальцем, как грозит мать, теперь улыбнись мне, как улыбается мать, теперь скажи только: «А кто однажды, как вихрь, улетел от меня? —

— Кто, расставаясь, кричал: слишком долго сидел я в одиночестве, и вот разучился я молчанию! Что ж, *этому* ты теперь научился?

О Заратустра, всё знаю я: и то, что среди многих был ты *более покинутым*, ты, одинокий, чем некогда у меня!

Одно дело — покинутость, другое — одиночество: *этому* — научился ты теперь! И что среди людей будешь ты всегда диким и чужим —

— диким и чужим, даже когда они любят тебя: ибо прежде всего хотят они, чтобы их *щадили*!

Здесь же ты на родине и дома; здесь можешь ты всё высказать и вытряхивать все основания, здесь нечего стыдиться затаенных, закоснелых чувств.

Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и льстя тебе: ибо они хотят скакать на твоей спине. Верхом на всяком подобии скачешь ты здесь к любой истине.

Прямо и искренне можешь ты говорить здесь ко всем вещам; и поистине, как похвала звучит в их ушах, что один со всеми вещами — говорит прямо!

Но иное дело — покинутость. Ибо помнишь ли ты, о Заратустра? Как твоя птица кричала над тобой, когда ты стоял в лесу, в нерешимости, не зная, куда идти, почти мертвец, —

— как ты говорил: «Пусть ведут меня мои звери!» Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей — *Это* была покинутость!

И помнишь ли ты, о Заратустра? Как сидел ты на своем острове, среди пустых ведер источник вина, давая и раздавая, разливая и проливая себя жаждущим, —

— пока, наконец, ты не остался один, жаждущий, среди пьяных и не жаловался по ночам: «Разве брать не большее наслаждение, чем давать? И красть не большее ли наслаждение, чем брать?» — *Это* была покинутость!

И помнишь ли ты еще, о Заратустра? Когда приблизился твой самый тихий час, и гнал тебя прочь от тебя самого, и зло шептал: «Скажи и сокруши!» —

— когда он отравил всё твое ожидание и молчание и привел в уныние твое кроткое мужество — *Это* была покинутость!» —

О одиночество! Ты отчизна моя, одиночество! Как блаженно и нежно говорит мне твой голос!

Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу, мы открыто идем вместе в открытые двери.

Ибо открыто у тебя и светло, и даже часы бегут здесь на более легких ногах. В темноте время гнетет больше, чем при свете.

Здесь прыгают ко мне слова и раскрываются ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, здесь всякое становление хочет научиться у меня говорить.

Но внизу — там всякая речь напрасна! Там забыть и пройти мимо — лучшая мудрость: *Этому* — научился я теперь!

Кто хотел бы всё понять у людей, должен ко всему прикоснуться. Но для этого у меня слишком чистые руки.

Я уже не хочу вдыхать их дыхание; ах, зачем я так долго жил среди их шума и зловонного дыхания!

О блаженная тишина вокруг меня! О чистый запах вокруг меня! О как вдыхает эта тишина полной грудью чистое дыхание! О как она прислушивается, эта блаженная тишина!

Но внизу — всё говорит, там всё пропускается мимо ушей. Там хоть в колокола звони про свою мудрость — торгаши на базаре перезвонят ее звоном своих грошей!

Всё у них говорит, никто больше не умеет понимать. Всё падает в воду, ничто больше не падает в глубокие источники.

Всё у них говорит, но ничто больше не удается и не приходит к концу. Всё кудахчет — но кому еще хочется спокойно сидеть в гнезде и высиживать яйца?

Всё у них говорит, всё заболтано. И что вчера еще было слишком твердым для самого времени и его зубов, нынче висит изо рта у людей настоящего, изгрызанное и обглоданное.

Всё у них говорит, всё разглашается. И что некогда называлось тайной и потаенностью глубоких душ, сегодня принадлежит уличным трубачам и другим мотылькам.

О ты, странное человеческое существо! Ты — шум на темных улицах! Вновь лежишь ты позади меня, моя величайшая опасность лежит позади меня!

В пощаде и сострадании была всегда моя величайшая опасность — а все человеческие существа хотят, чтобы щадили и жалели их.

С затаенными истинами, с рукою глупца и с одураченным сердцем, богатый маленькою ложью сострадания — так жил я всегда среди людей.

Переодетым сидел я среди них, готовый *себя* не узнавать, чтобы только *их* переносить, и стараясь уверить себя: «Глупец, ты не знаешь людей!»

Перестают знать людей, когда живут среди них: слишком много напускного во всех людях, — что делать *там* дальнозорким, прозорливым глазам!

И когда они не узнавали меня — я, глупец, щадил их больше, чем себя; я привык сурово относиться к себе и часто себе мстил за эту пощаду.

Искусанный ядовитыми мухами, изрытый, подобно камню, бесчисленными каплями злобы, так сидел я среди них и еще говорил себе: «Невинно всё ничтожное в своем ничтожестве!»

Особенно тех, кто называл себя «добрыми», находил я самыми ядовитыми мухами: они кусают в полной невинности, они лгут в полной невинности; как *могли бы* они быть ко мне — справедливыми!

Кто живет среди добрых, того сострадание учит лгать. Сострадание делает воздух удушливым для всех свободных душою. Ибо глупость добрых неисповедима.

Скрывать себя самого и свое богатство — *этому* научился я там внизу: ибо каждого считал я еще за нищего духом. В том была ложь моего сострадания, что я в каждом знал, —

— что я в каждом видел и чуял, сколько было ему *достаточно* духа и сколько было уже *слишком много* для него!

Их надутые мудрецы: я называл их мудрыми, а не надутыми, — так научился я проглатывать слова. Их могильщики: я называл их исследователями и испытателями, — так научился я подменять слова.

Могильщики выкапывают себе болезни. Под старым хламом покоятся дурные испарения. Не надо тревожить болото. Надо жить на горах.

Блаженными ноздрями вдыхаю я опять свободу гор! Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа!

От щекотки свежего воздуха, как от шипучего вина, *чихает* моя душа, — чихает и весело приговаривает: на здоровье! —

Так говорил Заратустра.

О трояком зле

1.

Во сне, последнем утреннем сне, стоял я сегодня на скале, — по ту сторону мира, держал весы и *взвешивал* мир.

О, слишком рано утренняя заря подошла ко мне; пылом своим она разбудила меня, ревнивая! Ревнует она меня всегда к моему утреннему знойному сну.

Измеримым для того, у кого есть время, имеющим вес для хорошего весовщика, достижимым для сильных крыльев, легко разгадываемым теми, кто щелкает божественные орехи: таким нашел мой сон мир:

Мой сон, смелый мореплаватель, полукорабль, полушквал, молчаливый, как мотылек, нетерпеливый, как сокол, — как же нашлось у него сегодня терпение и время, чтобы взвешивать мир!

Не внушила ли ему это тайно моя мудрость, смеющаяся, бодрствующая мудрость дня, которая насмехается над всеми «бесконечными мирами»? Ибо она говорит: «Где есть сила, там становится хозяином и *число*: у него больше силы».

Как уверенно смотрел мой сон на этот конечный мир, без жажды нового, без жажды старого, без страха, без мольбы:

— как будто наливное яблоко просилось в мою руку, спелое золотое яблоко с холодной, мягкой, бархатистой кожицей: таким явил мне себя мир:

— как будто дерево кивало мне, с широкими ветвями, крепкое волей, согнутое для опоры и изножья усталому путнику: таким стоял мир на моей скале:

— как будто красивые руки несли навстречу мне ларец, — ларец, открытый для восторга стыдливых, почтительных глаз: таким сегодня явил мне себя мир:

— не вполне загадкой, чтобы спугнуть человеческую любовь, не вполне разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость; по-человечески добрым был для меня сегодня мир, на который так зло клевещут!

Как благодарю я свой утренний сон, что сегодня на заре взвесил я мир! По-человечески добрым пришел ко мне этот сон и утешитель сердец!

И пусть днем поступлю я подобно ему, и пусть его лучшее мне послужит примером: хочу я теперь положить на весы три худшие вещи и по-человечески хорошо взвесить их.

Кто учил благословлять, тот учил и проклинать; какие же в мире три наиболее проклятых вещи? Их хочу я положить на весы.

Сладострастие, властолюбие, себялюбие — их до сих пор проклинали, на них клеветали и лгали больше всего, — их хочу я по-человечески хорошо взвесить.

Ну что ж! Здесь моя скала, а там море; *оно* подкатывается ко мне, косматое, льстивое, верный, старый, стоголовый чудовищный пес, любимый мною.

Ну что ж! Здесь хочу я держать весы над бушующим морем; и свидетеля выберу я, чтобы следил он, — за тобой, ты, одинокое дерево, сильно благоухающее, с широко раскинутой листвой, любимое мною! —

По какому мосту идет к будущему настоящее? Какое принуждение принуждает высокое склоняться к низкому? И что еще велит высшему — расти вверх? —

Теперь весы в равновесии и неподвижны: три тяжелых вопроса я бросил на них, три тяжелых ответа несет другая чаша весов.

2.

Сладострастие: жало и червь для всех носящих власяницу и презирающих тело — и «мир», проклятый всеми грезящими об ином мире: ибо оно смеется и глумится над всеми лжеучителями и путаниками.

Сладострастие: для отребья — медленный огонь, на котором сгорает оно; для всякого червивого дерева, для всяких зловонных лохмотьев — пылающая и клокочущая печь.

Сладострастие: для свободных сердец невинное и свободное, счастье сада земного, избыток благодарности всякого будущего настоящему.

Сладострастие: только для увядающего сладкий яд, но для тех, у кого воля льва, — великое подкрепление сердца и вино из вин, благоговейно сбереженное.

Сладострастие: великое подобие-счастье более высокого счастья и наивысшей надежды. Ибо многому обещан был брак и больше, чем брак, —

— многому, что более чуждо друг другу, чем мужчина и женщина, — а кто понял вполне, *как чужды* друг другу мужчина и женщина!

Сладострастие: однако я хочу огородить свои мысли и даже свои слова, чтобы не вторглись в мои сады свиньи и гуляки! —

Властолюбие: пылающий бич для самых твердых сердец; жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого; мрачное пламя живых костров.

Властолюбие: злая узда, наложенная на самые тщеславные народы; оно хулитель всякой сомнительной добродетели; оно ездит верхом на всяком коне и на всякой гордости.

Властолюбие: землетрясение, разрушающее и взламывающее всё гнилое и пустое внутри; рокочущий, грохочущий, карающий разрушитель повапленных гробов; сверкающий вопросительный знак возле преждевременных ответов.

Властолюбие: перед взором его человек пресмыкается, гнется, раболепствует, становится ниже змеи и свиньи, — пока, наконец, великое презрение не возопит в нем. —

Властолюбие: грозный учитель великого презрения; городам и царствам оно проповедует прямо в лицо: «Смерть вам!» — пока сами они не возопят: «Смерть *нам*!»

Властолюбие: заманчивое, поднимается оно к чистым и одиноким, вверх к самодовлеющим вершинам, пылая, как любовь, заманчиво рисующая пурпурные блаженства на земных небесах.

Властолюбие: но кто назовет его *любием*, когда высокое жадно стремится вниз к власти! Поистине, нет ничего болезненного в таком устремлении и нисхождении!

Чтобы одинокая вершина уединялась не навеки и не довольствовалась собою; чтобы гора спустилась к долине и ветры вершины к низинам:

О, кто бы нашел настоящее имя, чтобы окрестить и возвести в добродетель такую тоску! «Дарящая добродетель» — так назвал однажды Заратустра то, чему нет имени.

И тогда случилось — и поистине, случилось в первый раз! — что его слово возвеличило *себялюбие*, цельное, здоровое, бьющее ключом из могучей души, —

— из могучей души, которой принадлежит высокое тело, прекрасное, победоносное и услаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом, —

— гибкое, убеждающее тело, танцор, подобием и выражением которого служит душа, радующаяся себе самой. Радость таких тел и душ называет себя — «добродетелью».

Своими словами о добре и зле огораживает себя такая радость, как священной рощею; именами своего счастья гонит она от себя всё презренное.

Прочь от себя гонит она всё трусливое; она говорит: дурное — *значит трусливое*! Достойным презрения ей кажется тот, кто постоянно заботится, вздыхает и жалуется и кто собирает малейшие выгоды.

Она презирает всякую унылую мудрость: ибо, поистине, существует мудрость, цветущая во мраке, мудрость ночных теней, постоянно вздыхающая: «Всё — суета!»

Боязливую недоверчивость ни во что не ставит она и тех, кто требует клятв вместо взоров и рук; как и всякую слишком недоверчивую мудрость, — ибо такова мудрость трусливых душ.

Еще ниже ставит она слишком услужливого, кто тотчас, как собака, ложится на спину, смиренного; есть и смирная мудрость, собачья, смиренная и слишком услужливая.

Ненавистен и мерзок ей тот, кто не хочет защищаться, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, кто слишком терпелив, кто всё переносит, всем доволен: таковы повадки раба.

Раболепствует ли кто перед богами и пинками их ног, перед людьми и их глупыми мнениями, — *на всё* рабское плюет оно, это блаженное себялюбие!

Дурно: так называет оно всё приниженное и униженно-рабское, покорные моргающие глаза, сдавленные сердца и ту лживую податливую породу, которая целует большими, трусливыми губами.

Лже-мудрость: так называет оно всё, над чем мудрствуют рабы, старики и усталые; и особенно всю дурную, суемудрую, перемудрившую глупость жрецов!

Лже-мудрецы, однако, все эти жрецы, уставшие от мира и те, чья душа похожа на душу женщины и раба, — о, какую жестокую игру вели они всегда с себялюбием!

И то должно было слыть добродетелью и называться добродетелью, *что* злые шутки шутили с себялюбием! Быть «без себялюбия» — этого хотели бы для себя, с полным основанием, все эти трусы и пауки-крестовики, уставшие от мира!

Но для всех них приближается день, перемена, меч судии, *великий полдень* — тогда откроется многое!

И кто называет Я здоровым и священным, а себялюбие — блаженным, поистине, говорит то, что знает, прорицатель: «*Смотрите, он приближается, он близок, великий полдень!*»

Так говорил Заратустра.

О духе тяжести

1.

Уста мои — уста народа; слишком грубо и сердечно говорю я для шелковистых кроликов. И еще более странным звучит мое слово для всех чернильных каракатиц и лисиц пера!

Моя рука — рука дурня; горе всем столам и стенам и всему, что еще может дать место для росписи дурня и его мазни!

Моя нога — нога коня; на ней семеню я рысцой чрез камень и пенек, в поле вдоль и поперек и, как дьявол, радуюсь всякому быстрому бегу.

Мой желудок — должно быть, желудок орла? Ибо он любит больше всего мясо ягненка. Но, во всяком случае, он — желудок птицы.

Вскормленный невинной, скудной пищей, готовый и страстно желающий летать, улетать — таков я теперь; разве я немножко не птица!

И особенно потому, что враждебен я духу тяжести, в этом природа птицы, — поистине, я враг смертельный, враг заклятый, враг от рождения! О, куда только не летала и не залетала моя вражда!

Об этом я мог бы спеть песню — и *хочу* ее спеть, пусть один я в пустом доме и должен петь ее для своих собственных ушей.

Есть, конечно, другие певцы, лишь полный дом делает гортань их мягкой, руку красноречивой, взор выразительным, сердце бодрым, — на них не похож я. —

2.

Кто однажды научит людей летать, сдвинет с места все пограничные камни; все эти камни сами взлетят у него в воздух, землю вновь окрестит он — «легкой».

Страус бежит быстрее, чем самая быстрая лошадь, но и он тяжело прячет голову в тяжелую землю; так и человек, не умеющий еще летать.

Тяжелой кажется ему земля и жизнь; так *хочет* дух тяжести! Но кто хочет быть легким, быть птицей, тот должен любить себя самого: так учу *я*.

Конечно, не любовью больных и лихорадочных: ибо у них и собственная любовь дурно пахнет!

Надо научиться любить себя самого — так учу я — любовью цельной и здоровой: чтобы выносить себя самого и не скитаться повсюду.

Такое скитание окрестило себя «любовью к ближнему»; с помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого весь мир переносил с трудом.

И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра — *научиться* любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое хитрое, последнее и самое терпеливое.

Ибо для его обладателя всё собственное глубоко зарыто; а из всех сокровищ собственное выкапывается последним, — так устраивает дух тяжести.

Почти с колыбели дают нам тяжелые слова и тяжелые ценности: «добро» и «зло» — так называется это наследство. И ради них прощают нам, что мы живем.

И велят малым детям приходить к себе, чтобы вовремя запретить им любить себя, — так устраивает дух тяжести.

А мы — мы доверчиво тащим, что дают нам в наследство, на огрубевших плечах по суровым горам! И если мы обливаемся потом, нам говорят: «Да, жизнь тяжело нести!»

Но только человеку тяжело нести себя! Это потому, что тащит он слишком много чужого на своих плечах. Как верблюд, опускается он и дает как следует навьючить себя.

Особенно человек сильный и выносливый, в котором живет почтительность: слишком много *чужих* тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя — и вот жизнь кажется ему пустыней!

Поистине! Даже *собственное* порой тяжело нести! И многое внутри человека похоже на устрицу, отвратительную и скользкую, которую трудно схватить, —

—так что благородная скорлупа с благородными украшениями должна заступиться за нее. Но и этому искусству надо научиться: *иметь* скорлупу, прекрасный вид и мудрое ослепление!

И снова во многом можно ошибиться в человеке, ведь иная скорлупа невзрачна, мрачна и слишком уж скорлупа. Много скрытой доброты и силы остается так и не угаданной; самые заманчивые лакомства не находят лакомок!

Женщины знают это, самые заманчивые; немного толще, немного тоньше — о, как часто судьба содержится в столь немногом!

Трудно открыть человека, а себя самого всего труднее; часто лжет дух о душе. Так устраивает дух тяжести.

Но тот открыл себя самого, кто говорит: это *мое* добро и зло; этим заставил он замолчать крота и карлика, который говорит: «Для всех добр, для всех зол».

Поистине, я не люблю тех, у кого всякая вещь называется хорошей, а этот мир даже наилучшим из миров. Их называю я вседовольными.

Вседовольство, умеющее находить всё вкусным, — это не лучший вкус! Я уважаю упрямые, разборчивые языки и желудки, которые научились говорить «Я», «Да» и «Нет».

А всё жевать и переваривать — это самое настоящее свинство! Постоянно говорить И-А — этому научился только осел и тот, кто брат ему по духу!

Густое желтое и ярко-красное — их требует *мой* вкус, примешивающий кровь во все цвета. Но кто окрашивает свой дом белой краской, обнаруживает этим выбеленную душу.

Одни влюблены в мумии, другие — в призраки; и те, и другие одинаково враждебны всякой плоти и крови — о, как противны они моему вкусу! Ибо я люблю кровь.

И там не хочу я жить и оставаться, где каждый плюет и харкает: таков *мой* вкус, — лучше стал бы я жить среди воров и клятвопреступников. Никто не носит золота во рту.

Но еще противнее мне все блюдолизы, а самого противного зверя, какого я встречал среди людей, назвал я паразитом: он не хотел любить и, однако, хотел жить от любви.

Несчастными называю я всех, у кого один только выбор: сделаться лютым зверем или лютым укротителем зверей, — у них не построил бы я своей хижины.

Несчастными называю я и тех, кто всегда должен *выжидать*, — противны они моему вкусу: все эти мытари и торгаши, короли и прочие охранители страны и лавок.

Поистине, я также научился выжидать, притом основательно, — но только выжидать *самого себя*. И прежде всего научился я стоять, и ходить, и бегать, и прыгать, и лазить, и танцевать.

Вот мое учение: кто хочет научиться летать, должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать; нельзя с лету научиться летать!

По веревочной лестнице научился я влезать во многие окна, проворно влезал я на высокие мачты: сидеть на высоких мачтах познания казалось мне немалым блаженством, —

— гореть подобно малому огню на высоких мачтах, пусть и малым огнем, но большим утешением для севших на мель корабельщиков и для потерпевших кораблекрушение! —

Многими путями и способами дошел я до моей истины; не по одной лестнице поднимался я на высоту, откуда мой взор устремлялся в мою даль.

И всегда неохотно спрашивал я о дорогах — это было противно моему вкусу! Я лучше сам вопрошал и испытывал дороги.

Испытанием и выспрашиванием было всё мое хождение — и поистине, даже отвечать надо *научиться* на этот вопрос! Но таков — мой вкус:

— ни хороший, ни дурной, но *мой* вкус, которого я не стыжусь и не прячу.

«Это — теперь *мой* путь, — а где же ваш?» — так отвечал я тем, кто спрашивал меня «о пути». Ибо *пути* — вообще не существует!

Так говорил Заратустра.

О старых и новых скрижалях

1.

Здесь сижу я и жду; старые, разбитые скрижали вокруг меня, а также новые, наполовину исписанные. Когда настанет мой час?

—час моего нисхождения, заката: ибо я еще раз хочу пойти к людям.

Этого жду я теперь: ибо сперва должны явиться мне знамения, что *мой* час настал,—смеющийся лев со стаей голубей.

А пока говорю я как тот, у кого есть время, сам с собою. Никто не рассказывает мне нового,—поэтому я рассказываю себе о самом себе.—

2.

Когда я пришел к людям, я нашел их сидящими на старом самомнении. Всем им мнилось: они давно уже знают, что для человека добро и что зло.

Старой, утомительной казалась им всякая речь о добродетели; и кто хотел спокойно спать, тот перед отходом ко сну говорил еще о «добре» и «зле».

Эту сонливость встряхнул я, когда стал учить: что добро и что зло, *того еще никто не знает*—разве только созидающий!

—Созидающий—это тот, кто создает для человека цель и дает земле ее смысл и ее будущее: он впервые *устраивает* так, *чтобы* было доброе и злое.

И я велел им опрокинуть старые кафедры и всё, на чем только восседало это старое самомнение; я велел им смеяться над их великими учителями добродетели, святыми, и поэтами, и спасителями мира.

Над их мрачными мудрецами велел я смеяться им и над теми, кто когда-либо, как черное пугало, предостерегая, восседал на дереве жизни.

На их большой улице гробниц уселся я рядом с падалью и коршунами — и смеялся над всем прошлым их и гнилым, распадающимся великолепием его.

Поистине, подобно проповедникам покаяния и безумцам, громко изливал я гнев на всё их великое и малое, — что всё лучшее их так ничтожно! Что всё худшее их так ничтожно! — так смеялся я.

Моя мудрая тоска так кричала и вырывалась смехом из меня; поистине, она рождена на горах, моя дикая мудрость! — моя великая, шумящая крыльями тоска.

И часто уносила она меня вдаль, прочь, среди смеха; тогда летел я, содрогаясь, стрелой, через опьяненный солнцем восторг, —

— прочь, в далекое будущее, которого не видела еще ни одна мечта, на юг более жаркий, чем когда-либо грезили художники: туда, где боги, танцуя, стыдятся всяких одежд, —

— так говорю я подобиями и, подобно поэтам, запинаюсь и бормочу; и поистине, я стыжусь, что еще должен быть поэтом! —

Где всякое становление казалось мне божественным танцем и божественной шалостью, а мир — выпущенным на свободу, необузданным, снова ищущим пристанище в самом себе, —

— как вечное бегство многих богов от себя самих, и новое искание, как блаженное противоречие себе, и вновь слышание и обретение себя. —

Где всякое время казалось мне блаженной насмешкой над мгновениями, где необходимостью была сама свобода, блаженно игравшая с жалом свободы. —

Где снова нашел я своего старого демона и заклятого врага, духа тяжести, и всё, что он создал: насилие, закон, необходимость, и следствие, и цель, и волю, и добро, и зло. —

Разве не должно существовать то, *над* чем можно было бы танцевать? Разве не ради легкого и самого легкого — должны существовать кроты и тяжелые карлики? — —

3.

Там же подобрал я на дороге слово «сверхчеловек» и что человек есть нечто, что д*о*лжно преодолеть,

— что человек мост, а не цель; он счастлив своему полдню и вечеру как пути к новым утренним зорям:

— слово Заратустры о великом полдне и еще то, что повесил я над людьми, подобно второй пурпурной вечерней заре.

Поистине, новые звезды дал я увидеть им и новые ночи; над тучами, и днем, и ночью раскинул я смех, как пестрый шатер.

Я научил их всем *моим* помыслам и желаниям: собрать воедино и вместе нести всё, что есть в человеке осколок, загадка и ужасный случай, —

— как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил их созидать будущее и всё, что *было*, — спасти, созидая.

Спасти прошлое в человеке и преобразить всё, что «было», пока воля не скажет: «Но так хотела я! Так захочу я». —

Это называл я избавлением, одно лишь это учил я их называть избавлением. —

Теперь я жду *своего* избавления, — чтобы в последний раз пойти к ним.

Ибо еще раз пойду я к людям: *среди* них хочу я умереть; умирая, хочу я дать им свой самый богатый дар!

У солнца научился я этому, когда оно закатывается, богатейшее светило: золото сыплет оно в море из неистощимых сокровищниц, —

— так что даже беднейший рыбак гребет *золотым* веслом! Ибо это видел я однажды, и, пока я смотрел, слезы, не переставая, текли из моих глаз. —

Подобно солнцу хочет закатиться Заратустра; теперь сидит он здесь и ждет, вокруг него старые, разбитые скрижали, а также новые, наполовину исписанные.

4

Смотри, вот новая скрижаль; но где братья мои, которые вместе со мною понесут ее в долину и в плотские сердца? —

Так требует моя великая любовь к самым дальним: *не щади своего ближнего*! Человек есть нечто, что должно преодолеть.

Существует много путей и способов преодоления — гляди пристальней! Но только шут думает: «Через человека можно *перепрыгнуть*».

Преодолей самого себя даже в своем ближнем; право, которое ты можешь добыть, ты не должен позволять дать тебе!

Что делаешь ты, никто не может вернуть тебе. Знай, не существует воздаяния.

Кто не может повелевать себе, тот должен повиноваться. Иные *могут* повелевать себе, но им недостает еще многого, чтобы себе повиноваться!

5.

Так хочет характер благородных душ: они ничего не желают иметь *даром*, всего менее — жизнь.

Кто из черни, тот хочет жить даром; но мы, другие, кому далась жизнь, — мы постоянно размышляем, *что* лучше всего могли бы мы дать *взамен*!

И поистине, благородна та речь, которая гласит: «Что *нам* обещает жизнь, *мы* хотим — исполнить для жизни!»

Не следует искать наслаждения там, где нет места для наслажденья. И — не следует *желать* наслаждаться!

Ибо наслаждение и невинность — самые стыдливые вещи: обе не хотят, чтобы их искали. Их надо *иметь* — но *искать* надо скорее вины и страдания! —

6.

О братья мои, кто первенец, тот всегда приносится в жертву. А мы теперь первенцы.

Мы все истекаем кровью на тайных жертвенниках, мы все горим и жаримся во имя старых идолов.

Наше лучшее еще молодо, оно раздражает старое нёбо. Наше мясо нежно, наша шкура лишь шкура ягненка; как не раздражать нам старых идолослужителей!

В нас самих живет он еще, старый идолослужитель, он жарит наше лучшее себе на пир. Ах, братья мои, как первенцам не быть жертвою!

Но так желает наша порода; и я люблю тех, кто не хочет беречь себя. Погибающих люблю я всею своей любовью: ибо они переходят. –

7.

Быть правдивыми – *могут* немногие! И кто может, не хочет еще! Но меньше всего могут добрые.

О, эти добрые! – *Добрые люди никогда не говорят правду*; для духа быть таким добрым – болезнь.

Они уступают, эти добрые, они покоряются, их сердце вторит, их существо повинуется; но кто повинуется, *тот не слушает самого себя*!

Всё, что у добрых зовется злым, должно соединиться, чтобы родилась единая истина, – о братья мои, достаточно ли вы злы для *этой* истины?

Отчаянное дерзновение, долгое недоверие, жестокое отрицание, пресыщение, способность резать по живому – как редко *это* оказывается вместе. Но из такого семени – рождается истина!

Рядом с нечистой совестью росло до сих пор всякое *знание*! Разбейте, разбейте, вы, познающие, старые скрижали!

8.

Когда на воде есть опоры, когда мостки и перила перекинуты над потоком, – поистине, не поверят, если кто скажет тогда: «Всё течет».

Даже болваны будут противоречить ему. «Как? – скажут болваны, – всё течет? Ведь опоры и перила *над* потоком!»

«*Над* потоком всё крепко, все ценности вещей, мосты, понятия, всё «добро» и «зло» – всё это *крепко*!» –

А когда приходит суровая зима, укротительница рек, – тогда и самые остроумные начинают сомневаться; и поистине, не одни только болваны говорят тогда: «Разве не всё – *неподвижно?*»

«В сущности всё неподвижно» – это истинное учение зимы; оно хорошо для бесплодного времени, хорошее утешение для спящих зимою и печных лежебок.

«В сущности всё неподвижно» — *но наперекор этому* учит влажный теплый ветер!

Влажный теплый ветер, бык, но не для пахоты, а бешеный бык, разрушитель, гневными рогами ломающий лед! А лед — *ломает мостки*!

О братья мои, разве *теперь* не всё течет *в потоке*? Разве не все перила и мостки попадали в воду? Кто станет *держаться* еще за «добро» и «зло»?

«Горе нам! Благо нам! Влажный теплый ветер подул!» — Так проповедуйте, братья мои, по всем улицам!

9.

Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.

Некогда *верили* в прорицателей и звездочетов и *потому* верили: «Всё — судьба: ты должен, ибо так надо!»

Затем перестали доверять всем прорицателям и звездочетам и *потому* верили: «Всё — свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!»

О братья мои, о звездах и о будущем до сих пор только грезили, но не знали их; и *потому* о добре и зле до сих пор только грезили, но не знали их!

10.

«Ты не должен грабить! Ты не должен убивать!» — Такие слова считались некогда священными; перед ними преклоняли колена и головы, и снимали обувь.

Но я спрашиваю вас: когда на свете жили лучшие разбойники и убийцы, как не тогда, когда эти слова были священны?

Разве во всякой жизни нет — грабежа и убийства? И считать эти слова священными разве не значило — убивать саму *истину*?

Или не было проповедью смерти — считать священным то, что противоречило и противоборствовало всякой жизни? — О братья мои, разбейте, разбейте старые скрижали!

11.

В том мое сострадание всему прошлому, что я вижу: оно отдано на произвол, —

—отдано на произвол милости, духа, безумия каждого из поколений, которое приходит и всё, что было, толкует как мост для себя!

Как бы не пришел великий тиран, хитроумное чудовище, которое своей милостью и немилостью будет принуждать и вынуждать всё прошлое—пока оно не станет для него мостом, и знамением, и герольдом, и криком петуха.

Но вот другая опасность и мое другое сострадание: память тех, кто из черни, не идет дальше прадеда, —и на прадеде кончается время.

Так всё прошлое отдано на произвол: ибо может случиться, что чернь станет господином и всякое время утонет в мелкой воде.

Поэтому, о братья мои, нужна *новая аристократия*, противница всякой черни и деспотизма, которая на новых скрижалях вновь напишет слово: «благородный».

Ибо нужно много благородных, и разных благородных, *чтобы была аристократия*! Или, как говорил я однажды, сравнивая: «В том божественность, что существуют боги, а не бог!»

12.

О братья мои, я посвящаю вас в новую аристократию: вы должны стать родителями и садовниками, сеятелями будущего, —

—поистине, не в такую аристократию, которую могли бы купить вы, как торгаши, на золото торгашей: ибо мало ценится всё то, что имеет свою цену.

Пусть не то, откуда вы происходите, будет отныне вашей честью, но то—куда вы идете! Ваша воля и ваши шаги, стремящиеся дальше вас самих, —пусть это будет вашей новой честью!

Поистине, не то, что служили вы князю—что толку теперь в князьях!—или были оплотом тому, что стоит, чтобы крепче стояло оно!

Не то, что ваш род при дворах сделался придворным и вы научились, пестрые, подобно фламинго, часами стоять в мелководных прудах.

Ибо *уменье* стоять — заслуга придворных, и все придворные верят, что к блаженству после смерти относится — *позволение* сесть! —

Также и не то, что дух, который они называют святым, вел ваших предков в земли обетованные, которые *я* не хвалю: ибо где выросло худшее из всех дерев — крест, — в такой земле хвалить нечего! —

— и поистине, куда бы ни вел этот «святой дух» своих рыцарей, всегда бежали *впереди* таких шествий — козы и гуси, безумцы и помешанные! —

О братья мои, не оглядываться должно ваше благородство, а смотреть *вперед*! Вы должны быть изгнанниками из страны ваших отцов и праотцев!

Страну детей ваших должны вы любить, пусть эта любовь будет вашим новым благородством, — еще не открытую страну в дальних морях! И пусть ищут и ищут ее ваши паруса!

Своими детьми должны вы *исправить* то, что вы дети своих отцов: *так* должны вы спасти всё прошлое! Эту новую скрижаль ставлю я над вами!

13.

«К чему жить? Всё — суета! Жить — это молотить солому, жить — это сжигать себя и все-таки не согреться». —

Эта старая болтовня еще слывет за «мудрость»; стара она и пахнет затхлым, *поэтому* еще больше уважают ее. Даже плесень облагораживает. —

Детям позволительно так говорить: они *боятся* огня, ибо он их обжег! Много ребяческого в старых книгах мудрости.

И кто всегда «молотит солому» — как смеет он клеветать на молотьбу! Таким глупцам следовало бы завязывать рот!

Они садятся за стол и ничего не приносят с собой, даже здорового голода; и вот клевещут они: «Всё — суета!»

Но хорошо есть и пить, о братья мои, поистине, не суетное искусство! Разбейте, разбейте скрижали вечно безрадостных!

14.

«Для чистого всё чисто» – так говорит народ. Но я говорю вам: для свиней всё становится свинством!

Поэтому мечтатели и нытики, у которых даже сердце поникло, проповедуют: «Сам мир есть навозное чудовище».

Ибо все они не чисты духом, особенно те, кто не находят ни покоя, ни отдыха, разве что видя мир *сзади*, – эти грезящие об ином мире!

Им говорю я в лицо, хотя это и звучит нелюбезно: мир тем похож на человека, что у него есть задняя часть, – и *это* верно!

В мире много нечистот – и *это* верно! Но оттого сам мир не есть еще навозное чудовище!

Есть мудрость в том, что многое в мире дурно пахнет: само отвращение создает крылья и силы, угадывающие источники!

Даже в лучшем есть нечто отвратительное – и даже лучший есть нечто, что должно преодолеть! –

О братья мои, много мудрости в том, что много нечистого есть в мире! –

15.

Я слышал, как благочестивые иномирники говорили со своей совестью; и поистине, без злобы и лжи, – хотя и нет в мире ничего более лживого и злобного.

«Предоставь миру быть миром! Не поднимай против него даже мизинца!»

«Пусть, кто хочет, – душит, колет, режет людей и сдирает с них кожу; не поднимай против него даже мизинца! Так научатся они отрекаться от мира».

«А собственный разум – сам удави и удуши: ибо это разум мира сего; так научишься ты сам отрекаться от мира». –

Разбейте, разбейте, о братья мои, эти старые скрижали благочестивых! Развейте слова клеветников на мир!

16.

«Кто много учится, разучивается всякому сильному желанию» — так шепчутся сегодня на всех темных улицах.

«Мудрость утомляет, ничто — не вознаграждается; ты не должен желать!» — эту новую скрижаль нашел я вывешенной даже на базарных площадях.

Разбейте, о братья мои, разбейте и эту *новую* скрижаль! Утомленные миром повесили ее, и проповедники смерти, и тюремщики: ибо, смотрите, это также есть проповедь, призывающая к рабству! —

Ибо они дурно учились, и не лучшему, и всему слишком рано, и всему слишком скоро; они плохо *ели* и потому у них испорченный желудок, —

— именно испорченный желудок есть их дух, *он* советует умереть! Ибо, поистине, братья мои, дух *есть* желудок!

Жизнь — источник радости; но в ком говорит испорченный желудок, отец скорби, для того все источники отравлены.

Познавать — *радость* для того, в ком воля льва! Но кто утомился, того самого «волят», с ним играют все волны.

Так бывает всегда с людьми слабыми: они теряются на своих путях. И, наконец, усталость их еще спрашивает: «К чему ходили мы когда-то по дорогам? Всё равно!»

Им приятно слышать, когда проповедуют: «Ничто не вознаграждается! Вы не должны желать!» Но это проповедь рабства.

О братья мои, как дуновение свежего ветра приходит Заратустра ко всем уставшим путникам; многие носы заставит он еще чихать!

Даже сквозь стены проникает мое свободное дыхание, входит в тюрьмы и плененные умы!

Воля освобождает: ибо волить значит созидать, — так учу я. И *только* для созидания должны вы учиться!

И даже учиться должны вы сперва у меня *научиться*, умению хорошо учиться! — Имеющий уши да слышит!

17.

Челн готов — быть может, на той стороне путь ведет в великое Ничто. — Но кто хочет вступить в это «Быть может»?

Никто из вас не хочет сесть в челн смерти! Как же хотите вы быть *утомленными миром*!

Утомленные миром! Вы даже не отрешились от земли! Похотливыми к земле находил я вас всегда, еще влюбленными в собственное утомление землею!

Недаром отвисла у вас губа: маленькое земное желание еще сидит на ней! А в глазу — разве не плавает облачко незабытой земной радости?

Есть на земле много хороших изобретений, одни полезны, другие приятны; ради них стоит любить землю.

И многие изобретения бывают настолько хороши, что, как грудь женщины, — одновременно полезны и приятны.

А вы, уставшие от мира! Вы, ленивые земл*и*! Вас надо высечь розгами! Ударами розги надо вернуть вам резвые ноги.

Ибо если вы не больные и не отжившие твари, от которых устала земля, тогда вы хитрые ленивцы или прожорливые, вороватые, похотливые кошки. И если вы не хотите снова весело *бежать*, должны вы — исчезнуть!

Не надо желать быть врачом неизлечимых — так учит Заратустра, — поэтому вы должны исчезнуть!

Но нужно больше *мужества*, чтобы положить конец, чем начать новый стих; это знают все врачи и поэты. —

18.

О братья мои, есть скрижали, созданные утомлением, и скрижали, созданные гнилой ленью; говорят они одинаково, но хотят, чтобы слушали их неодинаково. —

Посмотрите на этого томящегося жаждой! Лишь пядь отделяет его от цели, но от усталости лег он здесь упрямо в пыли — этот храбрец!

От усталости зевает он, глядя на дорогу, на землю, на цель и на себя самого; ни шагу не хочет сделать он дальше — этот храбрец!

И вот солнце палит его, а собаки лижут его пот; но он лежит здесь в своем упрямстве и предпочитает томиться жаждой —

— на расстоянии пяди от своей цели томиться жаждой! Поистине, вам придется еще тащить его за волосы на его небо, — этого героя!

Но лучше — оставьте его лежать там, где он лег, чтобы пришел к нему сон, утешитель, с шумом освежающего дождя.

Оставьте его лежать, пока он сам не проснется, — пока он сам не откажется от всякой усталости и всего, чему учила усталость в нем!

Только, братья мои, отгоните от него собак, ленивых проныр и весь этот шумящий сброд —

— весь этот шумящий сброд «культурных», который наслаждается — потом героев! —

19.

Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; всё меньше поднимающихся со мною на всё более высокие горы; я строю хребет из всё более священных гор. —

Но куда бы ни захотели вы подняться со мною, о братья мои, — смотрите, чтобы какой-нибудь *паразит* не поднялся вместе с вами!

Паразит — это червь, ползущий, извивающийся, желающий разжиреть в ваших больных, израненных уголках.

И *в том* его искусство, что в восходящих душах он угадывает, где они утомлены; в вашем горе и недовольстве, в вашей нежной стыдливости строит он свое отвратительное гнездо.

Где сильный слаб, благородный слишком мягок, — строит он свое отвратительное гнездо; паразит живет там, где у великого есть израненные уголки.

Какой род всего сущего высший и какой — низший? Паразит — низший род; но кто высшего рода, тот кормит больше всего паразитов.

Ибо если душа с самой длинной лестницей и может опуститься очень низко, — как не сидеть на ней наибольшему числу паразитов? —

— самая обширная душа, которая дальше всего может бегать, блуждать и заблуждаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, —

— сущая душа, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* волить и желать, —

—убегающая от себя самой, широкими кругами себя догоняющая; самая мудрая душа, которую слаще всего уговаривает безумие, —

—больше всего себя любящая, в которой все вещи находят свое течение и противотечение, свой прилив и отлив, —о, как не быть в *самой высокой душе* самым худшим из паразитов?

20.

О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!

Всё нынешнее — падает и распадается; кто захотел бы удержать его! Но я — я *хочу* еще толкнуть его!

Знакомо ли вам наслаждение скатывать камни в отвесную глубину? — Эти нынешние люди: смотрите же, как они скатываются в мои глубины!

Я только прелюдия для лучших игроков, о братья мои! Пример! *Делайте* по моему примеру!

И кого вы не научите летать, того научите — *быстрее падать*! —

21.

Я люблю храбрецов; но недостаточно быть рубакой, — надо также знать, *кого* рубить!

Часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо — *и этим* сберечь себя для более достойного врага!

Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать: вы должны гордиться своим врагом, — так учил я уже однажды.

Для более достойного врага, о друзья мои, должны вы беречь себя; поэтому должны вы проходить мимо многого, —

—особенно мимо многочисленного отребья, кричащего вам в уши о народе и народах.

Сохраняйте свои глаза чистыми от их За и Против! Там много справедливого, много несправедливого; кто заглянет туда, негодует.

Взглянуть и порубить — дело недолгое; поэтому уходите в леса и вложите свой меч в ножны!

Идите *своими* дорогами! Предоставьте народу и народам идти своими! — поистине, темными дорогами, не освещаемыми ни единой зарницей надежды!

Пусть царствует торгаш там, где всё, что еще блестит, — есть золото торгаша! Время королей прошло: что сегодня называется народом, не заслуживает королей.

Смотрите же, как теперь эти народы сами подражают торгашам: они подбирают малейшие выгоды из всякого мусора!

Они подстерегают друг друга, они высматривают что-нибудь друг у друга, — это называют они «добрым соседством». О блаженное далекое время, когда народ говорил себе: «Я хочу над народами — быть *господином*!»

Ибо, братья мои, лучшее должно господствовать, лучшее и *хочет* господствовать! И где учение гласит иначе, там — *нет* лучшего.

22.

Если бы *они* — имели хлеб даром, увы! О чем *они* кричали бы! Их пропитание — вот о чем они говорят; и пусть оно трудно достается им!

Хищные звери они: в их слове «работать» — слышится еще и красть, в их слове «заработать» — слышится еще и обмануть! Поэтому пусть оно трудно достается им!

Так должны они стать еще лучшими хищниками, более хитрыми, более умными, *более похожими на человека*: ибо человек самый лучший хищный зверь.

У всех зверей человек уже выкрал добродетели их, поэтому из всех зверей человеку приходится труднее всего.

Только птицы выше его. И если бы человек научился еще и летать, о горе! — *куда* не залетела бы хищность его!

23.

Такими хочу я видеть мужчину и женщину: одного способным к войне, другую способной к деторождению, но обоих способными танцевать головой и ногами.

И пусть будет потерян для нас тот день, когда ни разу не танцевали мы! И пусть ложной назовется у нас всякая истина, в которой не было смеха!

24.

Заключение ваших браков: смотрите, чтобы не оказалось оно скверным *заключением*! Вы заключили слишком быстро; отсюда *следует* — нарушение брака!

И все-таки лучше нарушить брак, чем извратить брак, изолгать брак! — Так говорила мне одна женщина: «Да, я нарушила брак, но сперва брак сломал — меня!»

Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными: они мстят всему миру за то, что уже не идут каждый отдельно.

Поэтому я хочу, чтобы честные говорили друг другу: «Мы любим друг друга; *посмотрим*, будем ли мы и впредь любить друг друга! Или обещание наше было ошибкой?»

«Дайте нам срок и недолгий брак, чтобы увидеть, годимся ли мы для долгого брака! Серьезное дело — всегда быть вдвоем!»

Так советую я всем честным; чем была бы любовь моя к сверхчеловеку и ко всему, что должно наступить, если б советовал я и говорил иначе!

Не только множиться, но и расти *вверх* — о братья мои, да поможет вам сад супружества!

25.

Кто умудрен в старых источниках, смотрите, тот будет в конце концов искать родников будущего и новых источников. —

О братья мои, еще недолго — и появятся *новые народы*, и новые родники зашумят, ниспадая в новые глубины.

Ибо землетрясение — засыпает много колодцев, создает много томящихся жаждою; но оно же вызывает на свет внутренние силы и тайны.

Землетрясение открывает новые родники. При сотрясении старых народов вырываются новые родники.

И кто тогда восклицает: «Смотри, здесь родник для многих жаждущих, единое сердце для многих томящихся, единая воля для многих орудий», — вокруг него собирается *народ*, то есть много испытующих.

Кто умеет повелевать, кто должен повиноваться — *это испытуется там*! Ах, каким долгим исканием, и удачей, и неудачей, и изучением, и новыми попытками!

Человеческое общество — это попытка, так учу я, — долгое искание; но оно ищет повелевающего! —

— попытка, о братья мои! Но *не* «договор»! Разбейте, разбейте это слово мягкосердечных и половинчатых!

26.

О братья мои! В ком лежит самая большая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных? —

— не в тех ли, кто говорит и в сердце чувствует: «Мы знаем уже, что хорошо и что праведно, мы уже обладаем этим; горе тем, кто здесь еще ищет!»

И какой бы вред ни нанесли злые, — вред добрых — самый вредный вред!

И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, — вред добрых — самый вредный вред.

О братья мои, в сердце добрых и праведных заглянул некогда Тот, кто говорил: «Это — фарисеи». Но его не поняли.

Сами добрые и праведные не должны были понять его: их дух в плену у их чистой совести. Глупость добрых неисповедимо умна.

Но вот истина: добрые *должны* быть фарисеями, — у них нет выбора!

Добрые *должны* распинать того, кто создает себе свою добродетель! *Это* — истина!

Вторым же, кто открыл их страну, — страну, сердце и землю добрых и праведных, — был тот, кто тогда вопрошал: «Кого ненавидят они больше всего?»

Созидающего ненавидят они больше всего: того, кто разбивает скрижали и старые ценности, разрушителя, — его называют они преступником.

Ибо добрые — не *могут* созидать: они всегда начало конца:

— они распинают Того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее, — они распинают всё человеческое будущее!

Добрые — были всегда началом конца. —

27.

О братья мои, поняли ли вы также и это слово? И что сказал я однажды о «последнем человеке»? —

В ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных?

Разбейте, разбейте добрых и праведных! — О братья мои, поняли ли вы и это слово?

28.

Вы бежите от меня? Вы испуганы? Вы дрожите при этом слове?

О братья мои, когда я велел вам разбить добрых и скрижали добрых — тогда впервые пустил я человека плыть по его открытому морю.

И теперь только наступают для него великий страх, великая осмотрительность, великая болезнь, великое отвращение, великая морская болезнь.

Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания.

Но кто открыл землю «Человек», открыл и землю «Человеческое будущее». Теперь должны вы быть мореплавателями, отважными, терпеливыми!

Ходите прямо, о братья мои, учитесь ходить прямо! Море бушует, многие нуждаются в вас, чтобы снова подняться.

Море бушует, всё в море. Ну что ж! Вперед! Вы, старые сердца моряков!

Что нам до родины! *Туда* стремится корабль наш, где *страна детей* наших! Там, вдали, более неистово, чем море, бушует наша великая тоска! —

29.

«Почему ты так тверд! – сказал однажды древесный уголь алмазу. – Разве мы не близкие родственники?» –

Почему вы так мягки? О братья мои, так спрашиваю *я* вас: разве вы – не мои братья?

Почему же вы так мягки, так уступчивы, податливы? Почему так много отрицания, отречения в вашем сердце? Так мало рокового в вашем взоре?

А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, – как можете вы вместе со мною – побеждать?

А если ваша твердость не хочет сверкать, и резать, и рассекать, – как можете вы когда-нибудь вместе со мною – созидать?

Ибо созидающие тверды. И блаженством должно казаться вам запечатлеть вашу руку на тысячелетиях, как на воске, –

– блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди, – тверже, чем медь, благороднее, чем медь. Совершенно твердым бывает только самое благородное.

Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: *станьте тверды*! –

30.

О ты, воля моя! Ты, избеганье всех бед, ты, неизбежность *моя*! Сохрани меня от всех маленьких побед!

Ты удел души моей, который называю я судьбою! Ты, что во мне! Надо мною! Сохрани и сбереги меня для одной великой судьбы!

И твое последнее величие, воля моя, сохрани его до конца, – чтобы была ты неумолима *в* своей победе! Ах, кто не был побежден своею победой!

Ах, чей глаз не темнел в этих опьяняющих сумерках! Ах, чья нога не спотыкалась и не разучалась в победе – стоять! –

Да буду я готов и зрел в великий полдень, – готов и зрел, как раскаленная медь, как чреватая молниями туча, как вымя, вздутое от молока:

— готов для себя самого и самой сокровенной воли своей: как лук, вожделеющий стрелы своей, как стрела, вожделеющая звезды своей;

— как звезда, готовая и зрелая в полдне своем, пылающая, пронзенная, блаженная перед уничтожающими стрелами солнца;

— как само солнце и неумолимая воля его, готовая к уничтожению в победе!

О воля, избеганье всех бед, ты, *моя* неизбежность! Сохрани меня для одной великой победы! —

Так говорил Заратустра.

Выздоравливающий

1.

Однажды утром, вскоре после возвращения в пещеру, вскочил Заратустра с ложа своего, как сумасшедший, стал кричать ужасным голосом, махая руками, как будто кто-то лежал на ложе и не хотел вставать; и так гремел голос Заратустры, что звери его, испуганные, прибежали к нему, а из всех нор и щелей, соседних с пещерой Заратустры, все животные разбежались, улетая, порхая, уползая и прыгая, какие кому даны были ноги и крылья. Заратустра же так говорил:

— Вставай, бездонная мысль, из глубины моей! Я петух твой и утренние сумерки твои, заспавшийся червь: вставай! вставай! Мой голос разбудит тебя, как пенье петуха!

Расторгни узы слуха твоего: слушай! Ибо я хочу слышать тебя! Вставай! Вставай! Здесь достаточно грома, чтобы заставить и могилы прислушиваться!

Сотри сон и всякую близорукость, всякое ослепление с глаз своих! Слушай меня и глазами своими: голос мой — лекарство даже для слепорожденных.

И когда ты проснешься, ты навеки останешься бодрствующей. Не таков *мой* обычай, чтобы, разбудив прабабушек ото сна, велеть им — продолжать спать!

Ты шевелишься, потягиваешься, хрипишь? Вставай! Вставай! Не хрипеть — говорить должна ты! Безбожник Заратустра зовет тебя!

Я, Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга, — тебя зову я, самую глубокую из моих мыслей!

Благо мне! Ты идешь — я слышу тебя! Моя бездна *говорит*, свою последнюю глубину извлек я на свет!

Благо мне! Иди! Дай руку — — ха! пусти! Ха-ха! — — Отвращение, отвращение, отвращение — — — горе мне!

2.

Но едва Заратустра сказал эти слова, как упал замертво и долго оставался как мертвый. Придя же в себя, он был бледен, дрожал, продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние длилось у него семь дней; звери не покидали его ни днем, ни ночью, и только орел улетал, чтобы принести пищи. И всё, что он находил и что случалось ему отнять силой, складывал он на ложе Заратустры, — так что Заратустра лежал, наконец, среди желтых и красных ягод, винограда, розовых яблок, благовонных трав и кедровых шишек. У ног же его были простерты два ягненка, которых орел с трудом отбил у пастухов.

Наконец, после семи дней, поднялся Заратустра на своем ложе, взял в руку розовое яблоко, понюхал его и нашел запах его приятным. Тогда подумали звери его, что настало время заговорить с ним.

«О Заратустра, — сказали они, — вот уже семь дней, как лежишь ты с закрытыми глазами; не хочешь ли ты, наконец, снова стать на ноги?

Выйди из своей пещеры: мир ожидает тебя, как сад. Ветер играет густым благоуханием, оно просится к тебе, — и все ручьи хотели бы бежать вслед за тобой.

Все вещи тосковали по тебе, пока ты семь дней оставался один, — выйди из своей пещеры! Все вещи хотят быть твоими врачами!

Не новое ли познание снизошло к тебе, горькое, тяжелое? Подобно закисшему тесту, лежал ты, душа твоя поднялась и раздулась за свои пределы». —

— О звери мои, — отвечал Заратустра, — продолжайте болтать и позвольте мне слушать вас! Меня услаждает ваша болтовня: где болтают, там мир уже простирается предо мною, как сад.

Как приятно, что здесь есть слова и звуки; не есть ли слова и звуки радуга и призрачные мосты, перекинутые через навеки разъединенное?

У каждой души особый мир; для каждой души всякая другая душа — иной мир.

Между самым сходным внешность бывает всего обманчивее: ибо через самую малую пропасть труднее всего перекинуть мост.

Для меня — как могло бы существовать некое «вне меня»? Никакого «вне» не существует! Но это забываем мы при всяком звуке; как отрадно, что мы забываем!

Не затем ли имена и звуки подарены вещам, чтобы человек наслаждался вещами? Говорить — прекрасное безумие: говоря, танцует человек над всеми вещами.

Как приятна всякая речь и ложь звуков! Звуками танцует наша любовь на пестрых радугах. —

«О Заратустра, — сказали на это звери, — для тех, кто думает, как мы, все вещи танцуют сами: всё приходит, и подает друг другу руку, и смеется, и убегает — и опять возвращается.

Всё идет, всё возвращается, вечно вращается колесо бытия. Всё умирает, всё вновь расцветает, вечно бежит год бытия.

Всё погибает, всё вновь складывается, вечно строится тот же дом бытия. Всё разлучается, всё снова друг друга приветствует, вечно остается верным себе кольцо бытия.

В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого Здесь шаром катится Там. Центр повсюду. Кривая — путь вечности». —

— О вы, проказники и шарманки! — отвечал Заратустра и снова улыбнулся. — Хорошо знаете вы, что должно было исполниться в семь дней —

— и как то чудовище заползло мне в глотку и душило меня! Но я откусил ему голову и отплюнул ее прочь от себя.

А вы — уже сделали из этого уличную песенку? Я же лежу здесь, еще усталый от этого откусывания и отплевывания, еще больной от собственного избавления.

И вы смотрели на всё это? О звери мои, разве и вы жестоки? Неужели вы хотели смотреть на мое великое страдание, как делают люди? Ибо человек — самый жестокий зверь.

Во время трагедий, боя быков и распятий он до сих пор лучше всего чувствовал себя на земле; и когда он нашел себе ад, — ад стал его небом на земле.

Когда большой человек кричит — мигом подбегает к нему маленький, и язык висит у него изо рта от сладострастия. Но он называет это своим «состраданием».

Маленький человек, особенно поэт, — с каким жаром обвиняет он жизнь на словах! Слушайте его, но не прослушайте наслаждения во всех его жалобах!

Это обвинители жизни, их побеждает жизнь в одно мгновение. «Ты любишь меня? — говорит дерзновенная. — Подожди же немного, у меня нет еще для тебя времени».

Человек для себя самого самый жестокий зверь; и во всём, что зовется «грешник», «несущий крест» и «кающийся», не прослушайте наслаждения, примешанного к этим жалобам и обвинениям!

А я сам — не хочу ли я быть обвинителем человека? Ах, звери мои, только одному научился я до сих пор, что человеку нужно его самое злое для его лучшего, —

— что всё самое злое есть его наилучшая *сила* и самый твердый камень для высшего созидателя и что человек должен становиться лучше *и* злее:

Не за *то* был я пригвожден к древу мучений, что знаю: человек зол, — но за то, что я кричал, как никто еще не кричал:

«Ах, его самое злое так ничтожно! Ах, его самое лучшее так ничтожно!»

Великое пресыщение человеком — *оно* душило меня и заползло мне в глотку, а еще то, что предсказывал прорицатель: «Всё равно, ничто не вознаграждается, знание душит».

Долгие сумерки ковыляли предо мною, смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, которая говорила, зевая во весь рот.

«Вечно он возвращается, человек, маленький человек, от которого устал ты» — так зевала моя печаль, и волочила ноги, и не могла заснуть.

В пещеру превратилась для меня земля людей, ее грудь ввалилась, всё живущее стало для меня человеческой гнилью, костьми и обветшавшим прошлым.

Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и больше не могли встать; мои вздохи и вопросы квакали, и давились, и глодали, и жаловались день и ночь:

— «ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!» —

Нагими видел я когда-то обоих, самого большого и самого маленького человека; слишком похожи они друг на друга, — слишком человечен даже самый большой человек!

Слишком мал самый большой! — Это было пресыщение мое человеком! И вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было пресыщение мое всяким существованием!

Ах, отвращение! отвращение! отвращение! — Так говорил Заратустра, и вздыхал, и дрожал, ибо он вспоминал о своей болезни. Но тут звери его не дали ему продолжать.

«Перестань говорить, ты, выздоравливающий! — так отвечали ему звери его. — Выйди наружу, туда, где мир ожидает тебя, подобный саду.

Иди к розам, и пчелам, и стаям голубей! Особенно же к певчим птицам, чтобы научиться у них *петь*!

Ибо пение — для выздоравливающих; пусть здоровый говорит. И если даже здоровый хочет песен, он хочет других песен, чем выздоравливающий».

«О вы, проказники и шарманки, замолчите же! — отвечал Заратустра и улыбался, глядя на своих зверей. — Хорошо знаете вы, какое утешение нашел я себе в эти семь дней!

Надо, чтобы снова я пел, — *это* утешение и *это* выздоровление нашел я себе; не хотите ли вы и из этого тотчас сделать уличную песенку?

«Перестань говорить, — отвечали ему второй раз звери его. — Лучше, ты, выздоравливающий, смастери себе сначала лиру, новую лиру!

Ибо видишь, о Заратустра! Для твоих новых песен нужны новые лиры.

Пой и шуми, о Заратустра, врачуй новыми песнями свою душу: чтобы нес ты свою великую судьбу, которая не была еще судьбою ни одного человека!

Ибо твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем должен стать; смотри, *ты учитель вечного возвращения*, — это теперь *твоя* судьба!

Ты должен первым преподать это учение, — и как же этой великой судьбе не быть твоей величайшей опасностью и болезнью!

Смотри, мы знаем, чему ты учишь: что все вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже су-

ществовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами.

Ты учишь, что существует великий год становления, чудовищно великий год; он должен, подобно песочным часам, вечно сызнова поворачиваться, чтобы снова течь и истекать, —

— так что все эти годы похожи сами на себя, в большом и малом, -- так что и мы сами в каждый великий год похожи на себя, в большом и малом.

И если бы ты захотел умереть теперь, о Заратустра, — мы знаем, как стал бы ты тогда говорить к самому себе; но звери твои просят тебя не умирать еще.

Ты стал бы говорить бестрепетно, вздохнув несколько раз от блаженства: ибо великая тяжесть и уныние были бы сняты с тебя, ты, самый терпеливый! —

«Теперь я умираю и исчезаю, — сказал бы ты, — и через мгновение я буду ничем. Души так же смертны, как и тела.

Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится, — она вновь создаст меня! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения.

Я снова возвращусь, с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеей, — *не* к новой жизни, или к лучшей жизни, или к жизни, похожей на прежнюю —

— я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей, —

— чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке.

Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет мой вечный жребий, — как провозвестник, погибаю я!

Час настал, когда умирающий благословляет себя самого. Так — *кончается* закат Заратустры». —

Сказав это, звери умолкли и ждали, чтобы Заратустра что-нибудь сказал им; но Заратустра не слышал, что они умолкли. Он лежал тихо, с закрытыми глазами, как спящий, хотя и не спал: ибо он разговаривал в это время со своею душой. Змея же и орел, видя его таким молчаливым, почтили великую тишину вокруг него и удалились осторожно.

О великом томлении

О душа моя, я научил тебя говорить «Сегодня» так же, как «Когда-то» и «Прежде», и водить хороводы над всеми Здесь, Тут и Там.

О душа моя, я избавил тебя от закоулков, от пыли, пауков и сумерек.

О душа моя, я смыл с тебя маленький стыд и добродетель закоулков, я убедил тебя стоять обнаженной перед очами солнца.

Бурею, называемой «духом», подул я на твое волнующееся море; все тучи прогнал я оттуда, я задушил даже душителя, называемого «грехом».

О душа моя, я дал тебе право говорить Нет, как буря, и говорить Да, как говорит Да простор небес; ты тиха, как свет, и спокойно проходишь через бури отрицания.

О душа моя, я возвратил тебе свободу над созданным и несозданным — и кому, как не тебе, ведома радость будущего?

О душа моя, я учил тебя презрению, но не тому, что появляется, как червоточина, а великому, любящему презрению, которое больше всего любит там, где оно больше всего презирает.

О душа моя, я учил тебя так убеждать, чтобы самые основания ты привлекла к себе: подобно солнцу, убеждающему даже море подняться на его высоту.

О душа моя, я снял с тебя всякое послушание, коленопреклонение и раболепство; я сам дал тебе имена «избегание бед» и «судьба».

О душа моя, я дал тебе новые имена и разноцветные игрушки, я назвал тебя «судьбою», «объятием объятий», «пуповиной времени» и «лазоревым колоколом».

О душа моя, твоей почве дал я испить всю мудрость, все новые вина и даже все незапамятно старые, крепкие вина мудрости.

О душа моя, всякое солнце я изливал на тебя, и всякую ночь, и всякое молчание, и всякое томление; ты вырастала предо мной, как виноградная лоза.

О душа моя, обильна и тяжела стоишь ты теперь, как виноградная лоза со вздутыми сосцами и плотными темно-золотистыми гроздьями:

— стесненная и придавленная своим счастьем, в ожидании преизбытка и стыдясь еще своего ожидания.

О душа моя, не существует другой души, более любящей, более объемлющей и более обширной! Где будущее и прошедшее были бы ближе друг к другу, как не у тебя?

О душа моя, я дал тебе всё, и руки мои опустели из-за тебя, — а теперь! Теперь говоришь ты мне, улыбаясь, полная печали: «Кто из нас должен благодарить? —

— должен ли благодарить дающий за то, что берущий брал? Дарить — не есть ли потребность? Брать — не есть ли сострадание?» —

О душа моя, я понимаю улыбку твоей печали: твое чрезмерное богатство само простирает теперь тоскующие руки!

Твой избыток бросает взоры на бурлящее море, и ищет, и ждет; тоска от чрезмерного избытка смотрит из улыбающегося неба твоих очей!

И поистине, о душа моя! Кто бы мог смотреть на твою улыбку и не обливаться слезами? Сами ангелы обливаются слезами от чрезмерной доброты твоей улыбки.

Твоя доброта, чрезмерная доброта, не хочет жаловаться и плакать; и все-таки, о душа моя, твоя улыбка жаждет слез и твои дрожащие уста — рыданий.

«Разве всякий плач не жалоба? И всякая жалоба не обвинение?» Так говоришь ты себе и потому хочешь, о душа моя, лучше улыбаться, чем изливать свое страдание, —

— в потоках слез изливать всё свое страдание от избытка своего и от тоски виноградника по виноградарю и ножу его!

Но если не хочешь ты плакать и выплакать свою пурпурную печаль, ты должна *петь*, о душа моя! — Смотри, я сам улыбаюсь, предсказывая тебе это:

— петь бурную песнь, пока не стихнут все моря, чтобы прислушаться к твоей тоске, —

— пока по тихим, тоскующим морям не поплывет челн, золотое чудо, вокруг золота которого прыгают все хорошие, дурные, удивительные вещи, —

— и много зверей, больших и малых, и всё, что имеет легкие удивительные ноги, чтобы бежать по фиалково-голубым тропам, —

— туда, к золотому чуду, к вольному челноку и хозяину его; но это — виноградарь, ожидающий с алмазным ножом, —

— твой великий избавитель, о душа моя, безымянный, — только будущие песни найдут ему имя! И поистине, уже благоухает твое дыхание будущими песнями, —

— уже пылаешь ты и грезишь, уже пьешь жадно из всех глубоких, звонких колодцев-утешителей, уже отдыхает твоя печаль в блаженстве будущих песен! —

О душа моя, теперь я дал тебе всё и даже последнее свое, и мои руки опустели из-за тебя: *что я велел тебе петь* — было последним!

За то, что я велел тебе петь, скажи же, скажи: *кто* из нас должен теперь — благодарить? — Но лучше: пой мне, пой, о душа моя! И мне предоставь благодарить! —

Так говорил Заратустра.

Другая танцевальная песнь

1.

«В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь; золото мерцало в ночи глаз твоих, — сердце мое замерло от этой неги:

— челн золотой мерцал на водах ночных, ныряющий, всплывающий, всё снова и снова кивающий качающийся челн золотой!

На мою ногу, страстно желающую танца, ты кинула свой взгляд, смеющийся, вопрошающий, тающий, колышущийся взгляд:

Только дважды коснулась ты ручками погремушки своей — и уже колыхнулась моя нога в страстном желании танца. —

Мои пятки поднялись, пальцы ног моих прислушивались, чтобы понять тебя: ведь уши танцора — в пальцах ног!

К тебе прыгнул я — ты метнулась прочь; и навстречу мне извивались змейки взлетающих, разлетающихся волос твоих!

От тебя и от змей твоих отпрыгнул я; и вот ты стояла уже, обернувшись слегка, и глаза были полны желаний.

Косыми взглядами — учишь ты меня кривым путям; на кривых путях учится нога моя — коварству!

Я боюсь тебя вблизи, я люблю тебя издали; твое бегство манит меня, твое искание заставляет замереть; я страдаю, но чего бы не вынес я ради тебя!

Чей холод воспламеняет, чья ненависть обольщает, чье бегство связывает, чья насмешка — волнует:

— кто не ненавидел тебя, великая вязальщица, обнимальщица, искусительница, искательница, находчица! Кто не любил тебя, невинная, нетерпеливая, ветроногая, детоокая грехотворица!

Куда влечешь ты меня, неугомонное чудо мое? И снова ты бежишь от меня, дикарка, неблагодарная!

Я танцую за тобой, я иду за тобой и по неприметному следу. Где же ты? Протяни мне руку! Или хотя бы палец!

Здесь пещеры и чаща — мы заблудимся! — Стой! Подожди! Разве не видишь ты, как мелькают совы и летучие мыши?

Ты сова! Ты летучая мышь! Ты хочешь дразнить меня? Где мы? У собак научилась ты выть и тявкать.

Ты мило скалишь белые зубки, твои злые глаза наскакивают на меня из-под гривы волос!

Вот танец по пням и камням: я охотник, — хочешь ли ты быть собакой или серной моей?

Рядом! И живее, злая прыгунья! Вверх! И вперед! — Горе! Прыгнув, я сам упал!

О, смотри, дерзкая, как повержен я и молю о пощаде! Милей идти с тобою более приятными тропами!

— тропами любви меж молчаливых пестрых кустов! Или там, берегом озера: в нем плавают и танцуют золотые рыбки!

Ты устала? Там наверху овцы и вечерние зори: разве не упоительно заснуть под звуки пастушьей свирели?

Ты очень устала? Я понесу тебя туда, опусти только руки! И если ты чувствуешь жажду, скажи, — я бы нашел, чем утолить ее, но ты не хочешь этого пить! —

— О, эта проклятая, проворная, ловкая змея, скользкая ведьма! Куда подевалась ты? На лице чувствую я от руки твоей два пятна, красные кляксы!

Поистине, я устал быть пастухом твоих овец! Для тебя, ведьма, я пел до сих пор, теперь *ты* должна у меня — закричать!

Под такт моей плетки должна ты танцевать и кричать! Я не забыл ведь о плетке? — Нет!» —

2.

Так отвечала мне жизнь и при этом заткнула изящные уши свои:

«О Заратустра! Не щелкай так страшно своею плеткой! Ты ведь знаешь: шум убивает мысли, — а ко мне как раз пришли такие нежные мысли.

Мы оба с тобою два недобротворца и незлотворца. По ту сторону добра и зла обрели мы свой остров и зеленый свой луг – мы вдвоем, одни! Потому уже мы должны быть добры друг к другу!

А если мы не любим друг друга до глубины души, – разве следует сердиться, что не любишь до глубины души?

Что я добра к тебе и часто слишком добра, – это знаешь ты, и всё оттого, что я ревную тебя к мудрости твоей. Ах, эта мудрость, полоумная старая дура!

Если бы мудрость твоя сбежала от тебя, ах! тогда мигом сбежала бы от тебя и моя любовь». –

Тут жизнь задумчиво оглянулась вокруг и тихо сказала: «О Заратустра, ты мне недостаточно верен!

Ты любишь меня вовсе не так сильно, как говоришь; я знаю, ты думаешь скоро покинуть меня.

Есть старый, тяжелый, очень тяжелый колокол-ревун; он ревет по ночам до самой твоей пещеры:

– когда ты слышишь, как этот колокол бьет полночь, между первым и двенадцатым ударом думаешь ты о том –

– ты думаешь о том, о Заратустра, я знаю это, что хочешь ты скоро покинуть меня!» –

«Да, – отвечал я робко, – но ты ведь знаешь...» И я сказал ей нечто на ухо, прямо в ее спутанные, желтые, безумные пряди волос.

«Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого не знает никто...» –

И мы смотрели друг на друга и глядели на зеленый луг, на который набегал прохладный вечер, и плакали вместе. – И жизнь была тогда мне милее, чем когда-либо вся мудрость моя. –

Так говорил Заратустра.

3.

Раз!
О друг, вникай!

Два!
Что полночь говорит? внимай!
Три!
«Был долог сон, —
Четыре!
Глубокий сон, развеян он:
Пять!
Мир — глубина,
Шесть!
Глубь эта дню едва видна.
Семь!
Скорбь мира эта глубина, —
Восемь!
Но радость глубже, чем она:
Девять!
Жизнь гонит скорби тень!
Десять!
А радость рвется в вечный день, —
Одиннадцать!
В желанный вековечный день!
Двенадцать![1]

1 Перевод А.М. Бобрищева-Пушкина

Семь печатей
(Или: песнь о Да и Аминь)

1.

Если я прорицатель и полон того пророческого духа, что носится по высоким горам между двух морей, —

носится между прошедшим и будущим, как тяжелая туча, — враждебный удушливым низменностям и всему, что устало и не может ни умереть, ни жить, —

готовый к молнии в темной груди и к лучу искупительного света, чреватый молниями, которые говорят Да! и смеются, готовый к пророческим вспышкам молний, —

— но блажен, кто так чреват! И поистине, долго висеть на вершине скалы, как тяжелая туча, тому, кто должен однажды зажечь свет будущего! —

о, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

2.

Если гнев мой некогда разрушал могилы, сдвигал пограничные камни и скатывал старые разбитые скрижали в отвесную пропасть, —

Если насмешка моя некогда сдувала истлевшие слова и я приходил как метла для пауков-крестовиков и очистительный ветер для старых удушливых склепов, —

Если некогда сидел я, ликуя, там, где погребены старые боги, благословляя мир, любя мир, возле памятников старым клеветникам на мир, —

— ибо даже церкви и могилы богов люблю я, когда небо смотрит ясным оком сквозь разрушенные своды; я люблю

сидеть, подобно траве и красному маку, на развалинах церквей —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

3.

Если некогда дыхание приходило ко мне от творческого дыхания и от небесной необходимости, что принуждает даже случайности водить звездные хороводы, —

Если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой, гремя, но с покорностью следует долгий гром действия, —

Если некогда за земным столом богов играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, извергая огненные реки, —

— ибо земля есть божественный стол, дрожащий от новых творческих слов и бросков игральных костей, —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

4.

Если некогда одним глотком опорожнял я пенящийся кубок с пряной смесью, где хорошо смешаны все вещи, —

Если некогда рука моя подливала самое дальнее к самому близкому, и огонь — к духу, и радость — к страданию, и самое худшее — к самому лучшему, —

Если сам я — крупица той искупительной соли, что заставляет все вещи хорошо смешиваться в кубке, —

— ибо бывает соль, связующая добро со злом; и даже самое злое достойно быть приправой и пениться через край, —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

5.

Если мило мне море и всё, что похоже на море, и милее всего, когда оно гневно противоречит мне, —

Если есть во мне та радость искателя, что гонит корабль к еще не открытому, если есть в моей радости радость мореплавателя, —

Если некогда восклицало ликование мое: «Берег исчез — теперь пали с меня последние цепи —

— беспредельность шумит вокруг, вдали блестит мне пространство и время, — ну что ж! давай! старое сердце!» —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

6.

Если добродетель моя — добродетель танцора, и часто прыгал я обеими ногами в золотисто-изумрудный восторг, —

Если злоба моя — смеющаяся злоба, живущая под кустами роз и под изгородью из лилий, —

— ибо в смехе всё злое собрано вместе, но освящено и оправдано собственным блаженством, —

И если в том альфа и омега моя, чтобы всё тяжелое стало легким, всякое тело — танцором, всякий дух — птицею: поистине, это альфа и омега моя! —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

7.

Если некогда простирал я тихие небеса над собою и летал на собственных крыльях в собственные небеса, —

Если я плавал, играя, в глубокой светлой дали и прилетала птица-мудрость свободы моей, —

— так говорит птица-мудрость: «Знай, нет ни верха, ни низа! Бросайся и вверх, и вниз, ты, легкий! Пой! перестань говорить!

— разве все слова не созданы для тех, кто тяжел? Не лгут ли все слова тому, кто легок? Пой! перестань говорить!» —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и брачному кольцу колец, — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, Вечность!

Ибо я люблю тебя, Вечность!

Часть четвертая и последняя

«Ах, где в мире совершались большие безумства, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумства сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их!

Так говорил однажды мне дьявол: «Даже у бога есть свой ад: это его любовь к людям».

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: «Бог умер; из-за сострадания к людям умер бог». –

Заратустра. О сострадательных (II. С. 93)

Жертва медовая

И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, и он не замечал их; но волосы его побелели. Однажды, когда сидел он на камне перед своей пещерой и молча смотрел вдаль — отсюда далеко видно было море поверх вздымавшихся пучин, — звери его задумчиво ходили вокруг и, наконец, остановились перед ним.

«О Заратустра, — сказали они, — не высматриваешь ли ты счастья своего?» — «Что толку в счастье! — отвечал он. — Я давно уже не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу». — «О Заратустра, — снова заговорили звери, — ты говоришь как тот, у кого больше чем вдоволь добра. Разве не лежишь ты в лазоревом озере счастья?» — «Плуты, — отвечал Заратустра, улыбаясь, — как удачно выбрали вы сравнение! Но вы знаете, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну: оно гнетет меня, не отстает от меня, как расплавленная смола».

Звери же продолжали задумчиво ходить вокруг, затем снова остановились перед ним. «О Заратустра, — сказали они, — так *вот почему* ты сам становишься всё желтее и темнее, хотя волосы твои хотят казаться белыми и льняными? Смотри же, ты сидишь в своей смоле!» — «Что говорите вы, звери мои, — сказал Заратустра, смеясь, — поистине, я клеветал, говоря о смоле. Что происходит со мною, бывает со всеми плодами, которые созревают. Это *мед* в моих жилах делает кровь более густой и душу более молчаливой». — «Должно быть, так, о Заратустра, — отвечали звери, приближаясь к нему, — но не хочешь ли ты подняться на высокую гору? Воздух чист, и сегодня мир виден больше, чем когда-либо». — «Да, звери мои, — отвечал он, — вы даете прекрасный совет, и он мне по сердцу: я хочу подняться на высокую гору! Но позаботьтесь, чтобы там мед был у меня под рукой, желтый, белый, хороший, по-ледяному свежий золотой сотовый мед. Ибо знайте, там наверху я хочу принести жертву медовую». —

Но когда Заратустра оказался на вершине, отослал он домой зверей, провожавших его, — теперь он был один; тогда засмеялся он от всего сердца, оглянулся кругом и так говорил:

— Я говорил о жертвах и о медовых жертвах, но это было только уловкою речи моей и, поистине, полезным безумием! Здесь, наверху, я могу говорить свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их.

Разве жертвы это! Я расточаю, что дарится мне, я расточитель с тысячью рук; как мог бы я называть это — жертвоприношением!

И когда жаждал я меду, жаждал я лишь приманки и сладкой густой патоки и отвара, на которые зарятся ворчуны-медведи и диковинные, угрюмые, злые птицы:

— лучшей приманки, что нужна охотникам и рыболовам. Ибо если мир подобен темному лесу диких зверей и саду для услаждения диких охотников, он кажется мне еще больше и скорее бездонным богатым морем,

— морем, полным разноцветных рыб и раков, где сами боги желали бы стать рыболовами и закинуть сети свои: так богат мир диковинами, большими и малыми!

Особенно мир человеческий, море человеческое; в *него* закидываю я теперь золотую удочку и говорю: разверзнись, бездна человеческая!

Разверзнись и выброси мне твоих рыб и сверкающих раков! Своей лучшей приманкой приманиваю я сегодня самых диковинных рыб человеческих!

— счастье свое закидываю я во все дали дальние, на восход, на полдень и закат, поглядеть, много ли рыб человеческих научится дергаться и биться на крючке моего счастья.

Пока они, закусив острые скрытые крючки мои, не должны будут подняться на *мою* высоту, самые пестрые пескари глубин — к злейшему ловцу рыб человеческих.

Ибо *таков* я изначально, влекущий, привлекающий, поднимающий, возвышающий, увлекатель, воспитатель и садовник, не напрасно говоривший себе: «Стань тем, кто ты есть!»

Пусть же люди поднимаются *вверх* ко мне: ибо еще жду я знамения, что настал час нисхождения моего, еще сам я не иду к закату, как суждено мне среди людей.

Поэтому жду я здесь, хитрый и насмешливый, на высоких горах, не нетерпеливый, не терпеливый, скорее тот, кто разучился даже терпению, – ибо он больше не «терпит».

Это судьба моя дает мне время; не забыла ли она меня? Или сидит она за большим камнем в тени и ловит мух?

И поистине, я благодарен вечной судьбе моей, что она не гонит, не давит меня и дает время для шуток и злобы: так что сегодня для рыбной ловли поднялся я на эту высокую гору.

Ловил ли когда-нибудь человек рыб на высоких горах? И пусть даже будет безумием то, чего я хочу здесь наверху и что делаю, – это все-таки лучше, чем если бы стал я там внизу торжественным, зеленым и желтым от ожидания –

– гневно надутым от ожидания злопыхателем, завыванием священной бури, несущейся с гор, нетерпеливцем, который кричит с высот в долины: «Слушайте, или я ударю вас бичом божьим!»

Не потому, чтобы сердился я на этих негодующих: с них хватит и моего смеха! Нетерпеливы они, эти большие шумящие барабаны, которые заговорят или сегодня, или никогда!

Но я и судьба моя – мы не говорим к Сегодня, мы не говорим также к Никогда: у нас есть терпенье говорить, и время, и избыток времени. Ибо однажды он должен прийти и не может пройти мимо.

Кто же должен однажды прийти и не может пройти мимо? Наш великий Хазар, наше великое далекое Царство Человека, Царство Заратустры на тысячу лет. –

Далека ли еще эта «даль»? что мне до этого! Она оттого не менее тверда для меня, – обеими ногами крепко стою я на этом основании, –

– на вечном основании, на твердом древнем камне, на этой самой высокой, самой твердой древней горе, где сходятся все ветры, как у границы бурь, вопрошая: где? откуда? куда?

Здесь смейся, смейся, моя светлая здоровая злоба! С высоких гор бросай вниз свой сверкающий презрительный смех! Примани мне своим сверканием самых прекрасных рыб человеческих!

И что во всех морях принадлежит *мне*, что мое и для меня во всех вещах, — *это* выуди мне, *это* приведи на высоту мою: этого жду я, злейший из всех ловцов рыб.

Дальше, дальше, удочка моя! Вниз, глубже, приманка счастья моего! Источай по каплям сладчайшую росу, мед сердца моего! Впивайся, моя удочка, в нутро всякой черной скорби!

Вдаль, вдаль, глаз мой! О, как много морей вокруг меня, сколько сумеречного будущего людей! А надо мной — какая розовая тишина! Какое безоблачное молчание!

Крик о помощи

На следующий день Заратустра опять сидел на своем камне перед пещерой, в то время как звери его блуждали по свету, чтобы принести домой новую пищу — и новый мед: ибо Заратустра растратил и расточил старый мед до последней капли. Но когда он так сидел, с посохом в руке, и обводил свою тень на земле, размышляя, поистине! не о себе и своей тени, — он вдруг испугался и вздрогнул: ибо заметил рядом со своею тенью еще другую тень. И едва он успел оглянуться и быстро встать, как увидел вблизи себя прорицателя, того самого, которого однажды кормил и поил за своим столом, провозвестника великой усталости, учившего: «Всё равно, ничто не вознаграждается, мир бессмыслен, знание душит». Но с тех пор изменилось лицо его; и когда Заратустра взглянул ему в глаза, вновь испугалось его сердце: так много дурных предсказаний и пепельно-серых молний пробежало по этому лицу.

Прорицатель, почувствовав, что произошло в душе Заратустры, провел рукою по лицу своему, как бы желая стереть его; то же сделал и Заратустра. И когда они оба, молча, так пришли в себя и ободрились, они подали друг другу руки, в знак того, что желают вновь узнать друг друга.

«Милости просим, предсказатель великой усталости, — сказал Заратустра, — ты не напрасно однажды был гостем за моим столом. Ешь и пей у меня и сегодня и прости, если веселый старик сядет за стол вместе с тобою!» — «Веселый старик? — отвечал прорицатель, качая головою. — Но кем бы ты ни был или кем бы ни хотел быть, о Заратустра, слишком долго пробыл ты наверху, — твоему челну не долго оставаться на суше!» — «Разве я на суше?» — спросил Заратустра, смеясь. «Волны вокруг горы твоей, — отвечал прорицатель, — всё поднимаются и поднимаются, волны великой нужды и печали; скоро они поднимут челн твой и унесут тебя отсюда». — Заратустра молчал и удивлялся. — «Разве ты еще ничего не слышишь? — продолжал прорицатель. — Не

доносятся ли шум и клокотанье из глубины?» — Заратустра снова молчал и прислушивался; тогда услышал он долгий, протяжный крик, который пучины перебрасывали одна другой, ибо ни одна из них не хотела оставить его у себя: так зловеще звучал он.

«Роковой провозвестник, — сказал наконец Заратустра, — это крик о помощи, крик человека, он, видно, идет из черного моря. Но что мне за дело до нужды человеческой! Последний грех, оставшийся мне, — знаешь ли ты, как называется он?»

— «*Сострадание*! — отвечал прорицатель от полноты сердца и воздел обе руки. — О Заратустра, я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех!» —

И едва были произнесены эти слова, как вновь раздался крик, еще более протяжный и исполненный ужаса, чем прежде, и уже гораздо ближе. «Слышишь? Слышишь, о Заратустра? — кричал прорицатель. — К тебе обращен этот крик, тебя зовет он: приходи, приходи, приходи, пора, настало время!» —

Но Заратустра молчал, смущенный и потрясенный; наконец он спросил, как тот, кто колеблется в себе самом: «Кто же тот, что зовет меня там?»

«Но ты ведь знаешь кто, — резко отвечал прорицатель, — зачем же ты скрываешь? Это *высший человек* взывает к тебе!»

«Высший человек? — воскликнул Заратустра, объятый ужасом. — Чего хочет *он*? Чего хочет *он*? Высший человек! Чего хочет он здесь?» — и кожа его покрылась потом.

Но прорицатель не отвечал на испуг Заратустры, а продолжал прислушиваться к пучине. Когда же там надолго водворилась тишина, он оглянулся и увидел, что Заратустра стоит и дрожит.

«О Заратустра, — начал он печальным голосом, — ты стоишь не как тот, кого счастье заставляет кружиться; ты должен будешь танцевать, чтобы не упасть.

Но и если бы ты захотел плясать передо мною и проделывать прыжки свои во все стороны, — никто не мог бы сказать мне: «Смотри, вот пляшет последний веселый человек!»

Напрасно поднимался бы на эту вершину тот, *кто* ищет его здесь: он нашел бы пещеры и в них тайники для таящих-

ся, но не нашел бы ни шахт, ни сокровищниц счастья, ни новых золотых жил.

Счастье – разве можно найти счастье у этих заживо погребенных и отшельников! Неужели должен я искать последнего счастья на блаженных островах, далеко среди забытых морей?

Но всё равно, ничто не вознаграждается, тщетны все поиски, и не существует больше блаженных островов!» –

Так вздыхал прорицатель; но при последнем вздохе его сделался Заратустра вновь светел и уверен, как тот, кто из глубокого ущелья выходит на свет. «Нет! Нет! Трижды нет! – воскликнул он громким голосом и погладил свою бороду. – *Это* знаю я лучше! Существуют еще блаженные острова! Молчи *об этом*, ты, вздыхающий мешок печали!

Перестань журчать *об этом*, ты, дождевое облако перед полуднем! Разве не стою я здесь, промокший от печали твоей, как облитая водою собака?

А теперь я встряхнусь и убегу от тебя, чтобы просохнуть, – не удивляйся этому! Я кажусь тебе невежливым? Но здесь *мои* владения.

Что же касается твоего высшего человека – ну что ж! я мигом разыщу его в тех лесах: *оттуда* раздавался его крик. Быть может, его преследует какой-то лютый зверь.

Он в *моих* владениях, здесь не должно случиться с ним несчастья! Поистине, есть много лютых зверей у меня». –

С этими словами Заратустра хотел уйти. Тогда сказал прорицатель: «О Заратустра, ты – плут!

Я знаю: ты хочешь отделаться от меня! Скорее побежал бы ты в леса и стал охотиться на диких зверей!

Но поможет ли это тебе? Вечером я снова буду у тебя; в твоей собственной пещере буду я сидеть, терпеливый и тяжелый, как колода, – и поджидать тебя!»

«Пусть будет так! – крикнул Заратустра, уходя. – И что есть моего в пещере моей, принадлежит и тебе, дорогому гостю!

Если же ты найдешь в ней мед, ну что ж! полижи его, ты, ворчливый медведь, и услади свою душу! Ибо к вечеру оба мы будем веселы,

—веселы и довольны, что день этот кончился! И ты сам будешь танцевать под песни мои, как ученый медведь мой.

Ты не веришь этому? Ты качаешь головой? Ну что ж! Ступай! Старый медведь! Но и я—прорицатель».

Так говорил Заратустра.

Беседа с королями

1.

Заратустра не ходил еще и часу в своих горах и лесах, как вдруг увидел странную процессию. Как раз по дороге, с которой он думал спуститься, шли два короля, украшенные коронами и красными поясами и пестрые, как фламинго; они гнали перед собой нагруженного осла. «Чего хотят эти короли в моем царстве?» — с удивлением сказал Заратустра своему сердцу и быстро спрятался за куст. Но когда короли подошли к нему близко, сказал он вполголоса, как тот, кто говорит сам с собой: «Странно! Странно! Как это вяжется одно с другим? Я вижу двух королей — и только одного осла!»

Тогда оба короля остановились, улыбнулись, посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, затем взглянули друг другу в лицо. «Так думают, пожалуй, и у нас,— сказал король справа, — но не высказывают этого».

Король слева пожал плечами и ответил: «Это, должно быть, козопас. Или отшельник, слишком долго живший среди скал и деревьев. Отсутствие всякого общества тоже портит добрые нравы».

«Добрые нравы? — с негодованием и горечью возразил другой король. — Но кого сторонимся мы? Разве не «добрых нравов»? Не нашего ли «хорошего общества»?

Поистине, лучше жить среди отшельников и козопасов, чем среди раззолоченной, лживой, нарумяненной черни, — даже если она называет себя «хорошим обществом»,

— даже если она называет себя «аристократией». В ней всё лживо и гнило, начиная с крови, — от застарелых дурных болезней и еще более дурных исцелителей.

По мне всех лучше и милее сегодня здоровый крестьянин, — грубый, хитрый, упрямый и выносливый: сегодня это самый благородный тип.

Крестьянин сегодня лучший; крестьянский тип должен бы быть господином! Но теперь царство черни, — я уже

не позволяю себе обольщаться. Но чернь — это значит: мешанина.

Чернь-мешанина: в ней всё вперемешку, и святой, и негодяй, и дворянин, и еврей, и всякий скот из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Всё у нас лживо и гнило. Никто уже не способен почитать: *этого* мы все избегаем. Заискивающие, назойливые собаки, они золотят пальмовые листья.

Отвращение душит меня: мы, короли, сами стали фальшивыми, мы обвешаны и переодеты в старый, пожелтевший прадедовский блеск, мы лишь показные медали для глупцов и пройдох и всех тех, кто сегодня ведет делишки с властью!

Мы не первые — но всё же должны *слыть* первыми; мы устали и пресытились этим обманом.

Отребья сторонились мы, всех этих горлодеров и навозных мух-писак, смрада торгашей, корч тщеславия, зловонного дыхания: фу, жить среди отребья,

— фу, среди отребья слыть первыми! Ах, отвращение! отвращение! отвращение! Что толку теперь в нас, королях!» —

«Твоя старая болезнь овладевает тобой, — сказал тут король слева, — отвращение овладевает тобой, мой бедный брат. Но ты ведь знаешь, нас кто-то подслушивает».

И тотчас же поднялся Заратустра, с широко открытыми ушами и глазами слушавший эти речи, из убежища своего, подошел к королям и начал так:

«Кто Вас слушает, и слушает охотно, Вы, короли, тот зовется Заратустрой.

Я Заратустра, который однажды сказал: «Что толку теперь в королях!» Простите, я обрадовался, когда Вы сказали друг другу: «Что толку в нас, королях!»

Но здесь *мое* царство и моя власть — что могли бы Вы искать в моем царстве? Быть может, однако, по дороге *нашли* Вы то, что *я* ищу: высшего человека».

Когда короли услышали это, они ударили себя в грудь и сказали в один голос: «Мы узнаны!

Мечом этого слова рассекаешь ты самый густой мрак нашего сердца. Ты открыл нашу нужду, ибо, знай! — мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека, —

— человека, который выше нас — хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла. Ибо высший человек должен быть на земле высшим повелителем.

Нет более тяжкого несчастья во всех судьбах человеческих, чем если сильные мира не суть также и первые люди. Тогда всё становится лживым, кривым и чудовищным.

А если они сами последние и более скоты, чем люди, — тогда поднимается и поднимается чернь в цене и, наконец, говорит даже добродетель черни: «Смотри, лишь я добродетель!» —

«Что слышал я только что? — отвечал Заратустра. — Какая мудрость у королей! Я восхищен, и поистине, мне очень хочется облечь это в рифмы: —

— то будут, быть может, рифмы, которые не годятся для ушей каждого. Я давно уже разучился обращать внимание на длинные уши. Ну что ж! Вперед!

(Но тут случилось, что и осёл заговорил: он сказал отчетливо и со злым умыслом: И-А.)

Однажды — в первый год по Рождестве Христа —
Сивилла пьяная (не от вина) сказала:
«О, горе, горе, как всё низко пало!
Какая всюду нищета!
Стал Рим большим публичным домом,
Пал Цезарь до скота, еврей стал — богом!»

2.

Короли наслаждались этими рифмами Заратустры, а король справа сказал: «О Заратустра, как хорошо сделали мы, что отправились повидать тебя!

Ибо враги твои показывали нам образ твой в своем зеркале; там являлся ты в гримасе демона с язвительной улыбкой его — так что мы боялись тебя.

Но разве это помогло! Снова и снова проникал ты в наши уши и сердца своими изречениями. Тогда сказали мы наконец: «Что нам до того, как он выглядит!»

Мы должны *слышать* того, кто учит: «Вы должны любить мир как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем долгий!»

Никто не произносил еще таких воинственных слов: «Что хорошо? Хорошо быть храбрым. Добрая война освящает всякую вещь».

О Заратустра, кровь наших отцов заволновалась при этих словах в нашем теле: это было как речь весны к старым бочкам вина.

Когда мечи сцеплялись с мечами, подобно змеям с красными пятнами, тогда хорошо жили наши отцы; всякое солнце мира казалось им блеклым и слабым, а долгий мир приносил позор.

Как они вздыхали, отцы наши, когда видели на стене сверкающие белизной, затупившиеся мечи! Подобно им, жаждали они войны. Ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от желания». —

Пока короли с жаром говорили о счастье своих отцов, напало на Заратустру сильное желание посмеяться над их пылом: ибо было очевидно, что короли, которых он видел перед собой, были очень миролюбивые короли, со старыми, тонкими лицами. Но он превозмог себя. «Ну что ж! — сказал он. — Вот дорога, ведущая к пещере Заратустры; и пусть у сегодняшнего дня будет долгий вечер! А теперь меня спешно зовет от вас крик о помощи.

Пещере моей будет оказана честь, если короли будут сидеть в ней и ждать: впрочем, долго придется вам ждать!

Так что же! Где же учатся сегодня лучше ждать, как не при дворах? И вся добродетель королей, какая у них еще осталась, — не зовется ли она сегодня *умением* ждать?»

Так говорил Заратустра.

Пиявка

Заратустра в раздумье продолжал свой путь, спускаясь всё ниже, проходя по лесам и мимо болот; и, как случается с каждым, кто обдумывает трудные вещи, наступил он нечаянно на человека. И вот посыпались ему разом в лицо крик боли, два проклятья и двадцать скверных ругательств — так что в испуге он замахнулся палкой и ударил того, на кого наступил. Но тотчас опомнился; сердце его смеялось над глупостью, только что совершенной им.

«Прости, — сказал он человеку, на которого наступил и который в гневе приподнялся и сел, — прости и выслушай сначала притчу.

Как путник, мечтающий о далеком, нечаянно на пустынной улице наталкивается на спящую собаку, лежащую на солнце, —

— как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, подобно смертельным врагам, оба смертельно испуганные, — так случилось и с нами.

И всё же! И всё же — сколь немногого недоставало, чтобы они приласкали друг друга, эта собака и этот одинокий! Ведь оба они — одинокие!»

«Кто бы ты ни был, — всё еще гневно ответил человек, на которого наступил Заратустра, — ты слишком близко подступил ко мне своим сравнением, а не только своей ногою!

Смотри, разве я собака?» — и при этих словах сидящий поднялся и вытащил свою голую руку из болота. Ибо сперва он лежал, вытянувшись на земле, скрытый и неприметный, как те, кто выслеживают болотную дичь.

«Но что ты делаешь! — воскликнул испуганный Заратустра, ибо он увидел кровь, обильно струившуюся по обнаженной руке. — Что случилось с тобой? Не укусило ли тебя, несчастный, какое-нибудь зловредное животное?»

Обливавшийся кровью улыбнулся, всё еще продолжая сердиться. «Что тебе за дело! — сказал он и хотел уйти. — Здесь я дома и в своих пределах. Пусть спрашивает меня кто хочет — но всякому болвану вряд ли стану я отвечать».

«Ты заблуждаешься, — сказал Заратустра с состраданием и удержал его, — ты ошибаешься: здесь ты не у себя, а в моем царстве, и здесь ни с кем не должно произойти несчастья.

Называй меня, впрочем, как хочешь, — я тот, кем я должен быть. Сам же я называю себя Заратустрой.

Ну что ж! Там вверху идет дорога к пещере Заратустры, это недалеко, — не хочешь ли ты у меня залечить свои раны?

Несчастный, тебе пришлось плохо в этой жизни: сперва укусило тебя животное, а потом — наступил на тебя человек!» —

Но, услышав имя Заратустры, тот, на кого наступили, преобразился. «Что со мной! — воскликнул он. — *Кто* занимает меня еще в этой жизни, как не этот единственный человек — Заратустра и не это единственное животное, что живет кровью, — пиявка?

Ради пиявки лежал я здесь, у этого болота, как рыболов, и уже десять раз укусили мою вытянутую руку, как вдруг стала питаться моей кровью еще более прекрасная пиявка, сам Заратустра!

О счастье! О чудо! Благословен день, привлекший меня в это болото! Благословенна лучшая, самая живучая из ныне живущих кровососных банок, благословенна великая пиявка совести, Заратустра!» —

Так говорил тот, на кого наступил Заратустра; и Заратустра радовался словам его и их тонкой почтительности. «Кто ты? — спросил он и протянул ему руку. — Между нами остается еще многое, что надо выяснить и прояснить; но, кажется мне, настает чистый, ясный день».

«Я *совестливый духом*, — отвечал спрошенный, — и в вопросах духа трудно найти кого-либо строже, у́же и тверже меня, за исключением того, у кого я учился, — самого Заратустры.

Лучше не знать ничего, чем знать многое наполовину! Лучше быть глупцом на свой страх и риск, чем мудрецом по чужому усмотрению! Я — доискиваюсь основания:

— что в том, велико оно или мало? Называется оно болотом или небом? Пяди основания достаточно для меня: если только оно действительно есть основание и почва!

— пяди основания: на ней можно стоять. В истинной совестливости знания нет ни большого, ни малого».

«Так ты, быть может, познаёшь пиявку? – спросил Заратустра. – Ты исследуешь пиявку до последнего основания, совестливый духом?»

«О Заратустра, – отвечал тот, на кого наступил Заратустра, – было бы чудовищно, если б дерзнул я на это!

Но в чем я специалист и знаток, так это в *мозге* пиявки: это *мой* мир!

И это мир! – Но прости, если говорит моя гордость, ибо здесь нет мне равного. Поэтому сказал я: «здесь я дома».

Давно исследую я эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина больше не ускользнула от меня! Здесь *мое* царство!

– ради этого отбросил я остальное, ради этого стал я равнодушен ко всему остальному; и совсем рядом с моим знанием простирается черное невежество мое.

Совестливость духа моего требует, чтобы знал я что-то одно, а остальное не знал: мне противны все половинчатые духом, все туманные, порхающие, мечтательные.

Где кончается моя честность, я слеп и хочу оставаться слепым. Но где я хочу знать, хочу я также быть честным, – быть суровым, строгим, узким, жестким и неумолимым.

Как сказал *ты* однажды, о Заратустра: «Дух есть жизнь, которая сама режет по живому», это соблазнило и привело меня к твоему учению. И поистине, собственной кровью умножил я свое знание!»

– «Как доказывает очевидность», – перебил Заратустра: ибо кровь всё еще текла по обнаженной руке совестливого духом. Десять пиявок впились в нее.

«О странный попутчик, сколь многому учит меня эта очевидность, то есть ты сам! И, может быть, не всё следовало мне вливать в твои строгие уши!

Ну что ж! Расстанемся здесь! Но мне очень хотелось бы снова встретить тебя. Там вверху идет дорога к моей пещере; сегодня ночью будь там желанным гостем!

Мне хотелось бы и полечить тело твое, на которое наступил ногой Заратустра, – об этом подумаю я. А теперь меня спешно зовет от тебя крик о помощи».

Так говорил Заратустра.

Чародей

1.

Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел внизу, недалеко от себя, на ровной дороге человека, который трясся, как бесноватый, и, наконец, бросился животом на землю. «Стой! — сказал Заратустра своему сердцу. — Должно быть, это высший человек, от него исходил тот мучительный крик о помощи, — посмотрю, нельзя ли помочь ему». Подбежав к месту, где лежал на земле человек, нашел он дрожащего старика с неподвижными глазами; и как ни старался Заратустра поднять его и поставить на ноги, всё напрасно. Казалось, что несчастный даже не замечает, что возле него есть кто-то; напротив, он с трогательным видом осматривался, как человек, покинутый целым миром и одинокий. Наконец, после продолжительной дрожи, судорог и подергиваний, начал он горько жаловаться:

Кто в силах отогреть меня, кто еще любит?
Горячие мне руки протяните
И пламя рдеющих углей для сердца дайте.
Лежу бессильно я, от страха цепенея,
Как перед смертию, когда уж ноги стынут,
Дрожа в припадках злой, неведомой болезни
И трепеща под острыми концами
Твоих холодных, леденящих стрел.
За мной охотишься ты, мысли дух,
Окутанный, ужасный, безымянный —
Охотник из-за туч! —
Как молниею, поражен я глазом,
Насмешливо из темноты смотрящим!
И так лежу я, извиваясь,
Согбенный, скрюченный, замученный свирепо
Мученьями, что на меня наслал ты,
Безжалостный охотник,
Неведомый мне бог! —

Рази же глубже,
Еще раз попади в меня и сердце
Разбей и проколи!
Но для чего ж теперь
Тупыми стрелами меня терзать?
Зачем опять ты смотришь на меня,
Ненасытимый муками людскими,
Молниеносным и злорадным бога взглядом?
Да, убивать не хочешь ты,
А только мучить, мучить хочешь!
Зачем тебе, зачем мое мученье,
Злорадный, незнакомый бог?

Я вижу, да!
В полночный час подкрался ты ко мне.
Скажи ж, чего ты хочешь?
Меня теснишь и давишь ты,
И, право, чересчур уж близко!
Ты слушаешь дыхание мое,
Подслушиваешь сердца ты биенье,—
Да ты ревнуешь! Но к кому ж ревнуешь?
Прочь, прочь! Куда —
Пробраться затеваешь ты?
Ты в сердце самое проникнуть хочешь,
В заветнейшие помыслы проникнуть!
Бесстыдный, ты, чужой мне, вор!
Что хочешь выкрасть ты себе на долю
И что подслушать хочется тебе?
Что хочешь выпытать ты от меня, мучитель?
Божественный палач!
Или я должен, как собака,
Валяться пред тобой, хвостом виляя
И отдаваясь, вне себя от страсти,
Тебе в любви виляньем признаваться?

Напрасно трудишься,
Рази сильней!
Какой укол ужасный!
Нет, не ищейка я тебе — твоя добыча,
Безжалостный охотник,
Я пленник гордый твой,

За облаками скрывшийся разбойник!
Скажи мне, наконец, чего,
Чего, грабитель, от меня ты хочешь?

Как? Выкупа?
Какого же и сколько?
Потребуй много,—так твердит мне гордость,—
И кратко говори,—другой ее совет.

Так вот как? Да? Меня?
Меня ты хочешь?
Меня всецело, и всего?

А!—так зачем же
Ты мучаешь меня, глупец, при этом?
Зачем терзаешь душу униженьем?..
—Дай мне любви, кому меня согреть?
Горячую мне руку протяни
И пламя рдеющих углей для сердца дай мне,
Мне, одинокому в своем уединенье,—
Что ко врагам и седмиричный лед,
К врагам стремиться научает.
Ты сам отдайся мне.
Необоримый враг,—
Сам—мне!

Прочь! улетел! —
Умчался прочь —
Единственный товарищ мой и враг,
Великий враг
И чуждый мне опять
Божественный палач.

Нет!
Возвратись ко мне
И с пытками твоими,
Мои все слезы льются за тобой,
И для тебя вдруг загорелся снова
Огонь последний на сердце моем.
Вернись, вернись ко мне, мой бог,—мое страданье,
И счастие последнее мое!..

2.

Тут Заратустра не мог долее сдерживать себя, схватил свою палку и ударил изо всех сил того, кто горько жаловался. «Перестань, — кричал он ему со злобным смехом, — перестань, ты, комедиант! фальшивомонетчик! закоренелый лжец! Я узнаю тебя!

Я отогрею тебе ноги, злой чародей, я хорошо умею задать жару таким, как ты!»

«Оставь, — сказал старик и вскочил с земли, — не бей больше, о Заратустра! Это была только игра!

В этом мое искусство; тебя самого хотел я испытать, подвергая этому испытанию! И поистине, ты разгадал меня!

Но и ты — немало дал мне себя испытать: ты *суров*, мудрый Заратустра! Суровые удары наносишь ты своими «истинами», твоя дубинка вынуждает у меня — *эту* истину!»

«Не льсти, — отвечал Заратустра, всё еще возбужденный и мрачно глядя на него, — закоренелый фигляр! Ты лжив: что толкуешь ты — об истине!

Ты, павлин из павлинов, ты, море тщеславия, *что* разыгрывал ты предо мною, злой чародей, в *кого* должен был я верить, когда в таком обличье ты жаловался мне?»

«*Кающегося духом*, — сказал старик, — *его* — играл я; ты сам изобрел когда-то это слово —

— поэта и чародея, обратившего наконец дух свой против себя самого, преображенного, который замерзает от своего дурного знания и дурной совести.

И согласись: прошло немало времени, о Заратустра, прежде чем ты разгадал мое искусство и мою ложь! Ты *поверил* в мою нужду, когда держал мою голову обеими руками, —

— я слышал, как ты горько жаловался: «Его слишком мало любили, слишком мало любили!» Что я так долго тебя обманывал, — этому радовалась внутри меня моя злоба».

«Ты, пожалуй, обманывал и более хитрых, чем я, — сказал Заратустра сурово. — Я не остерегаюсь обманщиков, я *должен* быть неосторожным: так хочет моя судьба.

А ты — *должен* обманывать: настолько я знаю тебя! Ты всегда должен иметь два, три, четыре, пять смыслов! Даже

то, в чем сознавался ты сейчас, было для меня далеко не достаточной правдой, ни достаточной ложью!

Злой фальшивомонетчик, разве мог бы ты поступать иначе! Даже болезнь свою нарумянил бы ты, если бы показался врачу своему нагим.

Точно так же румянил ты предо мною свою ложь, когда говорил: «Всё это была *только* игра!» Было в этом и *серьезное*, ибо *ты сам* отчасти такой же кающийся духом!

Я хорошо угадываю тебя: ты стал чародеем для всех, но для себя не осталось у тебя ни лжи, ни лукавства, — ты сам для себя расколдован!

Ты пожинал отвращение как единственную истину свою. Нет ни одного правдивого слова в тебе, но еще правдивы твои уста: правдиво отвращение, прилипшее к ним». —

«Но кто же ты? — воскликнул тут старый чародей надменно. — Кто смеет так говорить со *мною*, самым великим среди живущих ныне?» — и зеленая молния сверкнула из его глаз на Заратустру. Но тотчас же он изменился и сказал с грустью:

«О Заратустра, я устал, противны мне искусства мои, я не *велик*, к чему притворяться! Но — ты знаешь хорошо — я искал величия!

Великого человека хотел я сыграть и убедил многих; но ложь эта была свыше моих сил. О нее разбиваюсь я.

О Заратустра, всё ложь во мне; но что я разбиваюсь — это *подлинно*!» —

«Это делает тебе честь, — сказал Заратустра мрачно и глядя в сторону, — делает тебе честь, что искал ты величия, но это же и выдает тебя. Ты не велик.

Ты злой старый чародей, *это* твое лучшее и самое честное, я чту в тебе то, что устал ты от себя и сказал: «Я не велик».

За это чту я тебя как кающегося духом: даже если только на один вздох, на один миг, но в это мгновение был ты — подлинным.

Скажи, чего ищешь ты здесь в *моих* лесах и скалах? И если *для меня* лежал ты на дороге, чего хотел ты от меня? —

— в чем искушал ты *меня*?» —

Так говорил Заратустра, и его глаза сверкали. Старый чародей помолчал немного, потом сказал: «Разве я искушал тебя? Я — только ищу.

О Заратустра, я ищу правдивого, справедливого, простого, недвусмысленного, абсолютно честного человека, сосуд мудрости, праведника знания, великого человека!

Разве ты не знаешь этого, о Заратустра? *Я ищу Заратустру*».

Тут воцарилось долгое молчание; Заратустра глубоко погрузился в себя, так что даже закрыл глаза. Но затем, возвратясь к своему собеседнику, он схватил руку чародея и сказал ему вежливо и с хитростью:

«Ну что ж! Туда вверх идет дорога, там находится пещера Заратустры. В ней следует тебе искать, кого хотел ты найти.

И спроси совета у моих зверей, у моего орла и у моей змеи: пусть помогут они тебе в поиске. Но моя пещера велика.

Правда, я сам — не видел еще великого человека. Для великого груб сегодня глаз даже самых проницательных. Теперь царство черни.

Немало встречал я таких, которые тянулись и надувались, а народ кричал: «Смотрите, вот великий человек!» Но что толку во всех раздувательных мехах! В конце концов воздух выходит из них.

В конце концов лопается лягушка, которая слишком долго надувалась, — и воздух выходит из нее. Ткнуть в живот надувшемуся — это называю я славной шуткой. Слушайте, дети!

Это сегодня принадлежит черни; кто там *знает* еще, что велико и что мало! Кто с успехом искал там величия! Только глупец: глупцам везет.

Ты ищешь великих людей, странный глупец? Кто *научил* тебя этому? Разве для этого теперь время? О скверный искатель, в чем — искушаешь ты меня?» —

Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и пошел, смеясь, своей дорогою.

В отставке

Вскоре после того как Заратустра освободился от чародея, увидел он опять, что кто-то сидит на дороге, по которой он шел; это был черный высокий человек с исхудавшим, бледным лицом; *человек этот* сильно раздосадовал его. «Горе, — сказал Заратустра своему сердцу, — вот сидит закутанная печаль, мне кажется, она из рода священников; чего хотят *они* в моем царстве?

Как! Едва избег я одного чародея, — другой чернокнижник опять становится мне поперек дороги, —

— какой-нибудь колдун, налагающий руки, мрачный чудотворец божьей милостью, помазанный клеветник на мир, дьявол его возьми!

Но дьявол никогда не бывает там, где он был бы на месте: всегда опаздывает этот проклятый карлик и колченожка!» —

Так бранился Заратустра с нетерпением в сердце и думал, как бы, не глядя на черного человека, проскользнуть мимо, — но случилось иначе. Ибо в этот самый момент его увидел сидевший; и подобно тому, кто наталкивается на неожиданное счастье, вскочил он и пошел навстречу Заратустре.

«Кто бы ты ни был, странник, — сказал он, — помоги заблудившемуся, ищущему, старому человеку, с которым здесь легко может случиться несчастье!

Здешний мир мне чужд и далек, я даже слышал вой диких зверей; а того, кто мог бы служить мне защитой, уже нет.

Я искал последнего благочестивого человека, святого и отшельника, который один в лесу своем еще ничего не слыхал, о чем весь мир знает сегодня».

«*О чем* же знает сегодня весь мир? — спросил Заратустра. — Не о том ли, что уже нет в живых старого бога, в которого весь мир когда-то верил?»

«Ты так говоришь, — отвечал опечаленный старик. — А я служил этому старому богу до последнего его часа.

Теперь же я в отставке, без господина, и все-таки не свободен, нет у меня ни одного веселого часа, разве только в воспоминаниях.

Для того и поднялся я на эти горы, чтобы наконец вновь устроить себе праздник, как подобает старому папе и отцу церкви, — ибо знай, я последний папа! — праздник благочестивых воспоминаний и богослужений.

Но теперь умер и он, самый благочестивый человек, тот святой в лесу, который всё время славил своего бога пением и бормотанием.

Его самого я уже не нашел, когда нашел его хижину, — лишь двух волков в ней, которые выли о его смерти: ибо все звери любили его. Тогда я убежал.

Неужели я пришел напрасно в эти леса и горы? Тогда решило мое сердце искать другого, самого благочестивого из всех, кто не верит в бога, — искать Заратустру!»

Так говорил старик и окинул острым взглядом стоявшего перед ним; Заратустра же взял руку старого папы и рассматривал ее долго с удивлением.

«Посмотри, досточтимый, — сказал он затем, — какая прекрасная и длинная рука! Это рука постоянно раздававшего благословение. Но теперь держит она того, кого ты ищешь, меня, Заратустру.

Это я, безбожный Заратустра, говорю: кто безбожнее меня, чтобы мог я радоваться его наставлению?» —

Так говорил Заратустра и пронизывал своим взором мысли и скрытые помыслы старого папы. Наконец тот заговорил так:

«Кто его больше всего любил и владел им, тот теперь и утратил его больше всего:

— посмотри, не сам ли я из нас двоих теперь больше безбожник? Но кто бы мог радоваться этому!» —

«Ты служил ему до конца, — спросил Заратустра задумчиво, после глубокого молчания, — ты знаешь, *как* он умер? Правда ли, как говорят люди, что его задушило сострадание,

— что он видел, как *человек* висел на кресте, и не вынес этого, так что любовь к человеку сделалась его адом и наконец его смертью?» —

Но старый папа ничего не отвечал, а смотрел робко в сторону страдальческим, мрачным взглядом.

«Оставь его, — сказал Заратустра после долгого размышления, продолжая смотреть старику прямо в глаза. —

Оставь его, он умер. И хотя тебе делает честь, что ты о мертвом говоришь только хорошее, но ты хорошо знаешь, как и я, *кто* он был; и что он ходил странными путями».

«Говоря с глазу на два, — сказал, повеселев, старый папа (ибо он был слеп на один глаз), — в вопросах бога я просвещеннее самого Заратустры — и имею право на это.

Моя любовь служила ему долгие годы, моя воля следовала во всем его воле. Но хороший слуга знает всё и даже многое, что его господин скрывает от себя самого.

Это был скрытный бог, полный таинственности. Поистине, даже сына обрел он не иначе как тайным путем. У дверей его веры стоит прелюбодеяние.

Кто его прославляет как бога любви, тот недостаточно высокого мнения о самой любви. Разве этот бог не хотел быть также судьею? Но любящий любит по ту сторону награды и возмездия.

Когда он был молод, этот бог с востока, был он жесток и мстителен и построил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев.

Но наконец он состарился, стал мягким, дряблым, сострадательным, более похожим на деда, чем на отца, и всего больше похожим на ковыляющую старую бабушку.

Так сидел он, поблекший, в своем углу на печке, сокрушался о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, пока наконец не задохнулся от слишком большого сострадания». —

«Скажи, старый папа, — прервал тут Заратустра, — видел ли ты *это* своими глазами? Могло быть и так, могло быть *и* иначе. Когда боги умирают, умирают они всегда разными смертями.

Ну что ж! Так или иначе — он умер! Он был не по вкусу моим ушам и глазам, худшего не хотел бы я о нем говорить.

Я люблю всё, что ясно смотрит и правдиво говорит. Но он — ты ведь знаешь это, старый папа, — в нем было что-то от твоей породы, породы священников: он был многозначен.

И был непонятным. Как же сердился он на нас, этот дышащий гневом, что мы плохо его понимали! Но почему не говорил он яснее?

И если виной тому были наши уши, почему дал он нам уши, которые его плохо слышали? Если грязь была в наших ушах, пусть! но кто вложил ее туда?

Слишком многое не удавалось ему, этому недоучившемуся горшечнику! А если он мстил своим горшкам и творениям за то, что они ему плохо удавались, — это было уже грехом против *хорошего вкуса.*

И в благочестии есть хороший вкус; *он* сказал наконец: «Прочь *такого* бога! Лучше без бога, лучше на собственный страх устраивать судьбу, лучше быть безумцем, лучше самому быть богом!»

«Что слышу я! — сказал тут старый папа, навострив уши. — О Заратустра, ты благочестивее, чем ты веришь, при таком безверии! Какой-то бог в тебе обратил тебя к твоему безбожию.

Разве не само благочестие не дозволяет тебе более верить в бога? А твоя чрезмерная честность уведет тебя по ту сторону добра и зла!

Посмотри, что осталось у тебя? У тебя есть глаза, и руки, и уста, которые от вечности предназначены для благословения. Благословляют не только рукою.

Вблизи тебя, пусть ты и хочешь быть самым безбожным, я предчувствую тайное благовоние и благоухание долгих благословений; мне становится хорошо и мучительно.

Позволь быть твоим гостем, о Заратустра, на одну только ночь! Нигде на земле мне не будет теперь лучше, чем у тебя!» —

«Аминь! Да будет так! — сказал Заратустра с великим удивлением. — Туда вверх ведет дорога, там находится пещера Заратустры.

Право, я сам охотно проводил бы тебя туда, досточтимый, ибо я люблю всех благочестивых. Но теперь меня спешно зовет от тебя крик о помощи.

В моих владениях ни с кем не должно случиться несчастья; пещера моя — хорошая гавань. И больше всего хотел бы я всякого, кто печалится, вновь поставить на твердую землю и твердые ноги.

Но кто снимет с плеч *твою* печаль? Для этого я слишком слаб. Поистине, долго придется нам ждать, пока кто-нибудь снова не воскресит тебе твоего бога.

Ибо нет в живых уже этого старого бога: он основательно умер». —

Так говорил Заратустра.

Самый безобразный человек

И снова бежали ноги Заратустры по горам и лесам, а глаза его непрестанно искали, но нигде не было видно того, кого искали они, — кто был в великой беде и взывал о помощи. Всю дорогу, однако, радовался он в сердце своем и был полон признательности. «Какие хорошие вещи, — говорил он, — подарил мне этот день в награду за то, что так скверно он начался! Каких редких собеседников нашел я!

Долго буду я пережевывать слова их, как хорошие зерна; и зубы мои должны беспрерывно измельчать и дробить их, пока не потекут они в мою душу, как молоко!» —

Но когда дорога опять обогнула скалу, сразу изменился ландшафт, и Заратустра вступил в царство смерти. Здесь торчали черные и красные выступы скал; ни травы, ни деревьев, ни голоса птиц. Ибо это была долина, которой избегали все звери, даже хищные звери; и только змеи одной породы — безобразные, толстые, зеленые, — состарившись, приползали сюда умирать. Поэтому называли пастухи эту долину: Змеиная смерть.

Заратустра же погрузился в мрачные воспоминания, ибо ему казалось, что однажды он уже стоял в этой долине. Много тяжелого легло ему на душу — так что шел он всё медленнее и медленнее и наконец остановился совсем. Здесь, открыв глаза, увидел он перед собою что-то сидевшее на краю дороги, по виду напоминавшее человека или почти что человека, нечто невыразимое. И разом охватил Заратустру великий стыд, что пришлось ему своими глазами увидеть нечто подобное; покраснев до корней седых волос своих, он отвернулся и хотел уже уйти из этого недоброго места. Но вдруг мертвая пустыня огласилась шипевшими и хрипевшими звуками, поднимавшимися из самой земли, подобно тому как ночью шипит и хрипит вода в засорившейся водопроводной трубе; наконец возник из них человеческий голос и человеческая речь — и она гласила так:

«Заратустра! Заратустра! Разгадай загадку мою! Говори, говори! Что такое *месть свидетелю*?

Я предостерегаю тебя, здесь скользкий лед! Смотри, смотри, как бы гордость твоя не сломала здесь ногу!

Ты считаешь себя мудрым, гордый Заратустра! Так разгадай же загадку, ты, дробитель твердых орехов, — загадку, которой являюсь я! Скажи: кто *я*!»

Но когда Заратустра услышал эти слова, как думаете вы, что случилось с его душою? *Сострадание овладело им*; и он сразу упал ниц, как дуб, долго сопротивлявшийся многим дровосекам, — тяжело, внезапно, пугая даже тех, кто хотел срубить его. Но вот он снова поднялся с земли, и лицо его сделалось суровым.

«Я узнаю тебя, — сказал он медным голосом, — *ты убийца бога*! Пусти меня.

Ты не *вынес* того, *кто* видел тебя, — кто всегда и насквозь видел тебя, ты, самый безобразный человек! Ты отомстил этому свидетелю!»

Так говорил Заратустра и хотел уйти; но тот, кому нет названия, схватил его за край одежды и снова стал клокотать и подыскивать слова. «Останься! — сказал он наконец, —

— останься! Не проходи мимо! Я угадал, какая секира сразила тебя; хвала тебе, о Заратустра, что ты снова встал!

Ты угадал, я хорошо знаю, каково тому, кто его убил, — убийце бога. Останься! Присядь ко мне, это будет не напрасно.

К кому же стремился я, как не к тебе? Останься, сядь! Но не смотри на меня! Почти этим — безобразие мое!

Они преследуют меня — теперь *ты* последнее мое убежище. *Не* ненавистью своей, *не* своими ищейками — о, над таким преследованием смеялся бы я, гордился им и радовался ему!

Разве всякий успех не был доселе на стороне хорошо преследуемых? И кто хорошо преследует, легко научится *следовать*, — раз уж он идет — по пятам! Но от их *сострадания*, —

— от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе. О Заратустра, защити меня, ты последнее убежище мое, ты единственный, разгадавший меня:

— ты угадал, каково тому, кто убил *его*. Останься! И если хочешь идти, ты, нетерпеливый, — не ходи дорогой, какою я шел. *Эта* дорога плохая.

Ты сердишься, что я так долго и нескладно говорю? Что я даю тебе советы? Но знай, это я, самый безобразный человек,

—у которого самые большие и тяжелые ноги. Где *я* шел, там дорога плохая. Я обращаю все дороги в смерть и позор.

Но по тому, как ты прошел молча мимо меня, как ты покраснел, я это видел, —я узнал в тебе Заратустру.

Всякий другой бросил бы мне свою милостыню, свое сострадание, взором и речью. Но для этого я недостаточно нищий, это угадал ты, —

—для этого я слишком *богат*, богат великим, ужасным, самым безобразным и невыразимым! Твой стыд, о Заратустра, *почтил* меня!

С трудом выбрался я из толпы сострадательных, —чтобы найти единственного, который сегодня учит: «сострадание навязчиво», —тебя, о Заратустра!

—будь оно божеским, будь оно человеческим состраданием—оно перечит стыду. И нежелание помочь может быть благороднее, чем эта услужливая добродетель.

Но *это* сегодня называют добродетелью все маленькие люди, —сострадание; они не умеют чтить великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу.

Поверх всех их смотрю я, как смотрит собака поверх спин копошащихся овечьих стад. Это маленькие, доброшерстные, доброжелательные, серые люди.

Как цапля, закинув голову, с презрением смотрит поверх мелководных прудов, —так смотрю я поверх копошения серых маленьких волн, воль и душ.

Давно дано им право, этим маленьким людям, — *так что* дана им наконец и власть; теперь учат они: «Хорошо только то, что маленькие люди называют хорошим».

И «истиной» называется сегодня то, о чем говорил проповедник, сам вышедший из них, тот странный святой и заступник маленьких людей, который свидетельствовал о себе: «Я—истина».

Этот нескромный давно уже позволяет маленьким людям петушиться—он, учивший немалому заблуждению, когда учил: «Я—истина».

Отвечал ли кто нескромному учтивее? —Но ты, о Заратустра, прошел мимо него и говорил: «Нет! Нет! Трижды нет!»

Ты предостерегал от его заблуждения, ты первый предостерегал от сострадания — не всех и не каждого, но себя и подобных тебе.

Ты стыдишься стыда великого страдальца; и поистине, когда ты говоришь: «От сострадания приближается тяжелая туча, берегитесь, люди!» —

— когда ты учишь: «Все созидающие тверды, всякая великая любовь выше их сострадания», — о Заратустра, как хорошо, кажется мне, изучил ты приметы погоды!

Но и ты сам — остерегайся *своего* сострадания! Ибо многие на пути к тебе, многие страдающие, сомневающиеся, отчаивающиеся, утопающие, замерзающие. —

Я предостерегаю тебя и против меня. Ты разгадал мою лучшую, худшую загадку — меня самого и то, что свершил я. Я знаю секиру, сразившую тебя.

Но он — *должен был* умереть: он видел глазами, которые *всё* видели, — он видел глубины и основания человека, весь его скрытый позор и безобразие.

Его сострадание не знало стыда: он проникал в мои самые грязные закоулки. Этот любопытнейший, сверх-назойливый, сверх-сострадательный должен был умереть.

Он видел всегда *меня*; такому свидетелю хотел я отомстить — или самому не жить.

Бог, который всё видел, *не исключая и человека*, — этот бог должен был умереть! Человек не *выносит*, чтобы такой свидетель жил».

Так говорил самый безобразный человек. Заратустра же встал и собрался уходить: ибо его пробирал озноб.

«Ты, невыразимый, — сказал он, — ты предостерег меня от своего пути. В благодарность за это хвалю я тебе мой путь. Смотри, там вверху пещера Заратустры.

Моя пещера велика и глубока, в ней много закоулков; там находит самый скрытный укрытие свое. И поблизости есть сотни расщелин и убежищ для пресмыкающихся, порхающих и прыгающих зверей.

Ты, изгнанный, сам себя изгнавший, ты не хочешь жить среди людей и человеческого сострадания? Ну что ж, делай, как я! Так научишься ты у меня; только тот, кто действует, учится.

И прежде всего поговори с моими зверями! Самый гордый зверь и самый умный зверь — пусть будут для нас обоих верными советчиками!» —

Так говорил Заратустра и пошел своей дорогой, еще задумчивее и медленнее, чем прежде: ибо он вопрошал себя о многом и нелегко находил ответы.

«Как беден, однако, человек! — думал он в сердце своем. — Как безобразен, как он хрипит, как полон скрытого позора!

Мне говорят, что человек любит себя самого, — ах, как велико должно быть это себялюбие! Как много презрения противостоит ему!

И этот столь же любил себя, сколь презирал, — для меня он великий любящий и великий презирающий.

Никого еще не встречал я, кто бы глубже презирал себя, — и *это* высота. Горе! быть может, *то* был высший человек, чей крик я слышал?

Я люблю великих презирающих. Но человек есть нечто, что должно превзойти». —

Добровольный нищий

Когда Заратустра покинул самого безобразного человека, ему стало холодно и он почувствовал себя одиноким; ибо много холодного, одинокого пронеслось в мыслях его, и члены его холодели. Но, поднимаясь всё дальше и дальше, идя то вверх, то вниз, миновав зеленые пастбища и пустое, каменистое русло, где прежде нетерпеливый ручей прокладывал себе ложе, — он согрелся и ему стало радостнее на сердце.

«Что со мною? — спросил он себя. — Что-то теплое и живое подкрепляет меня, оно должно быть вблизи меня.

Уже я не так одинок; неведомые спутники и братья бродят вокруг меня, их теплое дыхание волнует мне душу».

Осматриваясь кругом и ища утешителей в одиночестве своем, он увидел коров, столпившихся на возвышении; их близость и запах согрели его сердце. Коровы эти, казалось, увлеченно слушали кого-то, говорившего к ним, и не обращали внимания на приближавшегося. Когда же Заратустра подошел совсем близко, услышал он отчетливо человеческий голос из стада коров; и видно было, что все они повернули свои головы к говорившему.

Тогда Заратустра стремительно бросился наверх и разогнал животных, ибо он боялся, чтобы здесь не случилось с кем-нибудь несчастья, которому едва ли помогло бы сострадание коров. Но в этом он ошибся: ибо, смотрите, тут сидел на земле человек и, казалось, убеждал животных, что они не должны бояться его, — миролюбивый человек и нагорный проповедник, из глаз которого проповедовала сама доброта. «Чего ищешь ты здесь?» — воскликнул Заратустра с удивлением.

«Чего я здесь ищу? — отвечал он. — Того же самого, чего ищешь и ты, возмутитель покоя! ищу счастья на земле.

Ему хотел я научиться у этих коров. Ибо, знаешь ли, уже половину утра говорю я к ним, и они как раз собрались дать мне ответ. Зачем помешал ты им?

Если не обратимся мы и не будем как коровы, мы не войдем в Царство Небесное. Ибо одному должны мы научиться у них — пережевыванию.

И поистине, если бы человек приобрел целый мир и не научился одному — пережевыванию, — какая польза была бы ему! Он не избавился бы от скорби своей,

— от великой скорби своей; она называется сегодня *отвращением*. А у кого сегодня сердце, уста и глаза не полны отвращения? И у тебя! И у тебя! Но взгляни на этих коров!» —

Так говорил нагорный проповедник и поднял взор свой на Заратустру — ибо до сей поры не отрываясь глядел он с любовью на коров, — и вдруг преобразился он. «Кто это, с кем говорю я? — воскликнул он в испуге и вскочил с земли.

Это человек, свободный от отвращения, это сам Заратустра, победитель великого отвращения, это глаза, это уста, это сердце самого Заратустры».

И, говоря так, он целовал руки тому, кому он говорил, и глаза его были полны слез; он вел себя совсем как тот, кому неожиданно падает с неба драгоценный дар или сокровище. А коровы смотрели на всё это и удивлялись.

«Не говори обо мне, ты, странный, милый человек! — сказал Заратустра, защищаясь от его нежности. — Говори сперва о себе! Не тот ли ты добровольный нищий, который некогда отрекся от большого богатства, —

— который устыдился богатства своего и богатых и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его».

«Но они не приняли меня, — сказал добровольный нищий, — ты хорошо знаешь это. Так что пошел я наконец к зверям и этим коровам».

«Там узнал ты, — прервал Заратустра говорившего, — насколько труднее уметь давать, чем уметь брать, и что хорошо дарить есть *искусство*, и притом высшее, самое хитрое искусство доброты».

«Особенно в наши дни, — отвечал добровольный нищий, — особенно теперь, когда всё низкое возмутилось, стало недоверчивым и по-своему чванливым: на манер черни.

Ибо, ты знаешь, настал час великого восстания черни и рабов, восстания гибельного, долгого и медленного: оно всё растет и растет!

Теперь возмущает низших всякое благодеяние и мелкая подачка; и те, кто слишком богат, пусть будут настороже!

Кто сегодня, подобно пузатой бутылке, по капле сочится сквозь слишком узкое горлышко, — таким бутылкам любят теперь отбивать горлышко.

Похотливая алчность, желчная зависть, подавленная мстительность, надменность черни — всё это бросилось мне в глаза. Уже неверно, что нищие блаженны. Но Царство Небесное у коров».

«Почему же оно не у богатых?» — спросил испытующе Заратустра, отгоняя коров, которые доверчиво обнюхивали миролюбивого проповедника.

«К чему испытуешь ты меня? — отвечал он. — Ты сам знаешь это лучше меня. Что же гнало меня к самым бедным, о Заратустра? Разве не отвращение к нашим богачам?

— к каторжникам богатства, извлекающим свои выгоды из всякого мусора, с холодными глазами, похотливыми мыслями, к этому отребью, от которого поднимается к небу зловоние,

— к этой раззолоченной, лживой черни, предки которой были воришками, или стервятниками, или тряпичниками, падкими до женщин, похотливыми и забывчивыми: ибо все они недалеко ушли от блудницы. —

Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»! Я разучился их отличать — и бежал я всё дальше и дальше, пока не пришел к этим коровам».

Так говорил миролюбивый проповедник, а сам тяжело пыхтел и потел при своих словах — так что коровы снова удивлялись. Но Заратустра, пока он так сурово говорил, с улыбкой смотрел ему в лицо и молча качал головою.

«Ты совершаешь над собою насилие, нагорный проповедник, когда употребляешь такие суровые слова. Для такой суровости не созданы ни твои уста, ни твои глаза.

И, как мне кажется, даже желудок твой: *ему* противны всякий гнев и всякая ненависть с пеною у рта. Твой желудок хочет более мягкой пищи: ты не из плотоядных.

Скорее кажешься ты мне травоядным и собирателем кореньев. Быть может, жуешь ты зерна. Во всяком случае, ты не склонен к плотским радостям и любишь мед».

«Ты разгадал меня, – отвечал добровольный нищий с облегченным сердцем. – Я люблю мед и жую зерна, ибо я ищу того, что приятно на вкус и делает дыхание чистым;

– а также что требует много времени, над чем целые дни трудятся рты кротких лентяев и тунеядцев.

Но дальше всех преуспели в этом эти коровы: они изобрели пережевывание и лежание на солнце. И они воздерживаются от всяких тяжелых мыслей, от которых пучит сердце».

«Ну что ж! – сказал Заратустра. – Тебе бы следовало увидеть и *моих* зверей, моего орла и мою змею, – равных им не существует теперь на земле.

Смотри, там дорога ведет к моей пещере; будь гостем ее этой ночью. И поговори со зверями моими о счастье зверей, –

– пока я сам не вернусь. А теперь меня спешно зовет от тебя крик о помощи. И найдешь ты новый мед у меня, в свежих янтарных сотах; ешь его!

Теперь простись скорее со своими коровами, странный, милый человек! как бы тебе тяжело это ни было. Ибо они лучшие друзья твои и учителя!» –

«За исключением одного, которого я люблю еще больше, – отвечал добровольный нищий. – Ты сам добр и лучше всякой коровы, о Заратустра!»

«Прочь уходи от меня! ты, низкий льстец! – закричал Заратустра со злобой. – Зачем портишь ты меня такой похвалой и медом лести?»

«Прочь, прочь от меня!» – закричал он еще раз и замахнулся своей палкой на нежного нищего; но тот проворно бежал от него.

Тень

Но едва убежал добровольный нищий и Заратустра остался опять один с собою, как услышал он позади новый голос, взывавший: «Стой! Заратустра! Подожди же! Ведь это я, о Заратустра, твоя тень!» Но Заратустра не остановился, ибо внезапная досада овладела им, что такая сутолока и толкотня у него в горах. «Куда же девалось уединение мое? — говорил он.

— Поистине, это становится слишком много для меня; эти горы кишат людьми, царство мое уже не от мира *сего*, мне нужны новые горы.

Моя тень зовет меня? Что мне до моей тени! Пусть бежит себе за мною! я — убегу от нее».

Так говорил Заратустра своему сердцу и бежал дальше. Но тот, кто был позади, следовал за ним, так что оказалось трое бегущих друг за другом, — впереди добровольный нищий, потом Заратустра и третьим, позади всех, его тень. Недолго бежали они так, скоро Заратустра осознал свою глупость и сразу стряхнул с себя всякую досаду и всякое отвращение.

«Как! — говорил он, — разве самые смешные вещи с давних пор не случались с нами, старыми отшельниками и святыми?

Поистине, глупость моя сильно выросла в горах! И вот теперь слышу я, как шесть старых ног глупцов топочут одна за другой!

Но разве Заратустра имеет право бояться какой-то тени? К тому же, кажется мне, ее ноги длиннее моих».

Так говоря, смеясь глазами и всем нутром своим, Заратустра остановился и быстро обернулся назад, — и смотрите, он чуть не опрокинул на землю своего преследователя, тень: так близко следовала она по пятам и так слаба была она. Ибо, когда он измерил ее глазами, он испугался, как перед внезапным призраком: так худ, черен, истощен и дряхл был этот преследователь.

«Кто ты? – спросил Заратустра резко. – Что делаешь ты здесь? И почему назвал ты себя моей тенью? Ты не нравишься мне».

«Прости меня, – отвечала тень, – что это я; и если я тебе не нравлюсь, ну что ж! о Заратустра, я хвалю тебя и твой хороший вкус.

Я – странник, который уже много ходил по пятам твоим, вечно в дороге, но без цели и без родины, так что мне, поистине, немногого недостает до вечного жида, разве только что не вечен я и не жид.

Как? Неужели я должен всегда быть в пути? Неприкаянный, увлекаемый и гонимый каждым ветром? О земля, ты стала для меня слишком круглой!

На всякой поверхности сидел я уже; как усталая пыль, спал я на зеркалах и оконных стеклах; всё берет от меня и ничто не дает, я становлюсь тощим, – почти похожу я на тень.

Но за тобой, о Заратустра, летал и бродил я дольше всего, и если я прятался от тебя, все-таки я был твоей верной тенью: где бы ни сел ты, садился и я.

С тобой обошел я самые далекие, самые холодные миры, как призрак, которому нравится бегать зимою по крышам и снегу.

Вместе с тобою стремился я ко всему запретному, самому дурному и дальнему; и если что-нибудь во мне добродетель, так это то, что не боялся я никакого запрета.

Вместе с тобою разбил я всё, что когда-либо чтило сердце мое, все пограничные камни и всех идолов опрокинул я и гонялся за самыми опасными желаниям, – поистине, по всем преступлениям пробежал я.

Вместе с тобою разучился я вере в слова, ценности и великие имена. Когда дьявол меняет кожу, не спадает ли тогда и имя его? ибо и оно кожа. И сам дьявол , быть может, – кожа.

«Нет истины, всё дозволено» – так говорил я себе. В самые холодные воды погружался я сердцем и головою. Ах, как часто стоял я поэтому нагой и красный, как рак!

Ах, куда девалось всё доброе, и весь стыд, и вся вера в добрых! Ах, куда девалась та изолгавшаяся невинность, которой некогда обладал я, невинность добрых и их благородной лжи!

Слишком часто, поистине, следовал я по пятам за истиной — и она ударяла меня по голове. Порой мне казалось, что я лгу, только тогда настигал я — истину.

Слишком многое прояснилось для меня, теперь меня уже ничто не касается. Нет в живых ничего, что я люблю, — как мог бы я еще любить самого себя?

«Жить, как мне нравится, или вовсе не жить» — так хочу я, так хочет даже самый святой. Но, увы! есть ли еще для *меня* — радость?

Есть ли еще у *меня* — цель? Гавань, куда бежит *мой* парус?

Добрый ветер? Ах, только тот, кто знает, *куда* он плывет, знает также, какой ветер — хорош и ему по пути.

Что еще осталось мне? Усталое дерзкое сердце, беспокойная воля, слабые крылья, разбитый хребет.

Это искание *своего* дома; о Заратустра, ты ведь знаешь, это искание было *моим* наказанием, оно пожирает меня.

«Где — *мой* дом?» О нем спрашиваю я, его ищу и искал, его не нашел. О вечное Везде, о вечное Нигде, о вечное — Напрасно!»

Так говорила тень, и лицо Заратустры вытягивалось при ее словах. «Ты — моя тень! — сказал он наконец с грустью. —

Немалая опасность грозит тебе, ты, свободный дух и странник! Плохой день был у тебя; смотри, чтобы не наступил еще худший вечер!

Таким беспокойным, как ты, может наконец и тюрьма показаться блаженством. Видел ли ты когда-нибудь, как спят заключенные преступники? Они спят спокойно, они наслаждаются своей обретенной безопасностью.

Берегись, чтобы тебя под конец не уловила в сети какая-нибудь узкая вера, жестокое, суровое заблуждение! Ибо теперь соблазняет и искушает тебя всё узкое и твердое.

Ты утратил цель; увы, как отшутишься и отмучишься ты от этой утраты? Вместе с ней — потерял ты и дорогу!

Ты, бедный, блуждающий мечтатель, уставший мотылек! не хочешь ли ты на этот вечер иметь отдых и пристанище? Так иди вверх в пещеру мою!

Эта дорога ведет к моей пещере. А теперь я снова убегаю от тебя. Уже ложится как будто тень на меня.

Я побегу один, чтобы опять стало светло вокруг меня. К тому же я еще долго должен быть весел и на ногах. А вечером будут у меня — танцевать!» —

Так говорил Заратустра.

В полдень

И Заратустра всё бежал, и не находил никого больше, и был один, продолжая встречать только себя, наслаждаясь и упиваясь своим одиночеством и думая о хорошем — целыми часами. В полдень, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое кругом было увито обильной любовью виноградной лозы и скрыто от себя самого; с него свешивались путнику пышные желтые гроздья. Тогда захотелось ему утолить небольшую жажду и сорвать одну кисть; но едва протянул он к ней руку, как овладело им другое желание, более сильное: лечь под деревом в самый полдень и уснуть.

Так и сделал Заратустра; и только он лег на землю, среди таинственной тиши пестрой травы, как тотчас забыл о своей небольшой жажде и заснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры: одно бывает необходимее другого. Только глаза его оставались открытыми: ибо они не могли досыта насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной лозы. Но, засыпая, так говорил Заратустра своему сердцу:

«Тише! Тише! Не стал ли мир совершенен? Что же происходит со мною?

Как нежный ветерок невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как перышко, так — сон танцует на мне.

Глаз не смыкает он мне, душу оставляет бодрствовать. Легок он, поистине! легок как перышко.

Он убеждает меня — я не знаю, как? Он касается внутри меня ласкающей рукою, он принуждает меня. Да, он принуждает мою душу потягиваться;

— какой она становится длинной и усталой, моя странная душа! Неужели вечер седьмого дня пришелся для нее как раз в полдень? Уж не блуждала ли она слишком долго, блаженная, среди добрых и зрелых вещей?

Она долго потягивается, — всё больше и больше! она лежит тихо, странная душа моя. Слишком много доброго вкусила она; эта золотая печаль гнетет ее, она кривит ее уста.

Как корабль, зашедший в самую тихую бухту свою, — и теперь опирающийся на землю, усталый от долгих странствий и неведомых морей. Разве земля не надежнее?

Когда такой корабль пристает к берегу, жмется к нему, — тогда достаточно, чтобы паук протянул от земли к нему свою паутину. В более крепкой веревке нет надобности.

Как усталый корабль в тихой бухте, так отдыхаю теперь и я вблизи земли, преданный, доверчивый, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями.

О счастье! О счастье! Не хочешь ли ты запеть, о душа моя? Ты лежишь в траве. Но теперь таинственный, торжественный час, когда ни один пастух не играет на своей свирели.

Берегись! Жаркий полдень спит на нивах. Не пой! Тише! Мир совершенен.

Не пой, птица лугов, о душа моя! Не шепчи даже! Смотри — кругом тишина! старый полдень спит, он шевелит губами; не пьет ли он каплю счастья —

— старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина? Счастье пробегает по нему, его счастье смеется. Так — смеется бог. Тише! —

«Для счастья, как мало надо для счастья!» — так говорил я когда-то и считал себя мудрым. Но это было злословием, *это* узнал я теперь. Мудрые дураки говорят лучше.

Всё самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновенье, миг — *малое*, вот что составляет род *лучшего* счастья. Тише!

— Что происходит со мною — чу! Не улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я — чу! в колодец вечности?

— Что происходит со мною? Тише! Меня кольнуло — о, горе! — в сердце? В самое сердце! О, разбейся, разбейся, сердце, после такого счастья, после такого укола!

— Как? Не стал ли мир сейчас совершенен? Круглым и зрелым? О золотой круглый диск, — куда летит он? Я бегу за ним! Тише!

Тише». (Тут Заратустра потянулся и почувствовал, что спит.)

«Вставай, ты, сонливец! — говорил он самому себе. — Ты, спящий в полдень! Ну, вставайте, старые ноги! Пора, давно настало время, еще добрый конец обратного пути остался вам. —

Теперь вы выспались, долго ли спали вы? Половину вечности! Ну, вставай теперь, мое старое сердце! Много ли нужно тебе времени после такого сна — чтобы проснуться?»

(Но тут он снова заснул; душа его противилась, защищалась и опять легла.) — «Оставь же меня! Тише! Не стал ли мир сейчас совершенен? О золотой круглый шар!» —

«Вставай, — говорил Заратустра, — ты, маленькая воровка, лентяйка! Как? Всё еще потягиваться, зевать, вздыхать и падать в глубокие колодцы?

Кто же ты, о душа моя!» (и тут испугался он, ибо солнечный луч упал с неба на его лицо).

«О небо надо мной, — сказал он, вздыхая, и сел, выпрямившись, — ты глядишь на меня? Ты вслушиваешься в странную душу мою?

Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на всё земное, — когда выпьешь ты эту странную душу, —

— когда, о родник вечности! ты, радостная, ужасающая полуденная бездна! когда втянешь ты обратно в себя мою душу?»

Так говорил Заратустра и поднялся с ложа своего у дерева, как будто после странного опьянения; и смотрите, солнце всё еще стояло прямо над его головою. Из этого кто-то мог бы справедливо заключить, что Заратустра в тот раз спал недолго.

Приветствие

Лишь поздно вечером, после долгих напрасных исканий и блужданий, Заратустра вернулся к своей пещере. Но когда он остановился перед ней не более как в двадцати шагах, случилось то, чего он теперь ожидал менее всего: снова услышал он великий *крик о помощи*. И, поразительно! на этот раз крик исходил из его собственной пещеры. Но это был долгий, разноголосый, странный крик, и Заратустра ясно различал, что он состоит из многих голосов: только издали он звучал как крик из одних только уст.

Тогда Заратустра бросился к своей пещере, и вот какое зрелище ожидало его тотчас после этого концерта! Там сидели в сборе все, мимо кого он проходил днем: король справа и король слева, старый чародей, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осёл; а самый безобразный человек надел на себя корону и опоясался двумя красными поясами – ибо он любил, как все безобразные, приодеваться и прихорашиваться. Посреди же этого печального общества стоял орел Заратустры, взъерошенный и тревожный, ибо он должен был на многое отвечать, на что у гордости его не было ответа, – а мудрая змея висела вокруг его шеи.

На всё это посмотрел Заратустра с великим удивлением; затем он стал разглядывать каждого из своих гостей со снисходительным любопытством, читал в душе их и удивлялся снова. Тем временем собравшиеся поднялись со своих мест и почтительно ожидали, чтобы Заратустра заговорил. Заратустра же говорил так:

«Вы, отчаявшиеся! Вы, странные люди! Это *ваш* крик о помощи слышал я? И теперь я знаю, где искать того, кого напрасно искал я сегодня, – *высшего человека*:

– в моей собственной пещере сидит он, высший человек! Но чему удивляюсь я! Не я ли сам привлек его медовыми жертвами и хитрыми приманками счастья моего?

Но кажется мне, что вы не годитесь для общества, вы, взывающие о помощи, вы смущаете сердце друг друга, сидя здесь вместе. Сперва должен придти некто,

—некто, который вновь заставит вас смеяться, добрый, веселый шут, танцор, ветер, сорвиголова, какой-нибудь старый дурень—как кажется вам?

Простите мне, вы, отчаявшиеся, что я обращаюсь к вам с такой ничтожной речью, недостойной, поистине, таких гостей! Но вы не догадываетесь, *что* делает задорным мое сердце, —

—вы сами и вид ваш, простите меня! Ибо всякий, кто смотрит на отчаявшегося, становится отважным. Чтобы утешить отчаявшегося—для этого мнит себя каждый достаточно сильным.

Мне самому придали вы эту силу,—благой дар, мои высокие гости! Настоящий подарок гостей! Ну что ж, не сердитесь, что я предлагаю вам свой.

Здесь царство мое и владения мои—но всё мое в этот вечер и эту ночь должно быть и вашим. Пусть звери мои служат вам; пусть будет пещера моя отдохновением для вас!

В моем доме, под моим кровом никто не должен отчаиваться, в моих владениях защищаю я каждого от диких зверей его. И первое, что предлагаю я вам,—безопасность!

Второе же—мой мизинец. И если *он* уже у вас, возьмите и всю руку, ну что ж! и сердце впридачу! Добро пожаловать, добро пожаловать, желанные гости мои!»

Так говорил Заратустра и смеялся от любви и злобы. После этого приветствия гости его вновь поклонились ему в почтительном молчании; король же справа отвечал ему от их имени.

«По тому, о Заратустра, как ты предложил нам руку и приветствие свое, узнаем мы в тебе Заратустру. Ты унизился перед нами, почти оскорбил наше почтение к тебе, —

—но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? *Это* ободряет нас, услада это для глаз и сердец наших.

Чтобы видеть одно это, мы охотно поднялись бы и на более высокие горы. Ибо как любители зрелищ пришли мы, мы хотели видеть, что делает ясным печальный взор.

И вот, уже прекратился всякий крик наш о помощи. Уже открыты мысли и сердца наши и восхищены. Еще немного—и наше мужество станет задорным.

Ничего, о Заратустра, не растет на земле более радостного, чем высокая, сильная воля: она прекраснейшее из ростков ее. Целый ландшафт оживляется от одного такого дерева.

С пинией сравниваю я, о Заратустра, всякого, кто вырастает подобно тебе: высокий, молчаливый, твердый, одинокий, сделанный из лучшего гибкого дерева, прекрасный, —

— простирающий крепкие зеленые ветви к *своему* господству, твердо вопрошающий ветры и бурю и всё, что от века привыкло к высотам,

— еще тверже отвечающий, повелевающий, победоносный; о, кто бы не поднялся на высокие горы, чтобы посмотреть на такую поросль?

Видя дерево твое, о Заратустра, оживляется и печальный, и неудавшийся, при виде тебя обретает уверенность беспокойный и исцеляется сердце его.

И поистине, на гору твою и к дереву твоему обращены сегодня многие взоры; возникла великая тоска, и многие научились спрашивать: кто такой Заратустра?

И все, кому ты некогда по каплям вливал в уши песню свою и мед свой, все, кто прятался, кто жил одиноко или одиночествовал вдвоем, заговорили сразу к сердцу своему:

«Жив ли еще Заратустра? Не стоит больше жить, всё равно, всё тщетно, — или мы должны жить с Заратустрой!»

«Почему не приходит тот, кто так давно возвестил о себе? — так вопрошают многие. — Не поглотило ли его одиночество? Или мы должны сами пойти к нему?»

Теперь само одиночество истлело и распадается, подобно могиле, которая не может больше держать мертвецов своих. Всюду видны воскресшие.

Теперь волны поднимаются всё выше и выше вокруг горы твоей, о Заратустра. И как ни высока твоя высота, многие должны подняться к тебе; твоему челну уже недолго оставаться на суше.

И то, что мы, отчаявшиеся, теперь пришли в пещеру твою и больше не отчаиваемся, — служит приметой и предзнаменованием, что лучшие на пути к тебе, —

— ибо он сам на пути к тебе, последний остаток бога среди людей, а именно: все люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения,

—все, кто не хочет жить, если только не научится снова *надеяться*, — если только не научится у тебя, о Заратустра, *великой* надежде!»

Так говорил король справа и схватил руку Заратустры, чтобы поцеловать ее; но Заратустра уклонился от его почитания и отступил с испугом, молча и как бы внезапно улетая в широкую даль. Но немного спустя был он снова с гостями своими, смотрел на них ясным, испытующим взором и говорил:

«Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не *вас* ожидал я здесь, в этих горах».

(«По-немецки и ясно? Боже упаси! — сказал тут в сторону король слева. — Заметно, он не знает милых немцев, этот мудрец с Востока!

Но он имеет в виду «по-немецки и грубо» — ну что ж! По нынешним временам это еще не худший вкус!»)

«Пусть и будете вы, вместе взятые, высшими людьми, — продолжал Заратустра, — но для меня — вы недостаточно высоки и недостаточно сильны.

Для меня — это значит: для того неумолимого, что молчит во мне, но не всегда будет молчать. Если вы и принадлежите мне, то все же не так, как моя правая рука.

Ибо кто сам стоит на больных и слабых ногах, подобно вам, тот хочет прежде всего, знает он это или скрывает от себя, — чтобы *щадили* его.

Но ни рук моих, ни ног моих не щажу я, *я не щажу своих воинов*; как могли бы вы годиться для *моей* войны?

С вами погубил бы я всякую победу. Иные из вас упали бы, лишь заслышав громкий бой барабанов моих.

И вы недостаточно прекрасны для меня и недостаточно благородны. Мне нужны чистые и гладкие зеркала для учения моего, а на вашей поверхности искажается даже мой собственный образ.

Ваши плечи давит немало тяжестей, немало воспоминаний; немало злых карликов сидит, скорчившись, в закоулках ваших. Даже в вас есть скрытая чернь.

И пусть вы высоки и более высокого рода — многое в вас криво и безобразно. Нет в мире кузнеца, который мог бы исправить и выпрямить вас.

Вы только мост; пусть высшие перейдут через вас! Вы — ступени; не сердитесь же на того, кто по вам поднимается на *свою* высоту!

Быть может, из семени вашего некогда вырастет настоящий сын и совершенный наследник мой, — но это еще далеко. Не вам принадлежит наследство и имя мое.

Не вас жду я здесь, в этих горах, не с вами спущусь я вниз в последний раз. Лишь как предзнаменование пришли вы, что высшие люди уже на пути ко мне, —

— *не* люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения и не те, кого назвали вы последним остатком бога.

— Нет! Нет! Трижды нет! *Других* жду я здесь, в этих горах, и без них не шевельну я ногою, чтобы уйти отсюда,

— высших, более сильных, победоносных, более веселых, таких, у кого соразмерно построены тело и душа: *смеющиеся львы* должны придти!

О желанные гости мои, странные люди, — неужели вы еще ничего не слышали о детях моих? И что они на пути ко мне?

Говорите же мне о садах моих, о блаженных островах моих, о новом прекрасном потомстве моем, — почему не говорите вы мне о них?

Об этом даре прошу я у любви вашей, чтобы говорили вы мне о детях моих. Через них богат я, через них обеднел я; чего не отдал я, —

— чего не отдал бы я, чтобы иметь лишь одно: *этих* детей, *эти* живые насаждения, *эти* живые деревья жизни воли моей и моей высшей надежды!»

Так говорил Заратустра и внезапно прервал речь свою: ибо им овладела тоска, и он сомкнул глаза и уста, согласно движению своего сердца. И все гости молчали, неподвижные и смущенные; один только старый прорицатель подавал знаки рукою и выражением лица своего.

Вечерняя трапеза

На этом месте прорицатель оборвал приветствие Заратустры и гостей его: он протеснился вперед, как тот, кому нельзя терять времени, схватил руку Заратустры и воскликнул: «Но Заратустра!

Одно бывает необходимее другого, так говоришь ты сам; ну что ж, одно для *меня* теперь необходимее всего остального.

Кстати, разве не пригласил ты меня на *трапезу*? Здесь находятся многие, совершившие длинный путь. Не речами же хочешь ты накормить нас?

Все вы уже слишком много говорили о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях — но никто не вспомнил о *моей* нужде, об опасности умереть с голоду». —

(Так говорил прорицатель; и когда звери Заратустры услышали эти слова, они со страху убежали. Ибо они увидели, что всего принесенного ими в течение дня будет недостаточно, чтобы набить желудок одному только прорицателю.)

«А также опасность умереть от жажды, — продолжал прорицатель. — И хотя я слышу, что здесь журчит вода, подобно речам мудрости, в изобилии и неустанно, я — хочу *вина*!

Не всякий, как Заратустра, пьет от рожденья одну воду. Вода не годится для усталых и увядших: *нам* подобает вино, — только *оно* дает внезапное выздоровление и неожиданное здоровье!»

При этом удобном случае, пока прорицатель требовал вина, удалось и молчаливому королю слева также промолвить слово. «О вине, — сказал он, — *мы* позаботились, я с моим братом, королем справа: у нас достаточно вина — осёл целиком нагружен им. Так что недостает лишь хлеба».

«Хлеба? — отвечал Заратустра, смеясь. — Как раз хлеба и не бывает у отшельников. Не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят, а их у меня два:

— пусть *их* скорее заколют и приправят шалфеем: так люблю я. Также нет недостатка в кореньях и плодах, год-

ных даже для лакомок и гурманов; есть также орехи и другие загадки, чтобы пощелкать.

Мы скоро устроим знатную трапезу. Но кто хочет в ней участвовать, должен также приложить руку, даже короли. Ибо у Заратустры даже король может быть поваром».

Это предложение пришлось всем по сердцу; только добровольный нищий был против мяса, вина и пряностей.

«Слушайте-ка этого чревоугодника Заратустру! — сказал он шутливо. — Для того ли идут в пещеры и на высокие горы, чтобы устраивать такие трапезы?

Теперь понимаю я, чему он некогда учил нас, говоря: «Хвала малой бедности!» И почему он хочет избавиться от нищих».

«Будь весел, как я, — отвечал Заратустра. — Оставайся при своих привычках, превосходный человек! жуй свои зерна, пей свою воду, хвали свою кухню — если она веселит тебя!

Я закон только для моих, а не закон для всех. Но кто принадлежит мне, должен иметь крепкие кости и легкие ноги, —

— находить удовольствие в войнах и празднествах, а не быть нелюдимом и мечтателем-дурнем, быть готовым к самому трудному как к празднику своему, быть здоровым и невредимым.

Лучшее принадлежит моим и мне; и если не дают нам его, мы берем его сами: лучшую пищу, самое чистое небо, самые сильные мысли, самых прекрасных женщин!» —

Так говорил Заратустра; но король справа заметил в ответ: «Странно! Слыханы ли столь умные речи из уст мудреца?

И поистине, очень редко встречается мудрец, который вдобавок был бы умен и не был бы ослом».

Так говорил король справа и удивлялся; осёл же злорадно прибавил к его речи И-А[1]. Это и было началом той продолжительной трапезы, которая названа «тайной вечерей» в исторических книгах. Но за нею не говорилось ни о чем другом, как *о высшем человеке.*

1 Немецкое «ja» — «да» (*прим. В. Изразцова*).

О высшем человеке

1.

Когда в первый раз пошел я к людям, совершил я безумие отшельника, великое безумие: я явился на базарную площадь.

И когда я говорил ко всем, я ни к кому не говорил. Но к вечеру канатные плясуны были моими товарищами, и трупы; и я сам был почти что трупом.

Но с новым утром пришла ко мне новая истина — тогда научился я говорить: «Что мне до базара и черни, до шума и длинных ушей ее!»

Вы, высшие люди, научитесь же у меня: на базаре не верит никто в высших людей. И если хотите вы там говорить, ну что ж! Но чернь моргает: «Мы все равны».

«Вы, высшие люди, — так моргает чернь, — не существует высших людей, мы все равны, человек есть человек, перед богом — мы все равны!»

Перед богом! — Но теперь умер этот бог. А перед чернью мы не хотим быть равны. Вы, высшие люди, уходите с базара!

2.

Перед богом! — Но теперь умер этот бог! Вы, высшие люди, этот бог был вашей величайшей опасностью.

С тех пор как лежит он в могиле, вы впервые воскресли. Только теперь наступает великий полдень, только теперь высший человек становится — господином!

Поняли вы это слово, о братья мои? Вы испугались: головокружение у сердца вашего? Не зияет ли здесь бездна перед вами? Не лает ли здесь адский пес на вас?

Ну что ж! Вперед! Высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер; теперь хотим *мы*, — чтобы жил сверхчеловек.

3.

Самые заботливые вопрошают сегодня: «Как сохраниться человеку?» Заратустра же спрашивает, первый и единственный: «Как *превзойти* человека?»

К сверхчеловеку лежит сердце мое, *он* для меня первое и единственное,—а *не* человек: не ближний, не самый бедный, не самый страждущий, не самый лучший. —

О братья мои, если что могу я любить в человеке, так это только то, что он есть переход и гибель. И даже в вас есть многое, что пробуждает во мне любовь и надежду.

Ваша ненависть, о высшие люди, пробуждает во мне надежду. Ибо великие ненавистники суть великие почитатели.

Ваше отчаяние достойно великого уважения. Ибо вы не научились смиряться, вы не научились маленькому благоразумию.

Ибо теперь маленькие люди стали господами: они все проповедуют смирение, скромность, благоразумие, старание, осторожность и нескончаемое «и так далее» маленьких добродетелей.

Всё женское, всё рабское и особенно вся мешанина-чернь: *это* хочет теперь стать господином человеческой судьбы—о отвращение! отвращение! отвращение!

Оно неустанно спрашивает: «Как лучше, дольше и приятнее сохраниться человеку?» И потому—они господа сегодняшнего дня.

Превзойдите этих господ сегодняшнего дня, о братья мои,—этих маленьких людей: *они* величайшая опасность для сверхчеловека!

Превзойдите, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумие, бесконечно мелкие опасения, кишенье муравьев, жалкое довольство, «счастье большинства»! —

И лучше отчаивайтесь, но не сдавайтесь. Поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, высшие люди! Ибо так живете *вы*—лучше всего!

4.

Есть ли в вас мужество, о братья мои? Есть ли отвага? *Не* мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которое уже не смотрит никакой бог?

Холодные души, мулы, слепые и пьяные — их не называю я отважными. Отважен тот, кто знает страх, но *смиряет* страх, кто смотрит в бездну, но с *гордостью.*

Кто смотрит в бездну, но глазами орла, кто *хватает* бездну когтями орла — в том есть мужество. —

5.

«Человек зол» — так говорили мне в утешение все мудрейшие. Ах, если бы это и сегодня было еще правдой! Ибо зло лучшая сила человека.

«Человек должен становиться лучше и злее» — так учу *я.* Самое злое нужно для блага сверхчеловека.

Может это и было благом для того проповедника маленьких людей, что страдал и нес он грехи человеческие. Но я радуюсь великому греху как великому *утешению* своему. —

Это сказано не для длинных ушей. Не всякое слово ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи; копыта овец не должны топтать их!

6.

О высшие люди, не думаете ли вы: я здесь, чтобы исправить то, что сделали вы дурно?

Или что хочу я отныне уложить вас, страдающих, спать поудобнее? Или указать вам, беспокойным, сбившимся с пути, забравшимся неизвестно куда, новые, более удобные тропинки?

Нет! Нет! Трижды нет! Всё больше лучших из рода вашего должно гибнуть, — ибо вам должно становиться всё хуже и труднее. Только так —

— только так вырастает человек до *той* высоты, где молния поражает и убивает его: достаточно высоко для молнии!

На немногое, на долгое, на дальнее направлена мысль моя и тоска моя; что мне до ваших маленьких, многочисленных и коротких невзгод!

Вы недостаточно страдаете! Ибо вы страдаете за себя, вы еще не страдали *за человека*. Вы солгали бы, если б сказали иначе! Никто из вас не страдает за то, за что страдал *я*. —

7.

Мне недостаточно, чтобы молния не вредила больше. Не отвести хочу я ее, — она должна научиться работать — для *меня*. —

Моя мудрость собирается уже давно, подобно туче, она становится всё спокойнее и темнее. Так бывает со всякой мудростью, которая должна *однажды* родить молнии. —

Для этих сегодняшних людей не хочу я быть *светом*, ни называться им. *Их* — хочу я ослепить; молния мудрости моей! Выжги им глаза!

8.

Не желайте ничего свыше сил ваших: дурная лживость присуща тем, кто желает свыше сил своих.

Особенно когда они желают великих вещей! Ибо они пробуждают недоверие к великим вещам, эти ловкие фальшивомонетчики, эти актеры —

— пока наконец не изолгутся они, косоглазые, снаружи раскрашенные, а внутри разъедаемые червями, укутавшиеся громкими словами, показными добродетелями, блеском фальшивых дел.

Будьте особенно осторожны с ними, высшие люди! Ибо нет для меня сегодня ничего более драгоценного и более редкого, чем честность.

Не принадлежит ли это Сегодня черни? Чернь ведь не знает, что велико, что мало, что прямо и правдиво: она невинно криводушна, она лжет всегда.

9.

Будьте сегодня недоверчивы, высшие люди, вы, мужественные и открытые сердцем! И держите в тайне основания ваши! Ибо это Сегодня принадлежит черни.

Если чернь научилась чему-то верить без оснований, кто мог бы разубедить ее в этом — основаниями?

На базаре убеждают жестами. Но основания делают чернь недоверчивой.

И если там истина одержала победу, спросите себя со здоровым недоверием: «Какое же могучее заблуждение боролось за нее?»

Остерегайтесь также ученых! Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них холодные, иссохшие глаза, перед ними всякая птица лежит ощипанной.

Они кичатся тем, что не лгут, — но неспособность ко лжи далеко еще не любовь к истине. Остерегайтесь!

Отсутствие лихорадки далеко еще не познание! Выстуженным умам не верю я. Кто не может лгать, не знает, что есть истина.

10.

Если хотите вы высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте *нести* себя, не садитесь на чужие плечи и головы!

Но ты сел на коня? Ты быстро мчишься вверх, к своей цели? Ну что ж, мой друг! Твоя хромая нога также сидит на лошади вместе с тобой!

Когда ты будешь у цели, когда ты спрыгнешь с коня своего, — на *высоте* своей, высший человек, — ты и споткнешься!

11.

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Беременность бывает только своим ребенком.

Не поддавайтесь на убеждения и уговоры! Кто *ваш* ближний? И если действуете вы «для ближнего», — вы всё же созидаете не для него!

Разучитесь этому «Для», вы, созидающие: ибо ваша добродетель требует не иметь никакого дела с этими «для», «ради» и «потому что». Заткните уши свои от этих поддельных маленьких слов.

«Для ближнего» — это добродетель только маленьких людей; у них говорят: «свой своему» и «рука руку моет» — у них нет ни права, ни силы для *вашего* своекорыстия!

В своекорыстии вашем, вы, созидающие, есть осторожность и предусмотрительность беременной женщины! Чего никто еще не видел глазами, — плод — охраняет, бережет и питает всю вашу любовь.

В ребенке вашем вся ваша любовь и добродетель! Ваше дело, ваша воля — «ближний» *ваш*; не позволяйте внушать себе ложные ценности!

12.

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Кто должен родить, тот болен; но кто родил, тот нечист.

Спросите у женщин: родят не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кур и поэтов кудахтать.

Вы, созидающие, в вас есть много нечистого. Это потому, что вы должны быть матерями.

Новорожденный: о, как много новой грязи появилось на свет! Посторонитесь! И кто родил, должен омыть душу свою!

13.

Не будьте добродетельны свыше сил своих! И не требуйте от себя невероятного!

Ходите по стопам, где уже ходила добродетель отцов ваших! Как могли бы вы подняться ввысь, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами?

Но кто хочет быть первенцем, пусть смотрит, как бы не сделаться ему последышем! И где есть пороки отцов ваших, там не должны вы притворяться святыми!

Что если бы потребовал от себя целомудрия тот, чьи отцы посещали женщин и любили крепкие вина и диких свиней?

Это было бы глупостью! Для него, поистине, уже много, если будет он мужем одной, двух или трех женщин.

И если бы основывал он монастыри и писал над дверями: «дорога к святому», — я всё же сказал бы: к чему! ведь это новая глупость!

Он основал для себя самого смирительный и странноприимный дом, — на здоровье! Но я не верю этому.

В уединении растет то, что каждый приносит в него, даже внутренняя скотина. Поэтому отговариваю я многих от одиночества.

Существовало ли до сих пор на земле что-нибудь более грязное, чем пустынники? *Около них* творилась не только дьявольщина, но и свинство.

14.

Робкими, пристыженными, неловкими, похожими на тигра, которому не удался прыжок: такими, высшие люди, видел я часто вас, крадущихся стороною. *Бросок* костей не удался вам.

Но что с того, вы, играющие в кости! Вы не научились играть и смеяться, как надо играть и смеяться! Не всегда ли сидим мы за большим столом насмешек и игр?

И если вам не удалось великое, значит ли это, что вы сами — не удались? И если не удались вы сами, не удался и — человек? Если же не удался человек — ну что ж! вперед!

15.

Чем выше вещь родом, тем реже она удается. О высшие люди, разве не все вы — не удались?

Не падайте духом, что с того! Сколь многое еще возможно! Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться!

Что же удивительного, что не удались вы или что удались наполовину, вы, полуразбитые! Не бьется и не толкается ли в вас — *будущее* человека?

Всё, что в человеке самое далекое, самое глубокое, звездоподобная высота и необыкновенная сила его, — не бурлит ли всё это в котле вашем?

Что же удивительного, если иной котел разбивается! Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться! О высшие люди, сколь многое еще возможно!

И, поистине, сколь многое удалось уже! Как богата эта земля малыми, хорошими, совершенными вещами, — вполне удавшимися!

Окружайте себя малыми, хорошими, совершенными вещами, высшие люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце. Совершенное учит надеяться.

16.

Что было на земле доселе самым тяжким грехом? Не слова ли того, кто говорил: «Горе здесь смеющимся!»

Разве не нашел он на земле никаких оснований для смеха? Значит, искал он плохо. Даже дитя находит здесь основания.

Он — недостаточно любил: иначе полюбил бы и нас, смеющихся! Но он ненавидел и позорил нас, вой и скрежет зубовный обещал он нам.

Надо ли тотчас проклинать там, где не любишь? Это — кажется мне дурным вкусом. Но так делал этот безусловный. Он происходит из черни.

И сам недостаточно любил: иначе он меньше сердился бы, что не любят его. Всякая великая любовь *хочет* не любви — она хочет большего.

Сторонитесь всех этих безусловных! Это бедный, больной род, род черни: они дурно смотрят на эту жизнь, у них дурной глаз на эту землю.

Сторонитесь всех этих безусловных! У них тяжелая поступь и темные сердца, — они не умеют танцевать. Как могла бы земля быть для них легкой!

17.

Кривыми путями приближаются все хорошие вещи к своей цели. Они выгибаются, как кошки, они мурлычут про себя от близкого счастья, — все хорошие вещи смеются.

Походка обнаруживает, идет ли кто по *своему* пути, – смотрите, как я иду! Но кто приближается к цели своей, тот танцует.

И поистине, статуей не сделался я, еще не стою неподвижно, тупо, окаменело, как столб; я люблю быстрый бег.

И хотя на земле топь и кромешная печаль, – у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду.

Возвысьте сердца ваши, братья мои, выше! всё выше! И не забывайте о ногах! Поднимайте также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше – стойте на голове!

18.

Этот венок смеющегося, этот венок из роз, – я сам надел на себя этот венок, я сам назвал священным свой смех. Никого другого не нашел я достаточно сильным для этого.

Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-легкомысленный:

Заратустра вещий словом, Заратустра вещий смехом, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки и прыжки в сторону; я сам надел на себя этот венок!

19.

Возвысьте сердца ваши, братья мои, выше! всё выше! И не забывайте о ногах! Поднимайте и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше – стойте на голове!

Бывают и в счастье тяжеловесные звери, есть неуклюжие от рождения. Они делают смешные усилия, как слон, старающийся стоять на голове.

Но лучше одуреть от счастья, чем одуреть от несчастья, лучше неуклюже танцевать, чем ходить, хромая. Учитесь же у мудрости моей: даже у худшей вещи две хорошие изнанки, –

– даже у худшей вещи хорошие ноги для танцев; так учитесь же сами, высшие люди, становиться на настоящие ноги свои!

Разучитесь унынию и всякой печали черни! О, какими печальными кажутся мне сегодня ее шуты! Но это Сегодня принадлежит черни.

20.

Подражайте ветру, вырывающемуся из своих горных ущелий: под звуки своей свирели хочет он танцевать, моря дрожат и прыгают под стопами его.

Хвала доброму неукротимому духу; он дает крылья ослам, доит львиц, он приходит, как ураган, для всякого Сегодня и всякой черни, —

—он враг всем чертополошным и взбалмошным головам, всем увядшим листьям и сорным травам; хвала этому духу бурь, дикому, доброму и свободному, что танцует по болотам и по печали, как по лугам!

Что ненавидит чахлых псов из черни и всякое неудачное мрачное отродье; хвала этому духу всех свободных умов, смеющейся буре, засыпающей глаза пылью всем, кто видит лишь черное и сам покрыт язвами!

Высшие люди, ваше худшее в том, что все вы не научились танцевать, как надо танцевать, —танцевать выше самих себя! Что с того, что вы не удались!

Сколь многое еще возможно! Так *научитесь* же смеяться выше самих себя! Возвысьте сердца ваши, вы, хорошие танцоры, выше! всё выше! И не забывайте о добром смехе!

Этот венок смеющегося, этот венок из роз, —вам, братья мои, кидаю я этот венок! Смех назвал я священным; высшие люди, *научитесь* же—смеяться!

Песнь уныния

1.

Когда Заратустра говорил эти речи, стоял он близко ко входу в свою пещеру; но с последними словами ускользнул он от гостей и выбежал на короткое время на воздух.

«О чистые запахи, — воскликнул он, — о блаженная тишина вокруг меня! Но где звери мои? Сюда, сюда, орел мой и змея моя!

Скажите мне, звери мои: эти высшие люди все вместе — быть может, они *пахнут* нехорошо? О чистый запах, окружающий меня! Теперь только знаю и чувствую я, как люблю вас, звери мои».

И Заратустра повторил еще раз: «Я люблю вас, звери мои!» Орел же и змея приблизились к нему, когда он произнес эти слова, и подняли на него свои взоры. Так стояли они тихо втроем и вдыхали и втягивали в себя чистый воздух. Ибо воздух здесь, снаружи, был лучше, чем у высших людей.

2.

Но едва покинул Заратустра пещеру свою, как поднялся старый чародей, лукаво оглянулся и сказал: «Он вышел!

И вот уже, высшие люди, — позвольте и мне, подобно ему, пощекотать вас этим хвалебным и лестным именем — вот уже овладевает мною злой дух, обманщик и чародей, мой демон уныния,

— до глубины души противник этого Заратустры, — простите это ему! Теперь *хочет* он показать вам свои чары, ибо настал *его* час: тщетно борюсь я с этим злым духом.

Всем вам, какое бы почитание ни воздавали вы себе на словах и ни называли себя «свободными духом», или «правдивыми», или «кающимися духом», или «освобожденными из оков», или «великими тоскующими», —

— всем вам, страдающим, подобно мне, *великим отвращением*, для кого умер старый бог, а новый даже не лежит

еще в колыбели и в пеленках, — всем вам мил мой дух и демон-чародей.

Я знаю вас, высшие люди, я знаю его, — я знаю также этого демона, которого люблю против воли, этого Заратустру: он сам часто кажется мне похожим на прекрасную маску святого,

— похожим на новый удивительный маскарад, в котором находит удовольствие мой злой дух, мой демон уныния — я люблю Заратустру, часто кажется мне, ради моего злого духа. —

Но *он* уже овладевает мною и угнетает меня, этот дух уныния, этот демон вечерних сумерек; и поистине, высшие люди, ему хочется —

— шире раскройте глаза! — ему хочется придти *нагим*, мужчиной или женщиной, еще не знаю я; но он идет, он гнетет меня, горе! раскройте чувства ваши!

День отзвучал, для всех вещей наступает вечер, даже для лучших вещей; слушайте теперь и смотрите, высшие люди, каков этот демон, мужчина ли, женщина ли, этот дух вечернего уныния!»

Так говорил старый чародей, лукаво оглянулся и схватил свою арфу.

3.

Когда яснеет воздух и на землю,
Как утешение, роса нисходит
Стопой невидимой, неслышной,
Как всё несущее успокоенья сладость, —
Ты вспомнишь ли, горячая душа, —
Какою жаждою томилась ты когда-то
По ниспадающим с небес слезам-росинкам,
Усталая, в изнеможенье жалком,
Под злыми взглядами спускавшегося солнца,
Спешившего тропинкой пожелтевшей
Злорадно ослеплявшими лучами
Между дерев, черневших вкруг меня.

Ты истины жених? Ты? — тешились они. —
Нет, ты поэт, и только.
Ты хищный, лживый ползающий зверь,
Который должен лгать,
Под маской хитрой жертву карауля,
Сам маска для себя
И сам себе добыча.
И это истины жених? О нет!
Лишь шут, поэт, и только!
Хитро болтающий под маскою затейной,
Ты, рыскающий вкруг, карабкаясь, всползаешь —
По ложным из нагроможденных слов мостам,
По лживым радугам среди небес обманных.
Лишь шут, поэт, и только!

И это — истины жених? О нет!
Ты не стоишь холодный, недвижимый,
Как образ божества, спокойный,
Как изваяние его пред храмом,
Как врат Господних страж...
Ты добродетельной устойчивости враг,
Не в храмах дома ты, а в дикой чаще,
Ты полн упрямого, кошачьего стремленья,
Рад выпрыгнуть в окно под всякий случай
И лесу девственному рад кричать приветно,
Что в чаще непролазной ты носился.
Средь пестрых хищников в косматых шкурах,
Греховной красоты, здоровья полный, —
Что, сладострастно ноздри раздувая,
Насмешливый в блаженстве кровожадном,
Ты хищничал и крался, полный лжи.

Порой, орлу подобно, с высоты
Уставив в глубину недвижный взгляд,
В свое владенье, в пропасть смотришь долго,
Как, вглубь стремясь, она всё ниже, вниз
Змеится кольцами, спускаясь внутрь, —
И вдруг
Затем
В падении отвесном

Полет, как меч, направив,
В ягнят ударил ты,
Стремительно бросаясь с хищным жаром
Терзать ягнят
Со злобой против всех овечьих душ
И яростно кипя на всё, что смотрит
Овцеподобно, ягнеоко и курчаво,
С приветной тупостью ягнят молочных.

Вот так
Пантеры свойств, орлиных качеств
Исполнены поэта ощущенья,
Они твои под тысячью личин.
Твои, поэт и шут!

Ведь это ты, признавший в человеке
Так безразлично бога и овцу,
И, божество терзая в человеке,
В нем также и овцу терзаешь ты.
Терзаешь, радуясь.

Твое блаженство в этом,
Блаженство злой пантеры и орла,
Блаженство шута и поэта.

Когда яснеет воздух и луна
Серпом зеленоватым между тучек,
Среди полос пурпурных вдруг мелькнувши,
Прокрадется завистливо, как враг,
Дневного света враг, —
Она всё ближе, ближе подступает,
Подрезывая тайно, постепенно
Ковры из роз, гирляндами висящих,
Пока цветы с головкой побледневшей
Не опрокинутся в ночную тьму.

Так я упал когда-то с высоты,
Где в сновиденьях правды я носился —
Весь полный ощущений дня и света,
Упал я навзничь в тьму вечерней тени,

Испепеленный правдою одною
И жаждущий единой этой правды. –
Ты помнишь ли еще, горячая душа,
Как мы тогда томились этой жаждой,
Томились тем, что ты в изгнанье вечном,
От всякой правды далеко,
Лишь шут, поэт, и только.

О науке

Так пел чародей; и все собравшиеся попали, как птицы, незаметно в сети его хитрого, унылого сладострастия. Только совестливый духом не был пойман: он быстро выхватил арфу у чародея и воскликнул: «Воздуху! Впустите чистого воздуху! Впустите Заратустру! Ты делаешь эту пещеру удушливой и ядовитой, ты, злой старый чародей!

Лживый и утонченный, ты соблазняешь к неведомым страстям и пустыням. И горе, если такие, как ты, поднимают столько шума вокруг *истины*!

Горе всем свободным умам, которые не остерегаются *таких* чародеев! Прощай их свобода: ты зовешь и манишь назад, в темницы, —

—ты, старый, унылый демон, в жалобе твоей слышится манящая свирель, ты похож на тех, кто похвалой целомудрию призывает тайно к разврату!»

Так говорил совестливый; старый же чародей оглядывался вокруг, наслаждаясь победой, и оттого проглотил досаду, причиненную ему совестливым. «Помолчи! — сказал он смиренным голосом. — Хорошие песни должны хорошо отзываться в сердцах; после хороших песен надо долго молчать.

Так поступают все эти высшие люди. Но ты, должно быть, мало понял из песни моей? В тебе очень мало от духа чародея».

«Ты хвалишь меня, — возразил совестливый, — отделяя меня от себя; ну что ж! Но вы, остальные, что вижу я? Вы все сидите здесь с похотливыми глазами —

о свободные души, куда девалась свобода ваша! Вы, кажется мне, похожи на тех, кто долго смотрел на развратных женщин, нагих и танцующих: ваши души сами танцуют!

В вас, высшие люди, много того, что чародей называет своим злым духом обмана и чар; мы различны.

И поистине, мы достаточно говорили и думали вместе, прежде чем Заратустра вернулся в пещеру свою, достаточно, чтобы я знал: мы *действительно* различны.

Мы *ищем* различного даже здесь, наверху, вы и я. Я же ищу *больше устойчивости*, потому пришел я к Заратустре. Ибо он самая крепкая башня и воля —

— теперь, когда всё колеблется, когда вся земля дрожит. Но когда я вижу, какие вы делаете глаза, я скорее поверю, что вы ищете *больше неустойчивости*,

— больше содрогания, больше опасности, больше землетрясения. Вы желаете, та́к кажется мне, простите предположение мое, о высшие люди, —

— вы желаете самой трудной и опасной жизни, внушающей *мне* наибольший страх, жизни диких зверей, лесов, пещер, крутых гор и коварных ущелий.

И не те, что *выводят* вас из опасности, нравятся вам больше всего, а те, что уводят вас в сторону от всех дорог, соблазнители. Но даже если это желание *истинно* в вас, оно кажется мне *невозможным*.

Ибо страх — наследственное, основное чувство человека; страхом объясняется всё, наследственный грех и наследственная добродетель. Из страха выросла и *моя* добродетель, она называется: наука.

Ибо страх перед дикими зверями — дольше всего взращивается в человеке, как и страх перед тем зверем, которого человек прячет в себе и страшится в себе самом. — Заратустра называет его «внутренней скотиной».

Этот долгий, старый страх, ставший наконец тонким, духовным и одухотворенным, — теперь, сдается мне, называется: *наука*». —

Так говорил совестливый; но Заратустра, который только что вернулся в пещеру, слышал последние слова и угадал смысл их, кинул совестливому горсть роз и смеялся над «истинами» его. «Как! — воскликнул он. — Что слышал я только что? Поистине, кажется мне, или ты глупец, или я сам, — твою «истину» мигом поставлю я на голову.

Ибо *страх* — исключение для нас. Но мужеством, приключениями, желанием неизвестного, на что никто еще не отважился, — *мужеством* кажется мне вся предшествующая история человека.

Самым диким, самым мужественным зверям позавидовал он и отнял все их добродетели; только так стал он — человеком.

Это мужество, ставшее наконец тонким, духовным и одухотворенным, это мужество человеческое, с орлиными крыльями и змеиною мудростью, — *оно*, сдается мне, называется теперь...»

«*Заратустра*!» — крикнули в один голос все собравшиеся и громко рассмеялись; но от них поднялось как бы тяжелое облако. Чародей также засмеялся и сказал лукаво: «Ну что ж! Он ушел, мой злой дух!

Разве я сам не предостерегал вас от него, когда говорил, что он обманщик, дух лжи и обмана?

Особенно когда показывается нагим. Но разве *я* в ответе за козни его? Разве *я* создал его и мир?

Ну что ж! Будем снова добрыми и веселыми! И хотя Заратустра уже смотрит сердито — взгляните же на него! он сердится на меня, —

— но прежде чем наступит ночь, научится он снова меня любить и хвалить: он не может долго жить, не совершая этих безумств.

Он — любит врагов своих; это искусство знает он лучше всех, кого я видел. Но за это мстит он — друзьям своим!»

Так говорил старый чародей, и высшие люди согласились с ним; так что Заратустра стал обходить друзей своих, пожимая им руки со злобой и любовью, — как тот, кому у каждого нужно испросить прощения в чем-то и что-нибудь загладить. Но когда подошел он ко входу пещеры своей, ему опять захотелось на чистый воздух и к зверям своим, — и он уже собрался ускользнуть к ним.

Среди дочерей пустыни

1.

«Не уходи! — сказал тут странник, называвший себя тенью Заратустры. — Останься с нами, — иначе прежняя удушливая печаль снова нами овладеет.

Уже лучшим образом угостил нас этот старый чародей всем худшим, что было у него, и смотри, у доброго благочестивого папы слезы на глазах и готов он снова плыть по морю уныния.

Пусть эти короли и делают перед нами хорошую мину: ибо этому научились *они* у нас сегодня лучше всего! Но не будь свидетелей, держу пари, и у них снова пошла бы скверная игра, —

— скверная игра ползущих облаков, влажного уныния, заволоченного неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров, —

— скверная игра нашего плача и крика о помощи; останься с нами, Заратустра! Здесь много скрытой беды, которая хочет говорить, много сумрака, много туч и удушливого воздуха!

Ты напитал нас крепкою пищей мужей и сильными изречениями — не допускай же, чтобы на десерт снова напали на нас изнеженные женские духи!

Ты один делаешь воздух вокруг крепким и чистым! Находил ли я когда-нибудь на земле такой хороший воздух, как у тебя в пещере твоей?

Ведь много стран видел я, мой нос научился различать и оценивать разный воздух, — но только у тебя наслаждаются ноздри мои величайшей радостью!

Разве только, разве только... о, прости мне одно старое воспоминание! Прости мне одну старую застольную песнь, которую я некогда сложил среди дочерей пустыни.

И у них был такой же хороший, светлый воздух Востока; там был я всего дальше от старой Европы, покрытой тучами, сырой и унылой!

Тогда любил я этих девушек Востока и другие царства с лазоревыми небесами, над которыми не висели ни облака, ни мысли.

Вы не поверите, как мило сидели они, когда не танцевали, глубокие, но без мыслей, как маленькие тайны, как украшенные лентами загадки, как десертные орехи, —

пестрые и чуждые, поистине! но без туч: загадки, которые позволяли себя разгадать; для услады этих девушек сочинил я тогда свой застольный псалом».

Так говорил странник, тень Заратустры; и прежде чем кто-либо ответил ему, он схватил арфу старого чародея и, скрестив ноги, оглянулся вокруг, спокойный и мудрый; медленно, испытующе он потянул воздух ноздрями, как тот, кто в новых странах пробует новый чужой воздух. Потом он запел с каким-то завываньем.

2.

Растет пустыня, горе
тому, кто скрыл в себе пустыню!

—Ха! Торжественно!
Достойное начало!
Торжественно, по-африкански, да!
Достойно даже льва
Иль обезьяны—ревуна морали;
Но ведь совсем ничто для вас,
Прелестные мои подруги.
А между тем сидеть у ваших ног
Мне, европейцу, у подножья пальм,
На долю счастье выпало.
Села.

Да, это удивительно: сижу я
Почти в самой пустыне и, однако,
По-прежнему далекий от нее
И опустыненный в Ничто.
Сказать яснее: проглотил меня
Оазис маленький,

Который, вдруг зевнув,
Мне ротик свой открыл навстречу,
И в эти тонко пахнущие губки
Попал я вдруг и там пропал,
Ворвался, проскочил, и вот я среди вас,
Подруги мои милые.
Села.

Да, слава, слава оному киту,
Коль так же хорошо в нем было гостю!
Ведь ясен вам, не правда ли, вполне
Намек ученый мой?
Да здравствует вовек китово чрево,
Когда оно таким же милым было
Оазисом-брюшком, как мой приют;
Но это мне сомнительно, конечно,
Ведь прибыл к вам я из Европы,
Что недоверчивей всех старых женок в мире.
Пусть сам Господь исправит то!
Аминь!

Переслащенный, словно финик смуглый,
И вожделений золотистых полн, как он,
Я с вами здесь в оазисе-малютке, —
Как он, томлюсь по девичьей мордашке,
По зубкам-грызунам, по белоснежным,
Как девушки, и острым, и холодным;
По ним-то именно сердца тоскуют
Всех распаленных фиников.
Села.

Как этот южный плод, и сам
Похожий на него сверх меры,
Лежу я здесь, летучим роем
Жучков крылатых окруженный,
И вкруг меня, в игривой пляске рея,
Мелькают также крохотные ваши,
Язвительно затейливые ваши
Причуды и желаньица...
Вы, окружившие меня облавой молчаливой,

Чего-то чающие и немые,
Вы, кошки-девушки,
Зулейка и Дуду.
Осфинксовали вы меня кругом
(Чтоб много чувств вместить и едино слово —
Грех против языка прости мне, Боже), —
И я сижу, вдыхая здесь —
Чистейший воздух, райский воздух, право,
Прозрачно легкий, в золотых полосках.
Нет, никогда еще с луны на землю
Не ниспадал такой хороший воздух,
Ни по случайности, ни по капризу,
О чем нам пели древние поэты.
Но это мне сомнительно, конечно,
Ведь прибыл к вам я из Европы,
Что недоверчивей всех старых женок в мире,
Пусть сам Господь исправит то!
Аминь!

Чистейший этот воздух поглощая
Ноздрями-кубками, раскрытыми широко,
Без будущего, без воспоминаний,
Сижу я здесь, прелестные подруги,
И всё смотрю, смотрю на эту пальму,
Которая, подобно танцовщице,
Так изгибается и ластится, качаясь...
Что, заглядевшись, станешь делать то же —
Подобно танцовщице, долго-долго,
Опасно долго, на одной лишь ножке
Она стояла до того, что, право, будто
О той другой и вовсе позабыла.
По крайней мере, тщетно я старался
Сокрывшуюся прелесть разглядеть,
Обоих близнецов единства прелесть, —
Конечно, именно вторую ножку,
В священной близости изящных и воздушных
Блестящей юбочки порхающих зубцов.
И если мне, прекрасные подруги,
Готовы верить вы охотно — прелесть эту
Она утратила.

Уж нет ее! Утраченная ножка
Навек потеряна, как жалко милой ножки!
Где, одинокая, она грустит в разлуке,
Покинутая, где она тоскует?
Быть может, в ужасе пред белокурым
Чудовищем со львиной гривой или,
Быть может, уж обглодана до кости
Она, увы, изъедена!
Села.

О, да не плачьте же, не смейте плакать,
Вы, нежные сердца!
В беломолочной грудке, словно финик,
Сердечко ваше, кошелек-мешочек
Со сладким корешком.
Зулейка, будь мужчиною, довольно!
Бодрей, бодрее, бледная Дуду,
Не плачь же больше! –
– Иль, может быть,
Уместней здесь иное средство, – сердце,
Способное легко унять – скрепить?
Как назидательное изреченье, к слову, –
Или воззвания торжественный призыв?

Да, да, зову тебя,
Достоинство, на сцену,
Честь европейца!
Ты, добродетелью надутый мех,
Шипи, свисти и дуй еще,
Ха!
Еще раз прореви
Морали ревом,
Рыкая львом пред дочерьми пустыни,
Морали львом!
Ведь, милые мои!..
Вой добродетели в Европе заглушает
Весь жар души, всю страстность европейца
И европейца волчий аппетит.
И вот я перед вами, европеец,
И не могу, о Господи, иначе.

Да будет так!
Аминь!

Растет пустыня, горе
тому, кто скрыл в себе пустыню!

Пробуждение

1.

После песни странника и тени пещера наполнилась вдруг шумом и смехом; и так как собравшиеся гости говорили все сразу и даже осёл при подобном поощрении не остался безмолвен, Заратустрой овладело некоторое отвращение и насмешливость к гостям, — хотя он и радовался веселости их. Ибо она казалась ему признаком выздоровления. Он выскользнул из пещеры на чистый воздух и говорил к зверям своим.

«Куда же девались их беды? — сказал он и сам вздохнул с облегчением от своей маленькой досады. — У меня разучились они, мне кажется, кричать о помощи!

— хотя, к сожалению, не разучились еще кричать». И Заратустра зажал себе уши, ибо в тот момент ослиное И-А удивительным образом смешалось с шумом праздника этих высших людей.

«Они веселы, — продолжал он, — и кто знает? быть может, насчет хозяина их; и если научились они у меня смеяться, то не *моему* смеху научились они.

Что с того! Они старые люди: они выздоравливают посвоему, они смеются по-своему; мои уши выносили и худшее и не делались грубее.

Этот день — победа: он отступает, он бежит, *дух тяжести*, мой старый заклятый враг! Как хорошо хочет кончиться этот день, так дурно и тяжело начавшийся.

И кончиться *хочет* он. Уже настает вечер: по морю скачет он, добрый всадник! Как он качается на своих пурпурных седлах, блаженный, возвращаясь домой!

Небо глядит ясно, мир покоится глубоко; о все вы, странные люди, пришедшие ко мне, право же, стоит жить у меня!»

Так говорил Заратустра. И снова крик и смех высших людей послышался из пещеры. А Заратустра продолжал:

«Они идут на удочку, приманка моя действует, от них отступает враг их, дух тяжести. Уже учатся они смеяться над собой — так ли слышу я?

Моя пища мужей, мои сочные и сильные изречения действуют — поистине, я не кормил их овощами, от которых пучит живот! Но пищею воинов, пищею завоевателей: новые желания пробудил я в них.

Новые надежды в руках и ногах их, сердце их потягивается. Они находят новые слова, скоро дух их будет дышать дерзновением.

Такая пища, конечно, не для детей и не для томящихся женщин, молодых и старых. Иными средствами нужно убеждать их нутро; я не врач и не учитель их.

Отвращение отступает от этих высших людей; ну что ж! это моя победа. В царстве моем они теперь в безопасности, всякий глупый стыд бежит их, они становятся откровенными.

Они открывают сердца свои, хорошее время возвращается к ним, они празднуют и пережевывают, — они становятся *благодарными.*

Это считаю я лучшим признаком: они становятся благодарными. Еще немного, и они выдумают себе праздники и поставят памятники своим старым радостям.

Они *выздоравливающие*!» Так радостно говорил Заратустра своему сердцу и глядел вдаль; звери же теснились к нему и чтили счастье и молчание его.

2.

Но внезапно испугалось ухо Заратустры: ибо в пещере, дотоле полной шума и смеха, вдруг водворилась мертвая тишина; нос его ощутил благоухающий дым и запах ладана, как будто горели кедровые шишки.

«Что происходит? Что делают они?» — спросил он себя и подкрался ко входу, чтобы незаметно смотреть на гостей. И, чудо из чудес! что пришлось ему увидеть своими собственными глазами!

«Все они опять стали *набожны*, они *молятся*, они сошли с ума!» — говорил он и дивился чрезвычайно. И действительно! все эти высшие люди, два короля, папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник и тень, старый прорицатель, совестливый духом и самый безобразный человек, — все они, как дети или верующие старые бабы, стояли на коленях и молились ослу. И вот начал самый безобразный человек клокотать и пыхтеть, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него; но когда он в самом деле добрался до слов, смотрите, неожиданно оказались они благоговейным, странным молебном в прославление осла, которому молились и кадили. И этот молебен звучал так:

Аминь! Слава, и честь, и премудрость, и благодарение, и хвала, и сила богу нашему, во веки веков!

— Осёл же кричал на это И-А.

Он несет тяготы наши, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит Нет; и кто любит своего бога, тот карает его.

— Осёл же кричал на это И-А.

Он не говорит; только миру, им созданному, он всякий раз говорит Да: так прославляет он мир свой. Его хитрость не позволяет ему говорить; потому бывает он редко неправ.

— Осёл же кричал на это И-А.

Незаметным проходит он по миру. В серый цвет тела своего закутывает он свою добродетель. Если и есть в нем дух, он скрывает его; но всякий верит в его длинные уши.

— Осёл же кричал на это И-А.

Какая скрытая мудрость в том, что он носит длинные уши и говорит всегда Да и никогда — Нет! Разве не создал он мир по образу своему, то есть глупым насколько возможно?

— Осёл же кричал на это И-А.

Ты идешь прямыми и кривыми путями; тебя мало волнует, что нам, людям, кажется прямым или кривым. По ту сторону добра и зла царство твое. Невинность твоя в том, чтобы не знать, что такое невинность.

— Осёл же кричал на это И-А.

И ты не отталкиваешь от себя никого, ни нищих, ни королей. Детей допускаешь ты к себе, и если злые мальчишки дразнят тебя, ты говоришь просто И-А.

— Осёл же кричал на это И-А.

Ты любишь ослиц и свежие смоквы, ты неприхотлив в пище. Чертополох щекочет сердце твое, когда ты голоден. В этом премудрость бога.

— Осёл же кричал на это И-А.

Праздник осла

1.

Но на этом месте молебна не мог Заратустра больше сдерживать себя, сам закричал И-А еще громче, чем осёл, и бросился в середину своих обезумевших гостей. «Что делаете вы здесь, человеческие дети? — воскликнул он, поднимая молящихся с земли. — Горе, если бы вас увидел кто-нибудь другой, а не Заратустра:

Всякий подумал бы, что с вашей новой верою стали вы худшими из богохульников или самыми глупыми из всех старых баб!

И ты сам, старый папа, разве можешь ты быть в ладах с собою, молясь таким образом ослу как богу?» —

«О Заратустра, — отвечал папа, — прости мне, но в вопросах бога я просвещеннее тебя. Так следует.

Лучше молиться богу в этом образе, чем без всякого образа! Поразмысли об этом изречении, мой высокий друг, — и ты скоро догадаешься, что в нем скрывается мудрость.

Тот, кто говорил: «Бог есть дух», — тот делал до сих пор на земле величайший шаг, прыжок к безверию: такие слова на земле не легко исправлять!

Мое старое сердце прыгает и скачет, оттого что еще есть на земле чему молиться. Прости это, о Заратустра, старому благочестивому сердцу папы!..»

— И ты, — сказал Заратустра страннику и тени, — ты называешь и мнишь себя свободным духом? И совершаешь здесь подобные идолослужения и поповскую службу?

Поистине, худшим делом занимаешься ты здесь, чем у твоих скверных, смуглых девушек, ты, скверный новообращенный!

«Довольно скверно, — отвечал странник и тень, — что ты прав, но что же делать! Старый бог снова жив, о Заратустра, что бы ты ни говорил.

Самый безобразный человек виноват во всем: он опять воскресил его. И хотя он говорит, что когда-то убил его, — *смерть* у богов всегда только предрассудок».

— И ты, — сказал Заратустра, — злой старый чародей, что наделал ты! Кто же в этот свободный век будет впредь верить тебе, если *ты* веришь в подобное бого-ословство?

Ты сделал глупость; как мог ты, хитрый, делать такую глупость!

«О Заратустра, — отвечал хитрый чародей, — ты прав, это была глупость, — она дорого обошлась мне».

— А ты, — сказал Заратустра совестливому духом, — поразмысли и приложи палец к носу! Разве здесь нет ничего противного твоей совести? Не слишком ли чист дух твой для молений и дыма этих святош?»

«Есть нечто, — отвечал совестливый духом и приложил палец к носу, — есть нечто в этом зрелище, что даже приятно моей совести.

Быть может, мне не следует верить в бога; но несомненно, бог в этом образе кажется мне наиболее достойным веры.

Бог должен быть вечным, по свидетельству самых благочестивых: у кого так много времени, может повременить. Так долго и глупо, как только возможно; *этак* можно далеко пойти.

И у кого слишком много духа, тот может сам заразиться глупостью и безумством. Подумай о себе, о Заратустра!

Ты сам — поистине! — даже ты мог бы от избытка мудрости сделаться ослом.

Не идет ли и совершенный мудрец охотно по самым кривым путям? Как доказывает очевидность, о Заратустра, — *твоя* очевидность!»

— И ты сам, наконец, — сказал Заратустра и обратился к самому безобразному человеку, всё еще лежавшему на земле и протягивавшему руку к ослу (ибо он поил его вином). — Скажи, неизреченный, что сделал ты!

Мне кажется, ты преобразился, твой взор горит, плащ возвышенного облекает безобразие твое, — *что* сделал ты?

Правду ли говорят, что ты опять воскресил его? И зачем? Разве не с полным на то основанием убили его, избавились от него?

Ты сам кажешься мне пробудившимся — что делал ты? что *ты* ниспровергал? В чем *ты* убеждал себя? Говори, неизреченный!»

«О Заратустра, — отвечал самый безобразный человек, — ты плут!

Жив *он* еще, или воскрес, или окончательно умер, — кто из нас двоих знает это лучше? Я спрашиваю тебя.

Одно только знаю я, — от тебя самого однажды научился я этому, о Заратустра: кто хочет окончательно убить, тот *смеется*.

«Убивают не гневом, а смехом», — так говорил ты однажды. О Заратустра, скрывающийся, разрушитель без гнева, опасный святой, ты — плут!»

2.

Но тут Заратустра, удивленный плутовскими ответами, бросился ко входу в свою пещеру и, обращаясь к гостям, крикнул громким голосом:

«О все вы, проныры и шуты! Что притворяетесь и скрываетесь вы предо мной!

Как трепетало сердце каждого из вас от радости и злобы, что вы опять стали, как дети, благочестивы, —

— что вы опять поступали, как поступают дети, — молились, складывали руки крестом и говорили: «Боже милостивый!»

Но теперь оставьте для меня *эту* детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский задор и пыл ваших сердец!

Правда: если не будете вы как дети, то не войдете в *это* Небесное Царство. (И Заратустра показал рукою наверх.)

Но мы и не хотим войти в Небесное Царство: мужами стали мы, — *и хотим Царства Земного*».

3.

И еще раз начал говорить Заратустра: «О мои новые друзья, — говорил он, — странные, высшие люди, как нравитесь вы мне теперь, —

— с тех пор как стали вы опять веселыми! Поистине, вы все расцвели: мне кажется, таким цветам нужны *новые праздники*,

— какая-нибудь маленькая смелая чепуха, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь старый веселый дурень Заратустра, вихрь, который дыханием своим очистил бы вам души.

Не забывайте этой ночи и этого праздника осла, высшие люди! *Это* изобрели вы у меня, это принимаю я как доброе знамение: подобное изобретают только выздоравливающие!

И если будете вы вновь праздновать этот праздник осла, делайте это ради себя, делайте также ради меня! И в память обо *мне*!»

Так говорил Заратустра.

Песнь скитальца в ночи

1.

Тем временем они вышли один за другим на чистый воздух, в прохладную задумчивую ночь; Заратустра же вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир, большую круглую луну и серебряные водопады у своей пещеры. И вот, наконец, они стояли безмолвно все вместе; это были старые люди, но сердца их утешились, исполнились решимости, и дивились они про себя, что им так хорошо на земле; а тайна ночи всё ближе подступала к их сердцам. И снова думал Заратустра: «О, как нравятся мне теперь эти высшие люди!», — но он не сказал этого, ибо чтил счастье и молчание их. —

И тогда случилось самое удивительное в тот долгий удивительный день: самый безобразный человек во второй и последний раз принялся пыхтеть и клокотать, но когда он добрался до слов, смотрите, из уст его вдруг отчетливо и чисто вылетел вопрос — хороший, глубокий, ясный вопрос, от которого у всех слышавших его шевельнулось сердце в груди.

«Друзья мои, как кажется вам? — спросил самый безобразный человек. — Ради этого дня — *я* впервые доволен, что жил всю свою жизнь.

И засвидетельствовать столь многое — этого для меня еще недостаточно. Стоит жить на земле: один день, один праздник с Заратустрой, научил меня любить землю.

«Так *это* была — жизнь? — хочу сказать я смерти. — Ну что ж! Еще раз!»

Друзья мои, как кажется вам? Не хотите ли вы сказать смерти, подобно мне: «Так *это* была — жизнь? Ну что ж, ради Заратустры, — еще раз!» —

Так говорил самый безобразный человек; но было уже близко к полуночи. И как вы думаете, что случилось тогда?

Как только высшие люди услышали его вопрос, они сразу осознали превращение и выздоровление свое и кто дал им все это, — тогда они бросились к Заратустре, стали благодарить, выражать почтение, ласкать, целовать ему руки, и каждый на свой лад: одни смеялись, другие плакали. Старый же прорицатель пританцовывал от удовольствия; и если, как думают некоторые повествователи, он был тогда пьян от сладкого вина, то, несомненно, он был еще более пьян сладостью жизни, — он позабыл всякую усталость. А есть и такие, кто рассказывает, что тогда плясал и осёл: ибо не напрасно самый безобразный человек поил его вином. Это было так, а может быть и иначе; и если действительно осёл не плясал в тот вечер, то всё-таки случились тогда еще более великие и диковинные вещи, чем танец осла. Одним словом, как гласит поговорка Заратустры: «Какая разница!»

2.

Пока всё это происходило с самым безобразным человеком, Заратустра стоял как опьяненный: его взор потух, язык заплетался, ноги дрожали. И кто сумел бы отгадать, какие мысли пробегали тогда в его душе? Но видно было, что дух отступил от него, бежал впереди и находился где-то в широкой дали, блуждая, как сказано в писании, «над высокой скалой, между двух морей,

— между прошедшим и будущим, как тяжелая туча». Но мало-помалу, пока высшие люди поддерживали его руками, немного пришел он в себя и жестом отстранил толпу заботливых почитателей; однако он не говорил. Вдруг повернул он быстро голову: казалось, он что-то услышал; тогда приложил он палец к губам и сказал: «*Идем*!»

И тотчас стало тихо и таинственно вокруг, а из глубины медленно доносился звук колокола. Заратустра прислушивался к нему, как и высшие люди; затем он снова приложил палец к губам и сказал: «*Идем! Идем! Полночь приближается*!», — и голос его изменился. Но он всё еще не трогался с места; тогда стало еще более тихо и таинственно, всё прислушивалось, даже осёл и почитаемые звери Заратустры, орел и змея, а

также пещера Заратустры, большая холодная луна и сама ночь. Заратустра же в третий раз поднес руку к губам и сказал:

— *Идем! Идем! Идем! Будем теперь странствовать! Час настал! Начнем странствовать в ночи!*

3.

Полночь приближается, высшие люди, — и вот хочу я сказать вам кое-что на ухо, как тот старый колокол говорит мне на ухо, —

— с такой же таинственностью, так же зловеще, с такой же сердечностью, с какой говорит ко мне этот полночный колокол, переживший больше, чем любой человек:

— уже отсчитавший болезненные удары сердца ваших отцов, — ах! ах! как она вздыхает! как она смеется во сне! старая, глубокая, глубокая полночь!

Тише! Тише! Слышится многое, что не смеет днем говорить; но теперь, когда воздух свеж, когда стихает шум сердец ваших, —

— теперь говорит оно, теперь слышится, теперь крадется оно в ночные бодрствующие души: ах! ах! как она вздыхает! как она смеется во сне!

— разве не слышишь ты, как таинственно, с каким ужасом, с какой сердечностью говорит к *тебе* старая, глубокая, глубокая полночь?

О друг, вникай!

4.

Горе мне! Куда девалось время? Не опустился ли я в глубокие колодцы? Мир спит —

Ах! Ах! Пес воет, месяц сияет. Лучше мне умереть, умереть, чем сказать вам, о чем думает теперь мое полночное сердце.

Вот я уже умер. Кончено. Паук, зачем ткешь ты паутину вокруг меня? Ты хочешь крови? Ах! Ах! роса падает, час настает —

— час, когда знобит меня и я мерзну; он спрашивает, неустанно спрашивает: «У кого хватит сердца для этого?

— кому быть господином земли? Кто скажет: *так* должны вы течь, вы, большие и малые реки!», —

— час приближается; о человек, ты, высший человек, вникай! эта речь для тонких ушей, для твоих ушей — *что полночь говорит? внимай!*

5.

Меня уносит, душа моя танцует. Ежедневный труд! Ежедневный труд! Кому быть господином земли?

Месяц холоден, ветер молчит. Ах! Ах! Разве летали вы уже достаточно высоко? Вы танцевали — но ноги еще не крылья.

Вы, хорошие танцоры, теперь всякая радость миновала: вино прокисло, все кубки стали хрупкими, могилы забормотали.

Вы летали недостаточно высоко — теперь могилы бормочут: «Спасите же мертвых! Почему длится так долго ночь? Не опьяняет ли нас луна?»

Высшие люди, спасите же могилы, воскресите трупы! Ах, что точит там червь? Приближается, приближается час, —

— колокол глухо бормочет, сердце еще скрипит, древесный червь точит, червь сердца. Ах! Ах! *Мир — глубина*!

6.

Сладкозвучная лира! Сладкозвучная лира! Я люблю звук твой, этот опьяненный квакающий звук! — как медленно, как издалека доносится твой звук, издалека, с прудов любви!

Ты, старый колокол, ты, сладкозвучная лира! Все скорби разрывали сердце тебе, скорбь отца, скорбь дедов, скорбь прадедов; речь твоя стала зрелой, —

— зрелой, подобно золотой осени и времени послеполуденному, подобно моему сердцу отшельника, — теперь говоришь ты: мир сам созрел, лоза зарумянилась,

— теперь хочет он умереть, умереть от счастья. О высшие люди, чувствуете ли вы запах? Тайно поднимается из глубины запах,

— благоухание и запах вечности, запах золотистого вина, потемневшего и блаженно-красного от старого счастья,

— от опьяневшего полночного счастья-смерти, которое поет: мир — глубина, *глубь эта дню едва видна*!

7.

Оставь меня! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не прикасайся! Разве мой мир не стал сейчас совершенным?

Моя кожа слишком чиста для твоих рук. Оставь меня, глупый, бестолковый, душный день! Разве полночь не светлее?

Самые чистые должны быть господами земли, самые непознанные, самые сильные, души полночные, которые светлее и глубже всякого дня.

О день, тяжелой поступью идешь ты за мной? Ты тянешь руки за моим счастьем? Для тебя я богат, одинок, для тебя я клад и сокровищница?

О мир, ты желаешь *меня*? Разве я столь мирской? Разве я столь духовный? Разве для тебя я так божественен? Но, день и мир, вы слишком неуклюжи,

— вам нужны более ловкие руки, чтобы держаться за более глубокое счастье, более глубокое несчастье, хватайтесь за какого-нибудь бога, но не за меня:

— мое несчастье, мое счастье глубоки, ты, дивный день, но все же не бог я и не ад божий: *скорбь мира эта глубина.*

8.

Скорбь бога глубже, о дивный мир! Ухватись за скорбь бога, не за меня! Что я! Опьяненная сладкозвучная лира,

— полночная лира, кваканье колокола, которого никто не понимает, но который *должен* говорить перед глухими, о высшие люди! Ибо вы не понимаете меня!

Миновало! Миновало! О юность! О полдень! О время после полудня! Теперь наступил вечер, и ночь, и полночь, — пес воет, ветер:

—разве ветер не пес? Он визжит, он тявкает, он воет. Ах! Ах! как она вздыхает, как смеется, хрипит и пыхтит, эта полночь!

Как она трезво говорит, эта пьяная сочинительница! она, должно быть, перепила свое опьянение? она стала чересчур бодрой? она пережевывает?

—свою скорбь пережевывает она во сне, старая, глубокая полночь, и еще больше свою радость. Пусть скорбь и глубока—*но радость глубже, чем она.*

9.

Ты, виноградная лоза! За что хвалишь ты меня? Ведь я срезал тебя! Я жесток, ты истекаешь кровью,—для чего воздаешь ты хвалу моей опьяненной жестокости?

«Что стало совершенным, всё зрелое—хочет умереть!»—так говоришь ты. Благословен, да будет благословен нож виноградаря! Но все незрелое хочет жить—увы!

Скорбь говорит: «Пройди! Исчезни, ты, скорбь!» Но всё, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, и радостным, и тоскующим,

—тоскующим по далекому, более высокому, более светлому. «Я хочу наследников,—так говорит всё, что страдает,—я хочу детей, я не хочу *себя*».

Радость же не хочет ни наследников, ни детей,—она хочет себя самоё, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы всё было равновечным себе.

Скорбь говорит: «Разбейся, истекай кровью, сердце! Двигайтесь, ноги! Крылья, летите! Вдаль! Вверх! Боль!» Ну что ж! Вперед! О мое старое сердце! *Жизнь гонит скорби тень*!

10.

О высшие люди, как кажется вам? Разве я прорицатель? Сновидец? Опьяненный? Толкователь снов? Полночный колокол?

Капля росы? Испарение и благоухание вечности? Разве вы не слышите? Разве вы не чувствуете? Мой мир стал совершенным, полночь—тот же полдень.—

Боль еще и радость, проклятие еще и благословение, ночь еще и солнце, – уходите или вы узнаете: мудрец еще и безумец.

Говорили вы Да какой-нибудь радости? О друзья мои, тогда вы говорили Да и *всякой* скорби. Всё сцеплено, нанизано, влюблено одно в другое, –

– хотели вы когда-либо пережить мгновение дважды, говорили вы когда-нибудь: «Ты нравишься мне, счастье! миг! мгновенье!»? Так хотели вы, чтобы *всё* вернулось!

– всё заново, всё вечно, всё сцеплено, нанизано, влюблено одно в другое, о, так *любили* вы мир, –

– вы, вечные, любите его вечно и во все времена; и говорите также скорби: пройди, но вернись назад! *Ведь радость рвется в вечный день*!

11.

Всякая радость хочет вечности всех вещей, хочет меду, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могил, хочет слез утешения на могилах, хочет золотой вечерней зари –

– *чего* только не хочет радость! она более жаждущая, более сердечная, более алчущая, более ужасная, более таинственная, чем всякая скорбь, она хочет *себя*; она впивается в *себя*, воля кольца борется в ней, –

– она хочет любви, она хочет ненависти, она чрезмерно богата, она дарит, отвергает, умоляет, чтобы кто-нибудь взял ее, благодарит берущего, она хотела бы, чтобы ее ненавидели, –

– так богата радость, что жаждет скорби, ада, ненависти, позора, уродства, *мира*, – ибо этот мир, о, вы, конечно, знаете его!

Высшие люди, по вас томится эта радость, необузданная, блаженная, – по скорби вашей, вы, неудавшиеся! По неудавшемуся томится всякая вечная радость.

Ибо всякая радость хочет себя самоё, вот почему хочет она и сердечной муки! О счастье, о боль! О сердце, разбейся! Высшие люди, поймите же, радость хочет вечности,

– радость хочет вечности *всех* вещей, она рвется *в желанный вековечный день*!

12.

Научились ли вы теперь песни моей? Угадали вы, чего хочет она? Ну что ж! Давайте! О высшие люди, так спойте же мне теперь хоровую песнь мою!

Спойте мне теперь сами ту песнь, имя которой: «Еще раз», а смысл: «во веки веков!»,—спойте же, о высшие люди, хоровую песнь Заратустры!

О друг, вникай!
Что полночь говорит? внимай!
«Был долог сон, –
Глубокий сон, развеян он: –
Мир – глубина,
Глубь эта дню едва видна.
Скорбь мира эта глубина, –
Но радость глубже, чем она:
Жизнь гонит скорби тень!
А радость рвется в вечный день, –
В желанный вековечный день!»

Знамение

Утром после этой ночи вскочил Заратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор.

«Ты, великое светило, — сказал он, как однажды уже говорил, — ты, глубокое око счастья, в чем было бы счастье твое, если б не было у тебя *тех*, кому ты светишь!

И если бы они оставались в домах своих, в то время как ты уже проснулось и идешь одарять и наделять — как негодовала бы гордая стыдливость твоя!

Ну что ж! они спят еще, эти высшие люди, в то время как *я* уже бодрствую: *это* не настоящие последователи мои! Не их жду я здесь в моих горах.

За свое дело хочу я приняться, начать свой день — но они не понимают, каковы знамения утра моего, мои шаги для них не призыв к пробуждению.

Они еще спят в пещере моей, их сон еще упивается моими полуночами. Ушей, слушающих *меня*, — ушей *послушных* недостает им».

Так говорил Заратустра своему сердцу, в то время как солнце поднималось; тогда он вопросительно взглянул ввысь, ибо услышал над собою резкий крик своего орла. «Ну что ж! — крикнул он в вышину. — Это нравится, это подобает мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся.

Орел мой проснулся и чтит, как и я, солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы настоящие звери мои; я люблю вас.

Но еще недостает мне моих настоящих людей!» —

Так говорил Заратустра; но тут он почувствовал себя как бы окруженным множеством птиц, летавших вокруг него, — шум от такого множества крыльев и давка над головою его были так велики, что он закрыл глаза. И поистине, на него как будто упала туча из стрел, сыплющихся на ново-

го врага. Но это было облако любви, спускавшееся на нового друга.

«Что происходит со мною?» – думал Заратустра удивленно в сердце своем и медленно опустился на большой камень, лежавший у выхода из пещеры. Но пока он размахивал руками вокруг себя, и над собою, и под собою, защищаясь от нежности птиц, смотрите, случилось с ним нечто еще более изумительное: ибо он нечаянно ухватился за густую, теплую, косматую гриву; и в то же мгновение раздался перед ним рев, – кроткий, протяжный рев льва.

«*Знамение приближается*», – сказал Заратустра, и сердце его преобразилось. И действительно, когда перед ним просветлело, он увидел, что у ног его лежал огромный желтый зверь, прижимаясь головою к его коленям; из любви он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую старого хозяина. Но и голуби были не менее усердны в любви своей, чем лев; и всякий раз, когда голубь порхал перед носом льва, лев встряхивал головой, удивлялся и начинал смеяться.

На всё это Заратустра произнес одно только слово: «*Мои дети близко, мои дети*», – и стал совершенно нем. Но сердце его было утешено и из глаз текли слезы и падали на руки. А он больше ни на что не обращал внимания и сидел неподвижно, не защищаясь уже от зверей. Голуби улетали и прилетали, садились ему на плечи, ласкали его седые волосы и не уставали в нежности и ликовании своем. А могучий лев беспрестанно лизал слезы, падавшие на руки Заратустры, и робко рычал и ворчал при этом. Так вели себя эти звери. –

Всё это продолжалось или долгое, или очень короткое время: ибо, по правде говоря, для таких вещей на земле *не существует* времени... Между тем высшие люди проснулись в пещере Заратустры и готовились устроить шествие, чтобы идти навстречу ему с утренним приветствием: ибо, проснувшись, они заметили, что Заратустры уже нет между ними. Но когда они подошли к выходу из пещеры, опережаемые шумом шагов своих, лев грозно навострил уши и, отвернувшись от Заратустры, с диким ревом прыгнул к пещере; а высшие люди, услышав рев его, разом вскрикнули и побежали обратно, исчезнув в одно мгновение.

Оглушенный и отстраненный, Заратустра поднялся с места своего, оглянулся с удивлением, вопрошая сердце свое, и понял, что остался один. «Что слышал я? — сказал он наконец медленно. — Что произошло со мною?»

Но вот воспоминание вернулось к нему, и он разом осознал всё, что произошло между вчера и сегодня. «Вот камень, — сказал он, гладя себе бороду, — на *нем* сидел я вчера утром; а здесь подошел прорицатель ко мне, здесь впервые услышал я крик, который слышал только что, — великий крик о помощи.

О высшие люди, это о *вашей* нужде прорицал вчера утром старый прорицатель, —

— вашей нуждой хотел он соблазнить и испытать меня: «О Заратустра, — говорил он мне, — я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех».

«В мой последний грех? — воскликнул Заратустра и гневно рассмеялся над собственным словом. — *Что* же осталось мне как мой последний грех?» —

И еще раз погрузился Заратустра в себя, опять сел на большой камень и предался мыслям. Вдруг он вскочил. —

«*Сострадание! Сострадание к высшему человеку*! — воскликнул он, и лицо его стало как медь. — Ну что ж! *Этому* — было свое время!

Мое страдание и мое сострадание — что в них толку! Разве стремлюсь я к *счастью*? Я стремлюсь к моему *делу*!

Ну что ж! Лев пришел, дети мои близко, Заратустра созрел, час мой настал. —

Это *мое* утро, брезжит *мой* день; *вставай же, вставай, великий полдень*!» —

Так говорил Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор.

Конец *Так говорил Заратустра*

Приложения

Послесловие редактора

Для первого русского полного собрания сочинений Ф. Ницше нами был выбран перевод Ю. Антоновского, опубликованный в 1911 г. (4-е издание) и ставший наиболее известным переводом «Так говорил Заратустра». На суд читателей предлагается его новая редакция. Она была сделана с выборочным учетом той редакторской работы, которую провел К. Свасьян (Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Собр. соч. в 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1990), а также с некоторой оглядкой на перевод, предложенный Якобом Голосовкером (с определенными редакционными вмешательствами он был выпущен в 1994 г.: Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Пер. Я. Голосовкера. Редактор А.В. Михайлов. М.: Путь).

Заметим, что перевод Я. Голосовкера — великолепный памятник творческих усилий талантливого переводчика. Однако именно оригинальность перевода не позволила нам выбрать его для публикации в настоящем издании. Перевод Антоновского оказался более предпочтительным в силу его ориентации на более строгую, академическую традицию.

В ходе редакторской работы нами была проделана полная сверка текста перевода с текстом оригинала и выработана стратегия редактирования. Конечно, в первую очередь были устранены наиболее явные, хотя и немногочисленные, смысловые несоответствия. Мы вмешались и в тех случаях, когда Антоновский, для пояснения мысли Ницше, вводит дополнительные и не всегда необходимые слова.

Мы попытались аккуратно «осовременить» язык перевода, убрать, насколько возможно, тяжеловесные архаичные языковые конструкции. И вместе с тем немного «снизить» пафос русского текста, его избыточную даже по сравнению с немецким текстом литературную торжественность (в переводе Антоновского ее поддерживали, в том числе, чрезвычайно многочисленные инверсии и повторы).

Отдельной задачей стало уточнение ницшевской терминологии. В ряде случаев нами предложен другой перевод ключевых слов Ницше. (Например, «Tier» мы во всех случаях переводили как «зверь», не используя слово «живот-

ное», для «Teufel» мы взяли слова «дьявол» или — иногда — «демон», изгнав из русского перевода «черта». Слово «Gleichnis» чаще всего переводится как «подобие», а «Gesindel» как «отребье» и «чернь» и т.д.) В отдельных случаях предложены измененные названия глав.

Нам также представлялось важным сохранить богатство и разнообразие ницшевского словаря. Там, где Антоновский порой передает близкие по значению слова одним словом, мы старались передать и оттенки. В ряде случаев мы решились на бо́льшую резкость выражений, более соответствующую языку Ницше, чем благообразному языку литературного перевода начала XX века. В тексте Ницше можно встретить немало достаточно натуралистических описаний «фантазийных событий», — Антоновский, как правило, «облагораживает» такие описания, делает их риторически выстроенными и красивыми.

Общей же целью, «оправдывающей» вмешательство в классический перевод, было достижение более свободного «движения» текста, большей свободы чтения. Представляется, что такая задача вполне соответствует главной интенции самого текста Ницше, который гордился удавшейся ему легкостью немецкого языка. В письме к Роде (22 февраля 1884 г.) он пишет: «Мне представляется, что в этом «Заратустре» немецкий язык доведен до своего совершенства <...> сочетались ли когда-нибудь в нашем языке *столь* славно сила, пластичность и благозвучие <...> Мой стиль — это *танец*, игра всевозможных симметрий, и перепрыгивание, и передразнивание их.» *(пер. И. Эбаноидзе)*. Конечно, в русском переводе едва ли возможно угнаться за бесчисленными ницшевскими языковыми находками, перемигиваниями слов и слогов, трудно адекватно передать стихотворные фрагменты (примеры приведены в том числе в примечаниях К. Свасьяна к «Так говорил Заратустра» в 2-х томном собрании Ницше). Возможно, лучшим разрешением всех вопросов стал бы новый русский перевод центрального для философии Ницше текста «Так говорил Заратустра», сделанный с учетом современного уровня отечественных и зарубежных исследований Ницше. Всё же редактура — лишь паллиатив такой необходимой работы.

Е. Ознобкина

Список сокращений

Произведения

А — «Антихристианин».

БОУ — «О будущем наших образовательных учреждений».

ВН — «Веселая наука».

ВН-п — «Веселая наука» (приложение).

ГМ — «К генеалогии морали».

ДД — «Дионисовы дифирамбы».

ЕН — «Ecce Homo».

ИМ — «Идиллии из Мессины».

НР (ВБ) — «Несвоевременные размышления: Рихард Вагнер в Байрейте».

СВ — «Случай "Вагнер"».

ПСДЗ — «По ту сторону добра и зла».

СК — «Сумерки кумиров».

СТ — «Странник и его тень».

ТГЗ — «Так говорил Заратустра».

УЗ — «Утренняя заря».

ЧСЧ — «Человеческое, слишком человеческое».

ЧСЧ-п — «Человеческое, слишком человеческое» (приложение).

Издания

GA — Großoktav-Ausgabe (Nietzsche F. Werke. 19 Bde. U. 1 Register-Band. Hrsg. P. Gast, E. Förster-Nietzsche, A. U. E. Horneffern u.a. Leipzig: C.G. Naumann / A. Kröner, 1894–1926).

KSA — Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. V. G. Colli u. M. Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Berlin: W. De Gruyter, 1999.

Сиглы

Тетради

Z I 1 — тетрадь в четверть листа, 58 с. (наброски к ЧСЧ (осень 1878 г.), афоризмы, записи к ТГЗ I и ПСДЗ, стихотворения); лето–осень 1882 г. Т. 10: 3.

Z I 2–тетрадь в четверть листа, 122 с. (афоризмы, записи к ТГЗ I и ПСДЗ, наброски и фрагменты); ноябрь 1882 г.—февраль 1883 г., август–сентябрь 1885 г., осень 1885 г. Т. 10: 5. Т. 11: 39.43.

Z I 3–тетрадь в четверть листа, 308 с. (афоризмы (частично из более ранних произведений Н.), записи к ТГЗ и ПСДЗ; чистовая рукопись ТГЗ II); лето 1883 г. Т. 10: 12.

Z I 4–тетрадь в 1/8 листа, 238 с. (записи к ТГЗ; планы, наброски, фрагменты; чистовая рукопись ТГЗ II); лето 1883 г. Т. 10: 13.

Z II 1—тетрадь в 1/8 листа, 110 с. (планы, наброски, фрагменты к ТГЗ III и ЕН); осень 1883 г., октябрь 1888 г. Т. 10: 16. Т. 13: 23.

Z II 2—тетрадь в четверть листа, 38 с. (планы, наброски, фрагменты к ТГЗ; чистовая рукопись ТГЗ III); осень 1883 г. Т. 10: 20.

Z II 3—тетрадь в четверть листа, 154 с. (планы, наброски, фрагменты к ТГЗ; чистовая рукопись ТГЗ III; поздние записи); конец 1883 г., начало 1888 г. Т. 10: 22. Т. 12: 13.

Z II 4—тетрадь в четверть листа, 152 с. (планы, наброски, фрагменты к ТГЗ III; чистовая рукопись ТГЗ III). Т. 10: 23.

Z II 5—тетрадь в 1/8 листа, 122 с. (планы, наброски, фрагменты; записи к ТГЗ; наброски стихотворений); лето–осень 1884 г. Т. 11: 27.28.30.

Z II 6—тетрадь в четверть листа, 90 с. (записи к ТГЗ IV, стихотворения и фрагменты); осень 1884 г.—начало 1885 г. Т. 11: 28.30.

Z II 7—тетрадь в четверть листа, 92 с. (записи к ТГЗ IV, стихотворения и фрагменты); осень 1884 г.—начало 1885 г. Т. 11: 28.30.

Z II 8—тетрадь в четверть листа, 90 с. (планы, предварительные стадии и чистовая рукопись ТГЗ IV); зима 1884–1885 г. Т. 11: 31.

Z II 9—тетрадь в четверть листа, 94 с. (планы, предварительные стадии и чистовая рукопись ТГЗ IV); зима 1884–1885 г. Т. 11: 32.

Z II 10—тетрадь в четверть листа, 80 с. (планы, предварительные стадии и чистовая рукопись ТГЗ IV); зима 1884–1885 г. Т. 11: 33.

Рукописи

M III 4—тетрадь в 1/8 листа, 218 с. (заметки к ВН и ПСДЗ; планы, наброски, фрагменты). Осень 1881 г. Начало 1883 г.—лето 1883 г. Т. 9: 15. Т. 10: 7.

Записные книжки

N V 8—тетрадь в 1/8 листа, 200 с. (случайные записи; наброски писем и стихотворений к ИМ, ВН и более поздним стихотворениям; предварительные стадии ТГЗ I и афоризмов в Z I 2). Начало 1882 г.—февраль 1883 г. Т. 10: 4.

N V 9—тетрадь в 1/8 листа, 202 с. (небольшая часть—для ВН; стихотворения и наброски стихотворений; предварительные стадии афоризмов для Z I 1 и Z I 2; предварительные стадии ТГЗ I; наброски писем; случайные записи). Лето 1882—февраль 1883 г. Т. 10: 1.2.4.

N VI 1—тетрадь в 1/8 листа, 202 с. (случайные записи, наброски писем, стихотворения; предварительные стадии афоризмов для Z I 2 и ТГЗ I). Июль 1882 г.—февраль 1883 г. Т. 10: 1.4.

N VI 2—тетрадь в 1/8 листа, 166 с. (заметки к ТГЗ II и случайные записи). Май–июнь 1883 г. Т. 10: 9.

N VI 3—тетрадь в 1/12 листа, 116 с. (заметки к ТГЗ II и случайные записи). Июнь–июль 1883 г. Т. 10: 10.

N VI 4—тетрадь в 1/12 листа, 102 с., использована наполовину (заметки к ТГЗ II и случайные записи). Июнь–июль 1883 г. Т. 10: 11.

N VI 5—тетрадь в 1/12 листа, 110 с. (наброски к ТГЗ и фрагменты; случайные записи). Лето–осень 1883 г. Т. 10: 15.

N VI 6—тетрадь в 1/8 листа, 200 с. (случайные записи, наброски к ТГЗ и фрагменты; предварительные стадии ТГЗ III). Осень 1883 г. Т. 10: 17.

N VI 7—тетрадь в 1/8 листа, 194 с. (наброски к ТГЗ III; случайные записи). Осень 1883 г. Т. 10: 18.

N VI 8—тетрадь в 1/8 листа, 94 с. (наброски к ТГЗ III; случайные записи). Осень 1883 г. Т. 10: 19.

N VI 9—тетрадь в 1/8 листа, 138 с. (наброски стихотворений; наброски к ТГЗ IV; случайные записи). Осень 1884 г.—начало 1885 г. Т. 11: 29.

Папки

Mp XVIII 3 — Предварительные стадии к ВН («Шутка, хитрость и месть»); наброски и фрагменты стихов. Т. 9: 18.

Специальные обозначения, используемые в комментарии

Cb (Korrekturbogen) — корректурные листы

Cb^1 — корректурные листы без правки Ницше

Cb^2 — исправления Ницше в корректурных листах

Dm (Druckmanuskript) — рукопись для печати, на основе которой делается первое издание

Ed (Erstdruck) — пробный оттиск

He (Handexemplar) — рабочий экземпляр

Rs (Reinschrift) — чистовая рукопись, предшествующая рукописи для печати

Vs (Vorstufe) — предварительная стадия: заметки, использованные в чистовой рукописи

BN — книги из библиотеки Ницше

/ конец строки в рукописи

[?] неточное чтение

[–] нечитаемое слово

[ ] вычеркнутый Ницше текст

< > добавление издателя

{ } добавление Ницше

——— незавершенное предложение

[ ] замечание издателя

Комментарии к «Так говорил Заратустра» (I–IV)

В ВН 342, в последнем афоризме первого издания этой работы (1882), впервые появляется образ Заратустры; этот афоризм идентичен началу «Предисловия» в *Так говорил Заратустра.* Однако имя Заратустры мы находим уже в заметках Н., за целый год до выхода *Веселой науки.* В начале августа 1881 г. Н. делает заметки о «вечном возвращении»; тремя неделями позже, причем в точно датированной записи: Сильс-Мария, 26 августа 1881 г., — имя Заратустры всплывает в связи с названием (с этого времени постоянно повторяющимся во фрагментах) новой работы: *Полдень и вечность* (ср. т. 9, 11 [195.196.197]). Но пока остается неизвестным, из какого именно источника Н. взял это имя. В этой связи можно процитировать одно место из «Опытов» Эмерсона, которые Н. читал в то время особенно интенсивно («ни в одной книге никогда я не чувствовал себя настолько дома и в своем доме… мне не следует ее хвалить, она мне слишком близка», — замечает он; т. 9, 12 [68]) и которые, возможно, были у него под рукой (в ницшевском экземпляре книги это место несколько раз подчеркнуто и отмечено, а на полях Н. написал: «*Вот оно*!»):

«И мы добиваемся того, чтобы человек был столь крупен, столь выделялся среди пейзажа, что немедленно всем становилось бы известно: вот он поднялся, вот опоясал чресла свои и направился к такому-то месту. Всего больше доверия внушают нам образцы величественных людей, которые одним своим появлением отодвигают в сторону прочих, завладевая нашими чувствами; это познал на себе тот восточный маг, который был послан проверить, так ли велик Зардушт, или Зороастр. Персы рассказывают: когда сей китайский мудрец прибыл в Бактру, Гуштасп назначил день, в который должны были собраться со всей страны вожди, и золотой стул поставлен был для гостя. Тогда возлюбленный пророк Зардушт выступил среди собравшихся. И муд-

рец, взглянув на этого вождя, молвил: “Такое тело, такая поступь обманывать не могут, одна правда, чистая правда способна была в них себя проявить”»[1].

В двух тетрадях осени 1881 г. (N V 7 и M III 4) Заратустра превращается в главное действующее лицо сентенций и анекдотов (подобно анекдотам из жизни какого-нибудь античного мудреца). Речь идет о подготовительных этапах к ВН 68, 106, 125, 291, 332, как и о фрагментах из т. 9: 12 [79. 112.128.131.136.157.225] и 15 [50.52]. В 12 [225] опять-таки значимый заголовок: *Праздность Заратустры*, — о котором Н., должно быть, думал (ср. фрагменты 12 [112]; ср. СК, афоризм 1) и в сентябре 1888 г. (ср. комментарий к СК). Однако имя Заратустры осталось, прежде всего, в последнем афоризме (342) *Веселой науки*; во всех остальных афоризмах оно исчезло. В предварительных вариантах упомянутых афоризмов мы не находим разъяснений относительно возникновения характерной литературной формы *Заратустра*, и предполагаемые библейские строки из ВН 342 всплывают в рукописи без всякой видимой связи: они оказываются чем-то новым, к чему предварительные варианты афоризмов 68, 106, 125, 291, 331 никак не подготавливают. Лишь фрагмент 12 [225] содержит выражение — «Так говорил Заратустра» (So sprach Zarathustra), — предвосхищающее, как кажется, название *Так говорил Заратустра* (Also sprach Zarathustra).

Незаконченные фрагменты из тт. 10 и 11 образуют необходимый дополнительный фон четырех частей *Так говорил Заратустра*. Параллельное чтение произведений и наследия будет облегчено комментарием, который — в отличие от всех других комментариев KSA — помимо собственно вариантов традиции в узком смысле (*Vs, Rs, Dm, Cb, Ed, He*) будет еще раз воспроизводить важнейшие тексты записей (тт. 10–11). Из всего этого можно будет сделать некоторые выводы относительно работы Н. в период подготовки *Заратустры*. Когда Н. говорит о четырех частях своей работы как о «трудах десяти дней» (ср. ЕН, т. 6), это, конечно, не относится к возникновению основных идей и их воплощению, к различным параболам, сравнениям, афоризмам,

---

1 Цит. по: Р. Эмерсон. Эссе. М., 1986, с. 311–312. (Все примечания к тексту *Комментария* принадлежат переводчику.)

поэтическим прозрениям и повествовательным обрамлениям, к отдельным персонажам и др. элементам в его наследии, но скорее собственно к предварительным вариантам и беловым рукописям каждой части. Н. постоянно, практически ежедневно (часто во время своих пеших прогулок) вносил свои заметки в записные книжки; затем он переписывал их в более объемные тетради (ср. Н. – Петеру Гасту. 30 сентября 1879, цит. в предисловии к комментарию СТ), не ориентируясь заранее на определенный план, то есть не ища возможности некоторым образом расположить свои материалы или изменить уже намеченную последовательность. Когда позже он приступал к сочинению какой-либо части *Так говорил Заратустра*, он мог закончить ее так быстро потому, что был подготовлен, хотя заранее и не знал литературного итога своей работы. Этой последней фазой работы являлись предварительные варианты и беловые рукописи каждой части *Так говорил Заратустра*. Весь объем набросков, предварительный для этой фазы, содержательно и формально различным образом связанный с нею, опубликован в виде незаконченных фрагментов и частично приводится еще раз в комментарии. Как это видно из фрагментов наследия, Н. всякий раз после завершения очередной части *Заратустры* планировал разные возможные продолжения своей работы, которые затем были отвергнуты. То же самое происходило – вплоть до осени 1888 г. – с окончанием *Так говорил Заратустра* (начало 1885 г.).

Первая часть *Так говорил Заратустра* была создана в январе 1883 г. Вышедший из печати экземпляр работы Н. отправляет 14 февраля из Генуи в Хемниц; таким образом, представляется правдоподобным то, о чем он пишет в ЕН: «заключительная часть... была дописана именно в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер». (Вагнер умер 13 февраля 1883 г.) Дошедшее до нас рукописное наследие имеет пробелы: отсутствует большая часть предварительных версий, имеется чистовик лишь одной части *Предисловия*. Утрату рукописей позволяет прояснить разрыв Н. с Паулем Рее, Лу фон Саломе и своей семьей: сохранившиеся записные книжки этого времени действительно содержат многочисленные наброски писем к названным людям (наряду с фрагментами к *Заратустре* и иного рода запи-

сями). Гипотеза об уничтожении записных книжек, которые содержали более многочисленные и еще более жесткие высказывания в адрес родных, кажется весьма логичной. Рукопись для печати первой части была позднее (по свидетельству Петера Гаста) сожжена самим Н. вместе с рукописями для печати второй и третьей частей. Книга печаталась с 31 марта по 26 апреля. Корректуры читались одновременно Н. и Петером Гастом. В конце апреля появилась книга: *Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого* (*Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen*, Chemnitz 1883, Verlag von Ernst Schmeitzner (= ТГЗ I)).

Первая часть *Так говорил Заратустра* стала «первой частью» (это указание отсутствовало на процитированном выше титульном листе), когда появилась вторая. Она возникла в период весны–лета 1883 г. В начале июля Н. приехал в Сильс-Мария для работы над оттиском, который он отослал в типографию в середине июля. Рукописное наследие второй части хорошо сохранилось и не имеет пробелов, в том что касается черновых вариантов и чистовых рукописей глав. В промежутке между концом июля и концом августа корректура была прочитана (как всегда, Н. и Гастом) и книга отпечатана; она появилась под заглавием: *Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть вторая* (*Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Zweiter Theil*, Chemnitz 1883, Verlag von Ernst Schmeitzner (= ТГЗ II)).

В период между концом лета 1883 г. и началом 1884 г. Н. работал над третьей частью. Рукописное наследие этой части также полное (нет пробелов в черновых вариантах и чистовых рукописях глав). В конце февраля 1884 г. Н. и Петер Гаст снова читали корректуры; работа вышла в конце марта: *Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть третья* (*Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Dritter Theil*, Chemnitz 1884, Verlag von Ernst Schmeitzner (= ТГЗ III)).

Первоначально Н. рассматривал третью часть как завершение *Так говорил Заратустра*. Весь 1884 год, вплоть до осени, отмечен интенсивными теоретическими занятиями (ср. т. 11, S. 9–296), хотя появляются и записи о Заратустре. Зимой 1884–1885 гг. Н. сначала планировал в связи с Заратустрой работу под названием *Полдень и вечность* (также в трех частях); для нее он не нашел издателя. В конце

концов он решился опубликовать четвертую и последнюю часть *Заратустры* за свой счет. Рукописное наследие этой части полностью сохранилось (черновые варианты, чистовые рукописи, а также оттиск). Корректуры читались Н. и Гастом с середины марта 1885 г. В середине апреля появилась книга: *Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Часть четвертая и последняя* (*Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Vierter und letzter Theil*, Leipzig 1885, bei Constantin Georg Naumann (= ТГЗ IV)). Было отпечатано только 40 экземпляров, которые Н. раздал небольшому числу друзей и знакомых. Единое издание первых трех частей, экземпляры которых были сшиты в одну книгу, появилось в 1886 г.: *Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. В трех частях* (*Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. In drei Theilen*, Leipzig o.J., Verlag von E. W. Fritzsch).

Листы корректуры второй и третьей частей *Заратустры* сохранились, как и рабочий экземпляр четвертой части *Заратустры* с собственноручными записями Н.

[Часть первая]

Предисловие Заратустры

11 [1–34] *ср. BH 342.*
[1: тридцать лет] *как Иисусу, ср. Лк. 3, 23.*
12 [10: Тогда ... гору] *ср. 31 [28]; ТГЗ II 141 [34–35]*
[13–14] *ср. т. 10, 5 [1]:* 228. Взгляните на него, чист ли его взор и нет ли презрения на его устах. Взгляните на него, идет ли он, точно танцует.
[15–16: пробудился] *как Будда, ср. H. Oldenberg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Berlin 1881, 113. BN.*
[20—13 18] *ср. следующую схему в т. 10, 4 [167]:* «Последний разговор с отшельником. / —Я хвалю тебя за то, что ты не стал моим учеником. / Отшельник: я слишком презираю людей, я слишком люблю их—я не выношу их—я должен слишком сильно притворяться и в том, и в другом. / Я несу им новую любовь и новое презрение—сверхчеловека и последнего человека. / Я не понимаю тебя—ведь то, что ты им несешь, они не принимают. Пусть они сначала попросят милостыню! / Заратустра ——— / Но им нужна лишь милостыня, они недостаточно богаты, чтобы им были нужны твои сокровища. / Я слагаю песни и пою их, я смеюсь и плачу, когда слагаю свои песни». *В самом ТГЗ нет никакого «последнего разговора с отшельником», лишь это; о смерти отшельника ср. ТГЗ IV 261 [8–10].*
[23–25: Человек ... убила бы меня] *ср. т. 10, 1 [66]; 3 [1]:* 9. Так говорил святой: «я люблю бога—ибо человек нечто слишком несовершенное. Любовь к человеку разрушила бы меня». *5 [1]:* 245. Многое в человеке можно любить—но человека нельзя любить. Человек нечто слишком несовершенное; любовь к человеку убила бы меня.
13 [3–5] Не ходи к людям, иди лучше к зверям. Учи зверей, что природа ужаснее, чем человек. *Vs.*
[16–18] Этого человека мне нечему больше учить. *Т. 10, 4 [167].*
[24–25: Человек ... превзойти его?] Ч<еловек> есть нечто, что *должно* превзойти; что сделал ты для этого? Что мне до ваших добрых злых л<юдей>? *Т. 10, 4 [165].*

[29–31] Что для нас обезьяна, предмет мучительного позора, — тем должны быть мы для сверхчеловека. *Т. 10, 4 [181].*

[32–33: Вы ... червя] Как совершили вы путь от червя к человеку! но многое в вас еще от червя и от памяти о вашем пути. *Т. 10, 4 [139].*

[35–36] Человек должен быть чем-то средним между растением и призраком. *Т. 10, 4 [116].*

14 [8–17] Вы прикрываете свою душу: нагота была бы срамом для вашей души. О, если бы вы поняли, почему бог наг! Ему не нужно стыдиться. Он более могуществен, когда наг! / Тело есть нечто дурное, красота нечто дьявольское; тощим, отвратительным, голодным, черным, грязным, так должно выглядеть тело. / Хулить тело для меня все равно что хулить землю и смысл земли. Горе несчастному, для которого тело дурно, а красота кажется дьявольской! *Т. 10, 5 [30]; в связи с «нагим богом» ср. т. 9, 11 [94.95]; ср. цитату из Сенеки (ер. XXXI): «Deus nudus est»[2]; ср. также ТГЗ I* О презирающих тело.

[24–25] Я учу вас о сверхчеловеке; великому презрению должны учиться вы сами. *Т. 10, 4 [208].*

[26–27: В чем ... презрения.] *ср. т. 10, 4 [154]:* Вы никогда не переживали мгновения, которое бы сказало вам: «мы жалки».

15 [1–3] *ср. т. 10, 5 [1]:* 168. Сострадание — это адское чувство: сострадание само есть крест, на котором был распят тот, кто любил людей.

[6: самодовольство] трезвость *т. 10, 5 [1] 125.*

[6: вопиет к небу] *библ., Быт. 4, 10.*

[8–9: Но где ... заразить?] я заражаю вас безумием *т. 10, 4 [78].*

[26–27] *ср. т. 10, 5 [1]:* 66. Есть натуры, которые не находят иного средства выносить себя, как стремиться к собственной гибели.

[34–36] Я живу, чтобы познавать: я хочу познавать, чтобы жил сверхчеловек. *Т. 10, 4 [224].*

16 [6–11] *ср. т. 10, 4 [229]:* И кто сострадателен, должен из этого сострадания сделать для себя долг и судьбу, а

---

[2] Бог наг (*лат.*).

кто верен, для того верность должна стать его долгом и его судьбой – а у тебя нет достаточно духа для своей добродетели. *5 [17]:* Я люблю того, кто не награды, но наказания и гибели ожидает от своей добродетели.
[12–14] *ср. т. 10, 5 [18]:* Вы не должны хотеть слишком много добродетелей. Одна добродетель уже много добродетели – и нужно быть достаточно богатым и для одной добродетели. Чтобы она жила, должны вы погибнуть.
[15–17] *ср. Лк. 17, 33: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее».*
[18–20] *ср. т. 10, 3 [1]:* 309. «Перед любым поступком меня мучает мысль о том, что я лишь игрок в кости, – мне неведома больше свобода воли. А после каждого поступка меня мучает мысль, что кости выпадают в мою пользу; может быть, я нечестный игрок?» – угрызения совести познающего.
[21–23] *ср. т. 10, 3 [1]:* 15. Предвари дела твои словами: свяжи себя самого стыдом перед нарушенным словом. *Ср. также 1 [52].*
[27–28] Кто любит бога, тот карает его. *Т. 10, 2 [28]; 3 [1] 189: Послание к евреям 12, 6: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает».*
[29–31] *ср. т. 10, 5 [1]:* 253. Вы для меня слишком грубы: вы не можете погибнуть от малейших переживаний.
[32–34] *ср. т. 10, 5 [1]:* 238. Я слишком полон, так что забываю себя самого, и все вещи содержатся во мне, и нет ничего, кроме полноты вещей. Куда пропал я?
[35–37] *ср. т. 10, 3 [1]:* 130. «Сердце принадлежит утробе» – сказал Наполеон. Утроба тела лежит в сердце. *5 [1]:* 166. Я люблю свободных духом, если они также свободные сердцем. Для меня голова подобна желудку сердца – но человек должен иметь хороший желудок. Что сердце принимает, то голова должна переварить. *Ср. ТГЗ III, 210 [15]:* дух есть желудок!

17 [8–9: мои речи ... ушей] *ср. Мф. 13, 13.*
[10–13] Создан ли я, чтобы быть проповедником покаяния? Создан ли я, чтобы греметь, подобно проповеднику и литаврам? *т. 10, 4 [207]* 136. Он научился выражать себя – но с тех пор люди больше не верят ему. Верят только заике. *3 [1].*

[20: последний человек] *см.:* (последний человек: своего рода китаец) *т. 10, 4 [204]* Последний человек — покашливает и наслаждается своим счастьем. *4 [162]* Человек решает остановиться, как сверхобезьяна, образ последнего человека, который вечен. *4 [163]* Противоположность сверхчеловека — последний человек: я создал их одновременно. *4 [171]*.

[31–32] *ср. т. 10, 5 [1]:* 128. Вы должны хранить в себе хаос: все грядущие должны иметь материал, чтобы сформировать из него себя.

18 [23: Нет ... стадо!] *ср. Ин. 10, 16: «...и будет одно стадо и один Пастырь».*

20 [12–13: которого ... плясать.] *из:* я недостоин сострадания. *Rs.*

[14–16] *из:* «Его жаль, он из опасности сделал свое ремесло; этому научился я у человека». *Rs.*

[28: труп] *затем в Rs:* его хочу я теперь взять с собой и покинуть этот город». Темной была ночь, по темному пути шел Заратустра через ночь; долгим было его путешествие, потому что тащил он труп на своей спине [кровь стекала с него] холодный и неподвижный труп, на котором еще не высохла кровь. Наконец, когда Заратустра шел уже не один час и [———] хищные звери ему [———] он сделал остановку у большого дерева и заснул.

[35: Темна ... Заратустры.] *ср. Притч. 4, 19: «Путь же беззаконных — как тьма...».*

21 [39–40: Тот ... душу] *ср. Пс. 145, 5–7: «Блажен ... дающего хлеб алчущим».*

22 [10–17] *Вариант в Rs:* Но после этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд, как привычный ночной путник и друг спящих. Когда стало светать, очутился он в глубоком лесу, и дальше не было видно дороги. Тогда лег он под деревом и уснул, а мертвец лежал рядом с ним.

23 [8: кто ... скрижали] *как Моисей, ср. Исх. 32, 19.*

[14–15: всё ... серпов] *ср. Мф. 9, 37: «...жатвы много, а делателей мало».*

[13–16] *ср. т. 10, 3 [1]:* 156. Всё созрело у него для жатвы, но у него нет серпа – и потому рвет он колосья и негодует.

24 [10–25] Змея, сказал Заратустра, ты самый умный зверь под солнцем — ты должна знать, что укрепляет сердце, мое мудрое сердце; я не знаю этого. И ты, орел, самый гордый зверь под солнцем, возьми сердце и унеси его туда, куда устремится гордое сердце, — я не знаю этого. *Vs.* [19–25] Иногда я хочу от тебя: чтобы ты был мудр до глубины души и горд до глубины души; тогда твоя гордость всегда будет идти рядом с твоей мудростью. Ты пойдешь дорогой безумия, но я заклинаю и твое безумие, чтобы оно всегда брало гордость в сопровождающие. Но если хочешь ты быть безрассудным — — — *т. 10, 4 [234].*

Речи Заратустры

О трех превращениях

К этой главе: т. 10, 4 [237. 242. 246].

25 [9–29] *ср. 5 [1]*: 162. Что тяжелее всего для человека? Любить тех, кто нас ненавидит; расстаться с нашим делом, когда оно празднует свою победу; ради истины противоречить почтительности; больным быть и отогнать утешителей; вступать в холодную и грязную воду; заключить дружбу с глухими; протянуть руку призраку, когда он пугает нас, — всё это, сказал Заратустра, делал я и несу на себе — и всё это я сегодня отдаю ради малого, — улыбки ребенка. [19–20: Подняться ... искусителя?] *ср. Мф. 4, 1. 8.*

26 [38–40] *ср. т. 10, 5 [1]*: 178. Вот человек: новая сила, перводвижение, вечновращаюшееся колесо; будь он достаточно силен, он бы заставил звезды вращаться вокруг себя. *ср. Angelus Silensius, Cherubinischer Wandersmann 1, 37: «Ничто не движет тобой, ты сам колесо, / Катящееся само по себе, не зная устали».*

О кафедрах добродетели

Ср. к «сну праведного»: Пс. 4, 9; Притч. 3, 24; Еккл. 5, 11; Сир. 31, 1.23.24. B N V 8 почти все Vs к этой главе: Некогда называл я это «христианством» — а сегодня я называю

это «средством для хорошего сна». (*N V 8, 104*) Если уже есть у тебя в доме все добродетели, к тебе приходит и последняя – хороший сон. (*N V 8, 105*).

28 [24–26: Не стану ли я лжесвидетельствовать... ближнего моего?] *Ср. Исх. 20, 16.14.17.*
[29–30]: сами добродетели ... спать] *ср. ВН 5; т. 10, 3 [1]*: 33. Следует время от времени отправлять и свои добродетели спать.

29 [4–5: кто пасет ... лугах] *ср. Пс. 22, 1. 2; Ин. 10, 11сл. Vs*: Хороших пастухов люблю я: зелен луг, на котором пасут они своих овец.
[6–11] *Vs*: Я не желаю почестей и богатств: маленькое общество мне приятнее злого.
[12–14] *Vs*: Мне очень нравятся {для общества} нищие духом, если они блаженны [и не оказываются несносными клеветниками и спорщиками] и всегда воздают мне должное. *О «нищих духом» см. Мф. 5, 3.*

30 [3–6] *Vs*: И если бы жизнь не имела смысла, поистине, хороший сон {без сновидений} был бы прекраснейшей бессмыслице. / Ведь я сам охотно хвалил добродетели, эти красные цветы мака.
[16] *Vs*: Скажите, куда исчезли они, эти милые мудрецы? Не закрылись ли их глаза? / Тут и там есть еще подобные вокруг тебя; сладким голосом проповедуют они о добре и зле. / Блаженны эти сонливые.

О грезящих об ином мире

Основные Vs к этой главе также в N V 8: Откажитесь от этого лживого любования звездами! Чрево бытия [вещей] никогда не будет говорить к вам! *ср. 4 [226. 227]; ср. ЧСЧ-п 17, где впервые появляется слово* иномирник.

31 [28: я отнес ... на гору] *ср. выше 12 [10].*

32 [27: не прятать ... вещей] *ср. т. 10, 4 [274]*: В самый мелкий песок прятали голову иные страусы.
[33–34: искупительные ... крови] *ср., напр., 1 Пет. 1, 19.*
[39–40: тогда ... питье] *ср. Мф. 26, 27.*

33 [13–14: ту ... честность] *ср. УЗ 456.*
[30: соразмерное] *ср. Аристотель, Риторика. 1411b, 26–27.*

О презирающих тело

34 [11: стадо и пастух] *ср. Ин. 10, 16.*
[27–29] *ср. т. 10, 5 [31]*: За твоими мыслями и чувствами стоит твое тело и твоя самость в теле: terra incognita. Для чего у тебя эти мысли и чувства? Твоя самость в теле что-то этим выражает.

О радостях и страстях

36 [30–31] *ср. т. 10, 5 [1]*: 116. «Кто поверил бы, – сказал Заратустра, – что я из рода вспыльчивых, из рода сластолюбцев, фанатиков веры и мстительных? Но война освятила меня».
[34–35] *ср. т. 10, 5 [1]*: 141. Все эти дикие псы еще у меня, но в моем подземелье. Я не хочу даже слышать их лай.
37 [1–3] *ср. ЧСЧ 292.*
[8–11] *ср. т. 10, 4 [207]*: В человеке живет множество духов, как гадов в море; они бьются друг с другом за дух «Я»: они любят его, хотят, чтобы он садился к ним на спину, они ненавидят друг друга за эту любовь.
[22–23] *ср. т. 10, 3 [1]*: 345. Ревность – самая одухотворенная страсть и, несмотря на это, еще и величайшее безумие. / 346. В пламени ревности обращают, подобно скорпиону, жало на самих себя – но без успеха скорпиона.

О бледном преступнике

Т. 10, 4 [29]: Заблуждение в преступлении. *3 [1]*: 183. «Недостаточно покарать преступника, мы должны были примирить его с нами и благословить: разве мы не любили его, когда делали ему больно? <Не> страдали <ли мы> оттого, что должны были его использовать как средство для устрашения?» *4 [75]*: Бледный преступник в темнице – и Прометей! / Вырождение!
38 [17–19] *ср. т. 10, 3 [1]*: 330. Я хочу сказать «враг», а не «преступник»; «червь» хочу я сказать, а не «негодяй»;

«больной» хочу я сказать, а не «чудовище»; «сумасшедший» хочу я сказать, а не «грешник».

[20–22] *ср. т. 10, 3 [1]*: 381. Если бы ты решил громко высказать всё, что уже совершил в мыслях, каждый закричал бы: «Долой этого отвратительного червя! Он позорит землю» — и каждый забыл бы, что совершил то же самое в собственных мыслях. — Такими моралистами делает нас чистосердечность.

[25–27] *ср. т. 10, 3 [1]*: 111. Иной раз бывают наравне со своим поступком, но не с образом содеянного.

[28–32] *ср. т. 10, 3 [1]*: 96. Люди морали относятся к преступникам как к принадлежащим одному единственному делу — и они сами так относятся к себе, чем больше это дело исключение для них самих: оно действует как меловая черта на курицу. — В мире морали очень много гипнотического.

39 [4–9] *ср. т. 10, 5 [1]*: 6. Своими намерениями рационализируют свои неясные порывы, как это делает, к примеру, убийца, оправдывающий свою склонность к убийству решением ограбить или отомстить.

[15–19] *ср. т. 10, 5 [1]*: 185. Что такое человек? Куча страстей, врывающихся в мир через чувства и дух: клубок диких змей, которые редко устают от борьбы; тогда всматриваются они в мир, чтобы там найти свою добычу.

[33–34: Многое ... зло.] *ср. т. 10, 3 [1]*: 182. Есть многое в злых, что вызывает во мне отвращение, но и многое в добрых; и поистине, вовсе не их «зло»!

О чтении и письме

41 [6–7] *ср. т. 10, 3 [1]*: 162. Кто знает «читателя», пишет уже не для читателя — а для себя, писателя. *Ср. ЧСЧ-п 167*; *т. 10, 3 [1]*: 168. Еще одно столетие газет — и все слова провоняют.

[8–9] Что каждый имеет право научиться читать и читает, со временем разрушает не только писателей, но и сам дух. *Т. 10, 4 [70]*.

[15–16: должны быть вершинами] вершины *т. 10, 3 [1] 163*.

[30–31] *ср. т. 10, 3 [1]*: 78. Кто возвысился над добром и злом, тот и в трагедии видит лишь невольную комедию. 171. Кто поднимается на высокие горы, смеется над любыми трагическими жестами.

[35–36] Жизнь тяжело нести; для этого нужно упрямство утром и покорность после полудня. *Т. 10, 4 [72].*

42 [1–2] То бодро подставлять спину, как будто вся тяжесть мира должна лечь на нас, – то трепетать как розовая почка, для которой слишком тяжела даже капля росы. Мои братья и сестры, не притворяйтесь столь нежными! Мы все изрядные вьючные ослы и ослицы, а совсем не розовые почки, которые дрожат. *Т. 10, 4 [73].*

[2: изрядные ... ослицы] *ср. Мф. 21, 5; Зах. 9, 9 и т. 9, 10 [D80].*

[7: В любви ... безумия] *ср. Шекспир, Гамлет II, 2.*

[17–19] *ср. т. 10, 3 [1]*: 43. «Ты видел твоего демона?» – «Да, тяжело, серьезно, основательно, патетически – так предстал он, как genius gravitationis[3], из-за которого падают все существа и вещи».

[19: дух тяжести] *ср. одноименную главу в ТГЗ III.*

[22–24] *ср. т. 10, 3 [1]*: 297. Ходьба и виды ходьбы. Я научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. 298. Свободный дух. Кто может летать, знает, что для полета ему не нужен толчок, в котором нуждаетесь вы, застрявшие души, просто чтобы «идти дальше».

О дереве на горе

К библейским мотивам этой главы см. Ин. 1, 48, в первую очередь разговор Иисуса с «богатым юношей» (Мф. 19, 16 сл.)

43 [10–11: Но ... хочет.] *ср. Ин. 3, 8.*

[27–29] *ср. ВН 26 и т. 9, 12 [130]; 16 [10].*

44 [6–12] *ср. т. 10, 3 [2] стихотворение*: ***Pinie und Blitz*** / Hoch wuchs ich über Mensch und Tier; / und sprech' ich – niemand spricht mit mir. / Zu einsam wuchs ich und zu hoch / ich warte: worauf wart' ich doch? / Zu nah' ist mir der Wolken Sitz, / ich warte auf den ersten Blitz. (*букв.*: Пиния

[3] Дух тяжести (*лат.*).

и молния. / Высоко росла я над людьми и зверями; / я говорю — ко мне не говорит никто. / Росла я слишком одиноко и слишком высоко; / я жду; чего же жду я? / Слишком близко ко мне жилище молний, — / я жду первой молнии.)

[18: горько плакал] *ср. Мф. 26, 75.*

[25–29] *ср. выше 36 [34–35].*

45 [3–5] *ср. т. 10, 3 [1]*: 93. Благородный человек всегда стоит добрым поперек дороги; часто они отстраняют его, говоря, что он добр.

О проповедниках смерти

Ср. т. 10, 4 [272]: Государство, и церковь, и всё, что основано на лжи, служит проповедникам смерти.

46 [24–26] *ср. 5 [1]*: 170. «Я погружен в глубокое уныние, моя жизнь висит на маленьких случайностях». Отшельник.

[33–36] Есть проповедники, которые учат страданию. Они служат вам, хотя и ненавидят вас. *Ср. т. 10, 4 [52].*

47 [29: отправились туда] *в библейском смысле, ср. Пс. 89, 10.*

О войне и воинах

48 [14–16] *ср. т. 10, 3 [1]*: 438. Много солдат, но мало мужей! Много униформ и намного больше однообразия. *5 [1]*: 94. («Формой» называют они то, что носят; однообразие — вот что подразумевают они.)

[17–19] *ср. т. 10, 3 [1]*: 424. Некоторые люди глубоко нуждаются во враге: только у него сквозит ненависть с первого взгляда.

49 [1–3] *ср. т. 10, 3 [1]*: 436. Что хорошо? — «То, что мило и трогательно» — ответила маленькая девочка.

[4–6] *ср. т. 10, 3 [1]*: 259. Есть совершенно разные люди: кто испытывает стыд при отливе чувств (в дружбе и любви) и кто стыдится их прилива.

[18–20] *ср. т. 10, 3 [1]*: 364. Восстание — самое благородное поведение раба.

О новом кумире

В N V 8 большая часть Vs к этой главе: Они называют себя законными, или любящими народ, или хорошими и справедливыми, или независимыми *[?]* – но все они дурно пахнут. (*N V 8, 88*) Если есть у них сила, они лгут с чистой совестью, а если им недостает силы, тогда они лгут с дурной совестью, и притом еще лучше. (*N V 8, 90*) Друзья, я ненавижу государство: оно говорит «я смысл», который *[?]* позорит *[?]* веру в жизнь. (*N V 8, 100*).

50 [17: Это ... вам] *библейское, ср., напр., Ис. 66, 19.*

51 [10: Всё ... ему] *ср. Мф. 4, 9: «всё это дам тебе, если, пав, поклонишься мне» (дьявол Иисусу).*

[16–18] *ср. т. 10, 4 [272].*

52 [16–17: Там ... не лишний человек] *ср. девиз Рихарда Вагнера (Искусство и революция, 1849)*: «...где теперь оканчиваются государственность и философ, там снова начинается человек искусства».

О базарных мухах

Ср. т. 10, 4 [234]: (Махалка для мух) от ежедневного мелкого раздражения. *4 [250]*: (гл<ава>) Малые. Отправляйтесь в уединение, вы не можете выдержать и небольшого дождя. *5 [1]*: 260. Если вы слишком мягки и брезгливы, чтобы убивать мух и комаров, идите в уединение и на свежий воздух, где нет мух и комаров, и сами станьте уединением и свежим воздухом!

53 [11–13] *ср. т. 10, 4 [78]*: Ваши лучшие вещи ничего не значат без исполнения.

[31: праздничными] шумными *Cb*[1]; *GA*.

54 [37–39] *ср. т. 10, 3 [1]*: 84. Какая разница, льстите вы богу или дьяволу, визжите перед богом или перед дьяволом? Вы лишь льстецы и визгуны!

55 [1–3] *ср. т. 10, 3 [1]*: 85. Кто труслив до глубины души, тот обычно вполне умен, чтобы усвоить так называемую любезность.

[7–8] *ср. т. 10, 5 [17]*: Я люблю того, кто прощает врагу не только ошибки, но и победу.

О целомудрии

56 [7: с женщиной.] *в т. 10, 5 [1], 267 есть добавление*: Что они знают о счастье!
[10–11: О ... звери!] Нужно быть и совершенным зверем, если хочешь стать совершенным человеком. *Т. 10, 4 [94]*; *5 [1]* 164. Нужно быть и совершенным зверем — сказал Заратустра.
[20–21] Сука-чувственность, желающая заполучить кусок плоти, хорошо умеет клянчить кусок духа. *Т. 10, 2 [22]*.
[27–28] *ср. Мф. 8, 28–32*; вот какую притчу скажу я вам — *также библейская фраза*.
[29–31] *ср. 1 Кор. 7, 2.7*.
57 [5: Целомудрие ... безумие?] Разве не безумие быть иным, чем все? *Vs*.

О друге

Ср. т. 10, 4 [211]: Друг как лучший презирающий и враг. / Сколь мало достойных! / Быть совестью друга. Замечать любое унижение. Воспринимать совесть не только морально, но и как вкус, как пребывание в собственных границах. / Друг как демон и ангел. У них замок от цепей друг друга. Если они сближаются, цепь падает. Они поднимают друг друга. И как одно Я двоих они приближаются к сверхчеловеку и ликуют, обретя друга, ибо он дает им второе крыло, без которого не было бы пользы в одном.
58 [7–9] *ср. т. 10, 3 [1]*: 14. Третий всегда пробка, мешающая разговору двоих погрузиться вглубь; при определенных обстоятельствах это является достоинством.
[12–13: Наша ... самих.] *из*: Сосчитай всех людей, которым ты однажды поверил! Их сумма обманет тебя в твоей вере в себя. *Vs к т. 10, 3 [1] 129*.
[27–29] *ср. т. 10, 3 [1]*: 110. «Давать себя так, каков ты есть»: это может быть наградой, которую мы бережем для друга, — с тем результатом, что из-за этого он пошлет нас к дьяволу.

59 [1–3] *ср. СТ 8.*
[35] *из*: Существует товарищество; существование дружбы — это вопрос веры, любви и надежды. *Ср. т. 10, 3 [1] 91; 1 Кор. 13, 13.*

О тысяче и одной цели

60 [31–34] *Н. имеет в виду персов.*
61 [1–3] *Н. имеет в виду иудеев.*
[4–7] *Н. имеет в виду немцев.*
[25–31] любить и повиноваться в любви хочет Я; повелевать, повелевать и в любви хочет Я; и в стаде Я хочет только себя ради стада. / Но другое Я, лукавое, [больное,] холодное Я, использующее многих, чтобы принести лучшую пользу себе, — это отбросы, и гибель, и болезнь. *Vs.*
[32–37] *ср. т. 10, 4 [18]*: Любовь к пастуху и стаду сделала пользу доброй и целительной. Любовь к ребенку и роду была кощунством для любви всех. / Из любви создали они добро и зло, а не из мудрости: ибо любовь старше мудрости. / Некогда полезным было то, что повелевала всеобщая любовь, и чья любовь была сильнейшей, того стадо делало пастухом. / Малой была еще любовь к ближнему, презираемо было Я — и над всем было стадо.

О любви к ближнему

63 [8–10] *ср. т. 10, 4 [234]*: Вы бежите от самих себя — и всегда попадаете из дождя презрения в водосточный желоб любви к ближнему.
[27–29] *ср. т. 10, 3 [1]*: 207. Свидетелей охотно приглашают, когда хотят говорить о себе самих; это называют «общением с людьми».
[30–33] *ср. т. 10, 3 [1]*: 187. Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. — Второй род лжи столь обычен, что о него даже не спотыкаются: человеческое общение построено на нем.

[36–37: Один ... потерять] *ср. т. 10, 3 [1]*: 157. Один путешествует, потому что ищет себя, а другой — потому что хотел бы себя потерять.

64 [1–2] *ср. т. 10, 3 [1]*: 6. Когда пятеро говорят вместе, шестой всегда должен умереть. (*ср. также т. 10, 1 [90]*) 325. Ближнего всегда любят ценою дальнего.

[3–4] *ср. т. 10, 3 [1]*: 434. На патриотических праздниках зрители тоже актеры. *Ср. также Амос 5, 21: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших».*

[10–15] *ср. т. 10, 5 [1]*: 266. Мир являет себя завершенным — золотая чаша добра. Но творящий дух хочет творить и завершенное, он изобрел время — и теперь мир развернулся и снова сворачивается в большие кольца, как становится добро из зла, как рождается цель из случая.

О пути созидающего

Ср. т. 10, 4 [38]: Если хочешь, чтобы жизнь давалась тебе легко, оставайся в стаде. Забудь, будто ты над стадом! Люби пастуха и чти зубы его собаки!

65 [4–5] *ср. т. 10, 3 [1]*: 426. Мораль любого общества гласит, что уединение — грех.

[13–15] *ср. прим. к* **26** *[38–40].*

[16–18] *ср. т. 10, 3 [1]*: 97. «Высокими чувствами», «возвышенными мыслями» называете вы это; я вижу лишь вожделение высоты и судороги морального честолюбия.

66 [10: Всё — ложь!] *ср. ТГЗ IV* Тень **275** *[34] и прим. к ней.*

[11–13] *ср. т. 10, 3 [1]*: 175. Есть чувства, которые хотят нас убить; но если им это не удается, они сами должны умереть.

[32–33] *ср. ЧСЧ 67.*

67 [3–4] *ср. т. 10, 3 [1]*: 222. Героический человек познания боготворит своего дьявола и на этом пути оказывается грешником, ведьмой, пророком, скептиком, мудрецом, вдохновленным, победителем и, в конце концов, захлебывается в собственном море.

[5–7] *ср. Предисловие 2,* **12** *[10–12].*

[16–17: и ... справедливость.] *ср. т. 10, 4 [239]*: И ты полагаешь, что справедливость заковыляет вослед тебе?

О старых и молодых бабенках

68 [21–22] *ср. т. 10, 3 [1]*: 128. Решение загадки «женщина» — не любовь, а беременность.

[28–29] *ср. т. 10, 4 [67]*: Мужчина, пока существуют мужчины, привычен к войне и охоте; поэтому он теперь любит познание как самую обширную возможность для войны и охоты. Что женщина может полюбить в познании, должно быть чем-то другим — — —

[29–30] *ср. т. 10, 3 [1]*: 441. Женщина должна открыть и сохранить в мужчине ребенка.

69 [1–2] *ср. т. 10, 5 [1]*: 146. «Я хочу жить, сияя добродетелями еще не существующего мира».

[3–4] *ср. т. 10, 4 [100]*: Братья мои, я не знаю другого утешения для женщины, кроме этих слов: «и ты можешь родить сверхчеловека».

[5–6] *ср. т. 10, 3 [1]*: 107. Женщины атакуют своей любовью того, кто внушает им страх: это их храбрость.

[7–10] *ср. т. 10, 4 [58]*: Для женщины честь лишь в одном: она должна думать, что любит больше, чем любима. По ту сторону сразу начинается проституция.

[14–15] *ср. т. 10, 5 [1]*: 118. Глубоко, в глубине души и лучший мужчина зол; глубоко, в глубине души и лучшая женщина дурна.

[16–19] *ср. т. 10, 3 [1]*: 199. Железо ненавидит магнит, когда он не может полностью притянуть к себе железо — и всё же притягивает.

[34–36] *ср. т. 10, 4 [161]*: «Трудно сказать о женщине неправду: у женщин нет ничего невозможного» — ответил Заратустра. *Ср. Лк. 1, 37: «ибо у Бога никакая вещь не является невозможной»*[4].

70 [*3*] *Афоризм для себя: т. 10, 3 [1] 367.*

---

4 Русский канонический перевод в Лк. 1, 37: «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».

Об укусе змеи

71 [17–18: Уничтожителем ... праведные] *ср. т. 10, 4 [94]*: Тогда весь народ сказал: мы должны уничтожить уничтожителя морали — *такое вступление не приводится ни в одной из рукописей этого времени.*

[22: И ... стыдите!] *ср. т. 10, 5 [1]*: 151. Не давайте себя узнать! А если иначе нельзя, гневайтесь, но не стыдите!

[22–24: И ... немного!] *ср. т. 10, 3 [1]*: 272. Это не по-человечески: благословлять там, где тебя проклинают. Лучше также немного проклясть! *Против Мф. 5, 44*: *«благословляйте проклинающих вас».*

[25–27] *ср. т. 10, 4 [238]*: И если кто-нибудь совершит над вами большую несправедливость, позаботьтесь лишь о том, чтобы совершить над ним малую: это по-человечески.

[28–30] *ср. т. 10, 3 [1]*: 211. Несправедливость должен взять на себя тот, кто может ее нести: так хочет человечность.

[31–32: Маленькое ... мести] *ср. т. 10, 3 [1]*: 230. Маленькое мщение чаще всего более человечно, чем отсутствие всякой мести.

72 [1–3] *ср. т. 10, 3 [1]*: 77. Во взоре всякого судьи глядит палач.

[4–9] *ср. т. 10, 3 [1]*: 1. А: Что означает справедливость? Б: Моя справедливость — любовь со зрячими глазами. А: Но подумай, что ты говоришь: эта справедливость оправдывает каждого, кроме того, кто судит! Эта любовь выносит не только все наказания, но и всякую вину! Б: Да будет так!

[10–12] *ср. т. 10, 3 [1]*: 179. Ложь ***может*** быть человеколюбием познающего.

[13–15] *ср. т. 10, 3 [1]*: 116. Ты хочешь быть справедливым? Несчастный, как хочешь ты воздать ***каждому свое***? — Нет, этого я не хочу. Я отдаю ***каждому мое***: достаточно для того, кто не слишком богат.

О ребенке и браке

Vs в N V 8: «Стыдливое распутство» — так называю я ваши браки, хотя вы и говорите, что они заключаются на небе. / Я хочу, чтобы эти браки были бесплодными, хотя бог и сказал, что вы должны размножаться. / Два зверя искали себя, а нашли друг друга; с веревками и невидимыми цепями [бог крепко их связал и благословил ложе их] бог хромал мимо. // Два зверя ищут друг друга: они ищут общности в бедности, грязи и жалком самодовольстве! Это называют браком. / Два зверя находят друг друга — и торопливо приходят ближние и [зовут] связывают их невидимыми цепями; торопливо, хромая, приходит и милый боженька. // У меня есть вопрос для тебя одного; подобно мечу, должен он вонзиться в твою душу. / Ты молод и желал бы ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя, тот ли ты человек, которому позволено желать [иметь] ребенка? Что твоя любовь к женщине, как не сострадание к страдающему и сокрытому божеству? // Я люблю бога, который не приходит, хромая, чтобы благословить связанных зверей. / Вы должны создать высшее тело, перводвижение, вечновращающееся колесо: вы должны создать созидающего. / Мне не нравится ваше стыдливое распутство, которое называет себя браком. // Мне не нравится и ваш закон брака, мне против<ен> его толстый палец, указывающий на право мужчины. / [Есть право на брак — редкое право] [и есть право] Я хочу, чтобы вы говорили о праве на брак, — а в браке есть лишь обязанности и нет прав. / Не только вдаль должны вы насаждать себя, но и ввысь! Да поможет вам в этом сад супружества. *Закон брака, на который намекает Н., — это христианский закон; ср. 1 Кор. 7.*

73 [11–13] *ср. т. 10, 5 [1]*: 53. Ребенок как памятник страсти двух людей; воля двоих к единству.

[19: вечновращающееся колесо] *см. выше* ***26*** *[39] и прим. к нему.*

[21–22] *ср. 10, 4 [232]*: Смысл брака: ребенок, который представляет ***более высокий*** тип, чем ***родители***.

[34–35] *к «прихрамывающему» богу: ср. миф о Гефесте, Аресе и Афродите; ср. также Мф. 19, 6: «...что Бог сочетал, того человек да не разлучает».*

74 [23–25] *ср. т. 10, 3 [1]*: 53. Любовь к женщине! Если это не сострадание к страдающему богу, то инстинкт, ищущий скрытого в женщине зверя. *5 [17]* (*первоначально относилось к 4-му параграфу Предисловия*): Я люблю того, кто видит в ближнем страдающего бога, что скрыт в нем, и стыдится зверя, который виден в нем.

[26–28] Любовь даже у мудрейшего – безумие; лишь если ваша дружба звучит чисто, подобно золотому колокольчику, – – – // Любовь есть восторженное подобие того, что редко видят: подобие др<ужбы>. *Vs.*

О свободной смерти

Ср. т. 10, 5 [1]: 137. Как далеко должно зайти, чтобы высшими праздниками человека стали рождение и смерть!

75 [2–7] Многие умирают слишком поздно, а некоторые слишком рано. Но никогда не умирает вовремя тот, кто никогда не жил вовремя, – так делают все лишние. / Кто-то умер слишком рано – и для многих стала судьбой смерть одного. *Vs.*

[29–30] Если бы вы любили землю и тело, вы бы не *[?]* были беззубыми ртами. / Из почтения к [жизни] молодости вы бы хотели избежать [вашей жизни] старости и повесить ваши сухие ветки [у алтаря] в святилище {жизни}. *Vs.*

[31–32] *т. 10, 5 [1]*: 28. У человека науки одна судьба с теми, кто сучит веревку: он тянет свою нить в длину, но сам при этом – пятится.

76 [1–2] *ср. т. 10, 3 [1]*: 354. Все люди успеха знают толк в трудном искусстве – уйти вовремя.

[3–5] *ср. т. 10, 3 [1]*: 365. Нужно перестать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными, – так гласит тайна женщин, которые долго любимы.

[10–11: но ... надолго] *ср. т. 10, 3 [1]*: 2. Кто поздно юн, остается юным надолго. Не нужно искать юность среди юношей.

[30–35] *ср. т. 10, 4 [154]*: этот старый богочеловек не мог смеяться. / Иудей по имени Иисус был доселе лучшим любящим.

[35: и ... притом!] *ср. Лк. 6, 25: «Горе вам, смеющиеся ныне!»; ср. также ТГЗ IV* О высшем человеке **295** *[16–18].*

О дарящей добродетели

Vs: Есть другая, корыстная добродетель, и она хочет хорошо оплачиваться, здесь или не-здесь, и называет это «справедливостью». / О друзья дарящей добродетели, давайте станцуем танец насмешки над корыстной добродетелью. / Но этому вы научились не от меня: как танцевать танец насмешки.

78 [9–10: змея ... солнца] *ср. т. 10, 4 [260]*: Солнце, вокруг которого обвивается змея познания. *См. Быт. 3.*

[21–23] *ср. т. 10, 4 [100]*: Что общего у вас с волками и кошками? Они всегда лишь берут и не отдают и лучше украдут, чем возьмут. / Вы те, кто всегда дарит.

80 [32–34] *ср. т. 10, 5 [27]*: Я был в пустыне, я жил лишь как познающий. У познающего очистилась душа, – и жажда власти и все вожделения стали для него священными. Как познающий я высоко поднялся над собой к святости и добродетели.

[35: Врач ... сам] *ср. Лк. 4, 23.*

81 [9: избранный народ] *как Израиль; ср. напр. 1 Пет. 2, 9.*

[22–23] *ср. Мф. 5, 43–44.*

[26–27] *ср. т. 10, 4 [112]*: Если я вправду тот, кого почитал? И если это я, – остерегайтесь, как бы кумир не убил вас. *Ср. Аристотель, Поэтика, 1452a 7–10; см. также БОУ III, т. 1.*

[33–34: и только ... к вам] *в противоположность Иисусу, ср. Мф. 10, 33.*

Часть вторая

Ребенок с зеркалом

Первоначальное заглавие в Rs: Вторая утренняя заря.

85 [3–4: ожидая ... семя] *из*: подобно сеятелю, посеявшему горсть семян, чтобы испытать силу земли *Rs*; *ср. Мф. 13, 3.*

[7–8: как ... стыдливость] *ср.* Ночная песнь *111 [3–4]*.

[21–28] Мое учение в опасности, мои возлюбленные впали в заблуждение и нуждаются в своем учителе. Ну что ж! Я иду во второй раз, я должен им ——— / Ну что ж, я иду, [чтобы искать их, утерянных мною; и я дам им большее {и лучшее}, чем когда-либо давал] утерянных мною должен сначала искать я и на этот раз дать им то, что я получил [—] {мой первый дар}, что я в первый [раз] ——— / и больше любви должен я на этот раз дать им: ибо они пресытились моим первым даром. *Vs*.

[22–23] сорная ... пшеницей!] *ср. Мф. 13, 25.*

[27–28] *ср. эпиграф к этой части (=ТГЗ I, 81 [36–37]); о поиске «утерянного» см. Лк. 15, 4.*

[30–33: ищущий ... его] *из*: но как будто с ним случилось большое счастье. С удивлением смотрели на него орел и змея, а красный отсвет утренней зари лег на счастливое лицо его; его слова были подобны словам ясновидящего и песнопевца. *Rs*.

86 [3: Ранен ... счастьем] *ср. Р. Вагнер, Зигфрид, 3-й акт: «Ранил меня тот, кто меня пробудил», а также прим. к т. 8, 28 [23].*

[9: к ... закату] *ср. Псалом 49, 1.*

[21–22: Новыми ... созидающим] *из*: На новых языках говорил я, подобно всем созидающим: я устал. *Rs*.

[31–32: Даже ... блаженству] *из*: Кого не хочу я одаривать моим богатством! *Rs*.

[39: хохота молний] молний и грома. *Rs*.

87 [9–11] Но я хочу пастушьей свирелью привлечь моих овец обратно к моей любви. / Ах, как возрос голод мой по вам в моем изгнании. И теперь я даже боюсь, что любовь моя внушит вам страх своим голодом. *Из*: Но вы должны вернуться ко мне, нежными песнями хочу я привлечь вас к мудрости. / Ах, как вырос голод мой по вам и

безумие моей любви! И теперь я боюсь, что любовь моя сама [сделает меня более чужим и страшным для вас] внушит вам страх своим [безумием] голодом. *Rs*; *на той же странице есть следующий вариант отвергнутых строк*: Поистине, не пастушьими свирелями буду я привлекать моих овец к любви моей. / Голодный ищет вас; ах, как бы моя любовь своим голодом не внушила вам страх!

На блаженных островах

Заглавие в Rs: О богах.

88 [2–4] *ср. Н. к Роде, 7 октября 1869 г.*

[16–18] *из*: Не ты и не я, брат мой, – твоя воля может пересоздать тебя и меня самого в отцов и предков сверхчеловека; пусть это будет блаженством твоей воли! – *Rs*.

[19–24] *ср. т. 10, 5 [1]*: 188. Я хочу заставить вас думать по-человечески: это необходимо для тех, кто может думать <как> люди. Для вас необходимость богов не была бы подлинной.

89 [10–12] *ср. т. 10, 5 [1]*: 212. Пустое, единое, неподвижное, полное, сытость, не-желание – вот зло для меня: короче говоря – сон без сновидений.

[13–14] *ср. Гёте, Фауст II, 12104–12105; ср. также ВН 84 и прим. к этому месту.*

[18–26] *ср. т. 10, 5 [1]*: 226. Созидать – это избавление от страдания. Но страдание необходимо для созидающего. Страдание – это само-превращение, во всяком рождении есть умирание. Созидающему нужно быть не только ребенком, но и роженицей. *10 [20]* Любое созидание есть пересозидание – и где созидающие руки, там много смерти и умирания. / И только это умирание и распад; без сожаления ударяет скульптор по мрамору. / Чтобы освободить спящий образ из камня, он должен быть безжалостным; поэтому мы все должны страдать, и умирать, и становиться пылью.

90 [1–3] [Познание: так назвал я всё свое] [И в страстном желании чувствовал я] И в познании чувствовал я еще радость рождения, созидания и становления моей воли! [И если моего познания] И если есть невинность в моем

познании, я хочу назвать ее: «Воля к рождению!» *из*: Мое познание: пусть это будет лишь жажда, и страстное желание, и ценность, и битва ценностей! И пусть невинность познающего будет лишь его «Волей к рождению!» *Rs*.
[9–16] *ср. т. 10, 13 [3]*: Как вынес бы я это, если бы не любил сверхчеловека больше, чем вас! / Для чего же дал я вам стократное зеркало? И вечные взгляды? / Я преодолел и любовь к вам – любовью к сверхчеловеку. / И как я выношу вас, так и вы сами должны выносить себя, – из любви к сверхчеловеку. / Вы камень, в котором дремлет самая возвышенная из скульптур; другого камня не существует. / И как мой молот ударяет по вам, так вы должны ударять по самим себе! Зов молота должен разбудить дремлющий образ!
[16] *после этого в Rs вычеркнуто*: Мне нет до них дела; теперь говорите вы мне, что я несправедлив ко всем богам. / И возможно, вы правы: ведь всего несправедливее мы не к тому, что нам враждебно, а к тому, до чего нам нет дела. / Но – разве мог бы я иначе, друзья мои? *первая редакция*; Мне нет до них дела [и я проходил мимо них. Но], до этих богов. Но, возможно, я несправедлив к ним. / Ведь всего несправедливее мы не к тому, что нам враждебно, а к тому, до чего нам нет дела. Но – разве мог бы я иначе, друзья мои? – *вторая редакция; рядом третья редакция*: Мне нет до них дела, до этих богов. И, возможно, я несправедлив к ним. / Ведь таковы мы все: [не к тому, что нам враждебно и противно, наша несправедливость всего больше, а к тому, до чего нам нет дела] не так уж несправедливы к враждебному нам, как к тому до чего нам нет дела. / Но разве мог бы я быть другим! [я] человек, камень, самый безобразный, самый твердый камень, в котором – дремлет мой образ! *ср.* О сострадательных *92 [33–34]*.

О сострадательных

Ср. т. 10, 3 [1]: 92. Если сострадательные теряют стыд перед собой и говорят нам, что сострадание есть сама добродетель, – они вызывают сострадание.

91 [2–6] *ср. т. 10, 12 [1]*: 110. Познающий живет среди людей не как среди зверей, но – как будто среди зверей.
[7–12] *ср. т. 10, 12 [1]*: 89. Человек – это зверь с красными щеками: человек – это зверь, которому часто нужно стыдиться.
[16–17] *ср. Мф. 5, 7.*

92 [1–3] *ср. т. 10, 3 [1]*: 206. Большие одолжения рождают не благодарных, а мстительных.
[26–28] *ср. т. 10, 12 [1]*: 182. Если не выращивать своего дьявола, маленькая дьявольщина делает – маленьким.
[29–31] *ср. т. 10, 3 [1]*: 341. О каждом всегда известно слишком много.
[35–37] *ср. т. 10, 12 [1]*: 183. Своему другу нужно быть отдохновением, но и жестким ложем, походной кроватью.
[38–40] *ср. т. 10, 12 [1]*: 188. «Я прощаю тебе то, что ты мне сделал; но что ты сделал это себе – как мог бы я простить!» – так говорил любящий.

93 [10–11] *ср. т. 10, 3 [1]*: 287. «Любовь бога к людям – это его ад» – сказал дьявол. «Но как же можно влюбляться в людей!»

О священниках

94 [20–21: Ах ... спасителя!] *ср. т. 10, 9 [36]*: Спасению от спасителей учит Заратустра.
[22–24] *как в средневековых сказках.*
[27–31] *к «строить жилища» см. Мф. 17, 4.*
[32–35] *ср. т. 10, 9 [6]*: *Церковь*: поддельный свет, подслащенная серьезность благовоний, соблазн ложных страхов; мне не нравится душа, которая поднимается к своему богу – на коленях. *Ср. Н. к Овербеку, 22 мая 1883 г. из Рима*: а вчера я даже видел, как люди взбираются по священной лестнице на коленях!

95 [21–23] *ср. т. 10, 13 [1]*: И если ваша красота сама не проповедует покаяние, что сможет ваше слово!
[24–26] *из*: Ах, на меня нагоняют печаль эти [священники] пойманные и неосвобожденные! Вопреки им [живу я] живет Заратустра на седьмом небе свободы! *Rs.*

[27–29] *из*: Слишком много дыр у их духа, и где была дыра, тут же заткнули они ее своим безумием и назвали его богом — беднейшего дыропокаятеля! *Rs.*

[38] *после этого вычеркнуто*: Слишком коротким был вздох их сострадания. *Rs.*

[39–**96** 2] *ср. т. 10, 4 [17]*: Кровь не доказывает, она не спасает. Я не люблю этих уставших от жизни, — — — *4 [249]*: Кровь основывает церкви; какое отношение имеет кровь к истине! / И если вы хотите от меня признания, докажите основаниями, а не кровью. *5 [1]*: 175. Кровь плохой свидетель истины: кровь отравляет учение, превращая его в ненависть.

О добродетельных

97 [8–10] *ср. т. 10, 9 [48]*: Ведь вы хотите, чтобы вам платили? *и 4 [247]*: Гл<ава>. Вы хотите платы? Для меня мера вашей добродетели то, **что** вы хотите в качестве платы!

[28–30] *ср. т. 10, 9 [13]*: Жажды кольца, жажды снова достичь себя — ее жажду я.

[31–33] *ср. т. 10, 9 [45]*: Звезда сорвалась вниз и пропала — но ее свет всё еще в пути; когда же он прервет свой путь? / Ты звезда? Тогда и ты должен путешествовать и быть лишен родины.

98 [31: они ... других] *ср. Мф. 23, 12.*

99 [1–3] *ср. т. 10, 3 [1]*: 356. Вы верите, как вы говорите, в необходимость религии? Будьте же честны! Вы верите лишь в необходимость полиции и страшитесь разбойников и воров ваших денег и вашего покоя.

[4–6] *ср. т. 10, 3 [1]*: 4. Кто не способен видеть высокое в человеке, у того зоркий глаз для его низменного. *Ср. ПСДЗ 275.*

Об отребье

101 [19–21] *из*: Было ли мне нужно отребье, чтобы отвращение создало мне крылья? Было ли мне нужно отвра-

щение, чтобы я [искал источники] искал высшего и чистых источников? *Rs.*

102 [3–5] Бросьте чистый взор в этот родник; разве помутится он? Поистине, [лишь] засмеется он вам в ответ своею чистотой! *Из*: Бросьте чистейший взор в этот колодец: [его зеркальная гладь засмеется такому подарку] чтобы ваша чистота смеялась из блаженных глаз. *Из*: Тот, кто чист, бросил взор свой вниз, в этот колодец: в блаженно прозрачную воду. *Rs.*
[6–7] *как вороны Илие (3 Цар. 17, 6).*

О тарантулах

Ср. т. 10, 10 [7]: Черно и очерняюще искусство тарантулов; тарантулами же называю я учителей «худшего из миров».

103 [12: души] душу народа. *Rs.*
[19–20] *ср. т. 10, 9 [49]*: Очищение от мести — вот моя мораль.

104 [26–28] *ср. т. 10, 12 [43]*: Он проповедует жизнь, чтобы причинять боль тем, кто отворачивается от жизни: ведь они могущественнее, чем он, и с более чистым сердцем. / Но сам он, отвернувшись от жизни, сидит в своей норе; я не называю это жизнью: плести паутину как сеть и поедать мух.
[29–30: у кого ... смерти] *из*: они боятся жизни, потому что у них нежные сердца; и шумом думают они победить тишину. *Rs.*

105 [12] *после этого вычеркнуто*: Красотой утреннего света желает она блестеть, поэтому жадно смотрит она вдаль! *Rs.*
[38–39: привяжите ... столбу!] *как Одиссея.*

О прославленных мудрецах

108 [37: дух ... горами] *ср. 1 Кор. 13, 2.*

109 [4–6] *ср. т. 10, 4 [131]*: Вы, холодные и трезвые, вы не знаете восторгов холода! *и 12 [1]*: 154. «лишь горячие

знают восторги холода» — так говорил свободный духом.
[10–11: счастья в испуге] испуга в счастье. *Rs.*
[13: Вы ... теплыми] *ср. Откр. 3, 16.*

Ночная песнь

Заглавие в Rs: «Я свет» *из:* Песнь один<очества>. *Ср. т. 10, 13 [1]:* Я думал, что богаче всех, и еще верю в это; но никто не берет у меня. И потому страдаю я от безумия дающего. / Я не притрагиваюсь к их душе, и скоро я даже не буду касаться их кожи. Через последнюю, самую малую пропасть труднее всего перекинуть мост. Разве я не делал вам больнее всего, когда делал себе лучше всего? / Моя любовь и мой ненасытный голод по вам растет в моем изгнании, и даже мое любовное безумие отдаляет меня от вас и делает непонятнее.

110 [18–19: что ... брать] *ср. Деян. 20, 35: «блаженнее давать, нежели принимать»; т. 10, 12 [1]:* 140. Красть часто блаженнее, чем брать.
[26–27: даже ... мост] *ср. т. 10, 10 [4]:* Малая пропасть между мной и тобой, но кто перекидывал мосты через малые пропасти!
[35: одиночества] *из:* пресыщенности *Rs; после вычеркнуто:* [Ах, если бы я] И если бы я [назвал] мог назвать того, кого больше всего люблю, [хищным] разбойником, [хищной] ночной птицей [! Как], как хотел бы я оплатить тогда их страх любовью! / [Ах, если бы] И если бы я [исчез] мог исчезнуть от них в темную непогоду и [стал] стать облаком [! Как], как хотел бы я пролить на них золотую благодать из моего облака! *Из:* Ах, если бы я [целый час] назывался для того, кого больше всего люблю, {хищным} разбойником и хищною птицей! Ах, если бы я мог исчезнуть {от них} в темную непогоду и [на мгновение] был бы и человеком, и облаком! *Rs.*

111 [18–20: солнца ... их] *из:* летим мы своими путями, в этом наше движение; мы не приветствуем друг друга, когда встречаемся
[24–25] *из:* {Несказанно жаждет мое сердце} Вашей жажды [жажду я здесь несказанно]: я буду томиться от люб-

ви к вашей любви, я буду сгорать от ледяного — — — *из*: Вашей жажды жажду я: моя душа томится от любви к любви, я буду сгорать от ледяных — — — *Rs*.

Танцевальная песнь

112 [26–28] [И если дьявол зовется владыкой мира, не должен называться владыкой на земле дух тяжести] / Но я противник духа тяжести! Я смеюсь ему в лицо моим смехом высоты. *Rs*.
[28: «владыка мира»] *ср. Ин. 12, 31*.
[32–113 *4*] Переменчива твоя воля, непостоянна и упряма к самой себе; именно поэтому ты непостижима. / В твои глаза заглянул я, о жизнь; мне показалось, что я погрузился в непостижимую глубину. / Но ты вытащила меня к свету золотой удочкой, иначе я <захлебнулся бы> в твоей глубине. / Ты смеялась, когда я назвал тебя непостижимой; изменчива я, ложна и упряма — так говорила ты. / Кто захочет меня постичь, если я всегда себе противоречу! / Против воли моих волос ведет гребень мое упрямство. / Я лишь женщина, и притом не добродетельная! *Vs*.
[5–8] Но мужчины всегда одаряют нас собственными добродетелями. / И я зовусь глубокой, и таинственной, и верной, и вечной. / Но что во мне верно и вечно — это мое прошлое. / И [так хочу я зваться!] ты должен хвалить меня <как> прошлое: мое упрямство хочет этого (кто может поверить мне?) / Я хорошо тебя понимаю, ибо при женщинах мужчины всегда говорят самые большие глупости. *Rs*.
[13] *после этого отвергнутое продолжение*: Поистине, я не хвалю — не-хотеть-более, не-любить-более, не-жить-более! / Полное, единое, неподвижное, {пустое}, пресыщенное, {тяжелое} — называется у меня злом. / Сон без сновидений был бы для меня тяжелейшим кошмаром, и всякое последнее знание называю я моей величайшей опасностью. / И когда жизнь однажды спросила меня: «Так что же есть познание?» — я сказал, исполненный любви: «Познание? Это жажда, и [ценность, и созида-

ние, и борьба ценностей] питье по каплям, и более сильная жажда. / Познание — это взгляд сквозь покровы [на покровы], как будто просовываешь пальцы сквозь тонкие сети. / Ах, мудрость! Она заманивает нас, познающих, — немного красоты всё еще заманивает самых мудрых карпов! / Изменчива мудрость и упряма; слишком часто видел я, как она расчесывает гребнем волосы вопреки их воле! / У нее соблазнительная манера дурно говорить о себе. *Rs.*

[31–32] *ср. т. 10, 13 [1]*: Смотри, как женщина противится себе самой и как она ведет гребень вопреки упрямству и воле ее золотых волос!

114 [6–14] *ср. т. 10, 4 [212]*: Прохладно, луг лежит в тени, солнце ушло. / Разве не нелепо жить? Разве не было у нас больше разума, чтобы из жизни сделать разум? / Братья мои, простите душе Заратустры, что вечер настал.

Надгробная песнь

Заглавие в Rs: Праздник мертвых. *ср. 10, 10 [5]*: Там остров могил, там могилы моей юности; туда хочу я отнести вечнозеленый венок жизни. / Свою юность вспоминал я сегодня, я шел моей дорогой могил. На развалинах сидел я среди красных маков и травы — на моих развалинах. / Плывя к острову усопших по спящим морям. / Еще живо ты, старое терпеливое крепкое сердце, и в тебе живет еще неразрешенное, невыраженное моей юности.

115 [8–9: сладкое благоухание] *ср. т. 10, 9 [48]*: «подобные сладкому благоуханию», — но они должны были умереть.

[9: облегчает ... слезами] облегчает слезами; будто от блаженных молчаливых островов [дует оно по далеким морям] приходит оно. *Rs.*

[33: одержимостью] одержимость, самое золотое безумие моей истины. *Rs.*

116 [15–16.20] *ср. т. 9, 18 [5] и эпиграф первого издания ВН, взятый из Эмерсона.*

[35] *после этого вычеркнуто*: состраданием к моим врагам всецело был я некогда и лесным покоем смирения: ласко-

вые лесные звери прибегали ко мне в зеленых сумерках. Но я нашел моего самого любимого зверя истекающим кровью от оружия моего врага; ах, куда улетела любовь к моим врагам! *Из*: Забвением всецело стал я однажды и лесным покоем души: ласковые лесные звери прибегали ко мне в зеленых сумерках. Тогда придумали вы новое зло: моего лучшего друга склонили вы к самому позорному – ах, куда убежала моя сука забвения! *Rs*.

117 [4] *после этого вычеркнуто*: Сами ваши добродетели, вы, добродетельные, обернули вы против меня в капли змеиного яда, и это ваша справедливость всегда кричала: «Распните его!». *Rs*.

[13] *после этого вычеркнуто*: Что происходило со мной! Мое сердце погибало, как и пальцы моих ног: ведь уши танцора – в пальцах его ног! И моя воля не желала больше танцевать! *Rs*; *ср. ТГЗ III* Другая танцевальная песнь *229 [15]*.

[15: лучшему танцу]: танцу всех танцев, наднебесному. *Rs*.

[22: Как же я вынес это?] *ср. Р. Вагнер, Тристан и Изольда, II, 2*.

[23: этих] сотен. *Rs*.

[31: Неуязвим ... пяту] *в противоположность Ахиллу*.

[36–37: И ... воскресения] *из*: Поистине, где мои могилы, там всегда [были] и мои воскресения! *Rs*.

О самопреодолении

Заглавие в Rs: О добре и зле.

118 [31: творящая] творящая вечная *Rs*.

119 [6–7: повелевать ... повиноваться] *ср. т. 10, 12 [1]*: 162. Научиться повелевать труднее, чем научиться повиноваться.

[21–22: корней ее сердца] *из*: ее самую сокровенную волю *Cb²* волю ее нутра *Cb¹*; *Rs*.

120 [16–121 6] *первая редакция Rs*: Итак, нет непреходящего добра и зла; из себя самого должно оно снова и снова преодолевать себя. / С вашими ценностями совершаете вы насилие, вы, ценители ценностей; и это ваша воля к творению из [самой низкой] скрытой любви. / Но еще

большее насилие вырастает из ваших ценностей, и тогда разбивается скорлупа». / Друзья мои, жизнь сама научила меня своей тайне; поэтому должен был я стать разрушителем вашего добра и зла. / [Что называлось у вас справедливым и хорошим и] Давайте выскажем лишь эту истину [! Что проку в том, что мы разобьемся об истину!], эту ужасную истину [и могло бы называться]! Если бы нас разбила истина, что проку [в этом] в нас! / Пусть же мир разобьется – об истину! [и разлетится на куски!] – [чтобы однажды истина] Чтобы однажды был построен новый мир, – мир истины! *Вариант на нижнем поле той же страницы*: Так пусть же мир разобьется о наши истины – и можно будет создать новый мир! / Ведь [, друзья мои,] если истина не хочет построить себе новый мир – что проку в истине!

[30–33] *ср. т. 10, 13 [1]*: Не основание и цель твоего поступка сделало его хорошим, а то, что твоя душа при этом дрожит, и блестит, и проливается через край.

121 [4] *после этого вычеркнуто*: [Все ваши тайны должен я вынести на свет: раздеть хочу я ваши закутанные ц<енности>] Теперь вознаградите меня за то, что я стягиваю покров с ваших тайн. / Поистине, я видел вас нагими; что мне до вашего добра и зла! / Полезна вам истина или вредна – что мне до этого! Дайте нам создать новый мир, который нуждается в истине. / Пусть мир разобьется о мои истины – – –. *Rs*.

О возвышенных

122 [6–7: кающегося духом] *см. т. 10, 4 [230]*: И его ученый должен быть кающийся духом. *4 [266]*: Кающийся духом / Созидающий *4 [275]*: Достоинство хочу я сначала дать вам: вы должны быть кающимися духом!

[21–25] *ср. ЧСЧ-п 170*; *ср. также* Философия в трагическую эпоху Греции (1873): Греческое слово, которым обозначают понятие «мудрец», этимологически сродно с sapio – «я вкушаю», sapiens – «вкусный», sisyphos – «человек с наиболее острым вкусом»; острое чувство вкуса и хорошее уменье различать составляют по сознанию на-

рода искусство философа[5]. *См. также лекцию* Доплатоновские философы (1872).

123 [3–5] *ср. т. 10, 9 [6]*: Белым волом хочу я быть и тащить плуг; где лежу я, должно быть спокойствие и земля должна пахнуть землей.

[32–33] *ср. НР (ВБ).*

124 [1–3] *ср. т. 10, 10 [1]*: пока я стремился вверх вопреки моему бремени, я становился моложе; а когда я стал тверже внутри себя, я научился изяществу.

О стране образованности

Заглавие в Rs: О современниках.

126 [1–2: Скорее ... минувшего!] *ср. Ахилл в Одиссее 11, 489–491.*

[24–25: Всё ... погибнуть] *Мефистофель в «Фаусте» Гете I, 1339–1340.*

[26–31] *ср. Быт. 2, 22.*

О непорочном познании

Заглавие в Rs: К созерцательным.

129 [20: трусы] трусы [, желающие любви без страдания]. *Rs.*

[22–23: к чему ... «прекрасного»] *из*: прикасаться лишенными алчности глазами, должно быть окрещено именем искусства? *Rs.*

[23] *после этого вычеркнуто*: {Вы, ищущие чистого познания, вы выдаете себя за тех, кто воспринимает, не пятная:} «Чистое познание» – так зовете вы сладострастные и бесплодные прогулки по крышам при луне; такая «чистота» никогда не родит [– солнце] звезду! *Rs; ср. ТГЗ I Предисловие 5, 17 [31–32]*: нужно еще носить в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду.

[30–31] *ср. 1 Кор. 2, 1; Лк. 16, 21.*

---

5 Пер. по изд.: Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 202.

[33–34] *ср. т. 10, 13 [1]*: Тишина. Скромность высоты. Я сделаю моим украшением то, что падает со стола жизни, – и рыбьими косточками, раковинами и колючими листьями буду я украшен лучше, чем вы!

Об ученых

Ср. т. 10, 10 [12]: Сладки и вялы, подобно запаху старых дев, вы, ученые.

131 [20–22: сгораю ... комнат] *из*: мне приходят мысли, от которых перехватывает дыхание. А ученым приходят только те мысли, которые были у других *Rs; ср. у Шопенгауэра (см. ниже)*.

[23–25] *ср. т. 10, 13 [3]*: Кто хочет быть лишь зрителем жизни, пусть остерегается сидеть там, где солнце жжет ступени, – если, конечно, он не хочет ослепнуть.

[26–27] *ср. т. 10, 13 [1]*: Часами стоят они на улице и смотрят на проходящих мимо людей; а другие, вроде них, праздно сидят в комнатах и смотрят на мысли, проходящие мимо. Я смеюсь над этими созерцательными. *ср. Шопенгауэр, Parerga 2, § 51.*

[31–34] *ср. т. 10, 9 [23]*: Ваши изречения – «мелкие истины» рядом с трясиной; в них сидит холодная лягушка.

132 [1–3] *ср. т. 10, 12 [1]*: 86. Ученые: так называют сегодня солдат духа, как и – к сожалению – чулочников духа. *ср. также 3 [1] 444.*

[17–18] *ср. т. 10, 12 [7]*: Они хотят играть самыми маленькими костями и видеть, как танцуют те, кого трудно увидеть: гномы бытия, смешные прательца; но они называют это наукой и при этом потеют. / Для меня они дети, которые хотят играть; и если бы было немного смеха в их игре, я одобрил бы их «веселую науку».

[19: добродетели] лицемерные добродетели. *Rs.*

О поэтах

Ср. прим. к т. 2 и Vs к ЧСЧ-п 2: Поэт как обманщик; *ТГЗ IV* Чародей. Песнь уныния. О науке.

133 [2–4] *ср. т. 10, 10 [24]*: Вы голодны духом, – так хватайте же эту истину на закуску: непреходящее – только уподобление. *ср. Гете, Фауст II 12104сл.*
[5–7] *ср. ТГЗ II* На блаженных островах *89 [13–14]*.
[26–27] *ср. Мк. 16, 16*: *«Кто будет веровать и креститься, спасен будет», а также другие схожие места в Новом Завете.*
[31–32] *ср. 1 Кор. 13, 9.*
[35] *ср. Гете, Фауст II 12108–12109.*
134 [4–5: вечной женственностью] *ср. Гете, Фауст II 12110.*
[6–8] *ср. упомянутую выше Vs к ЧСЧ 32.*
[9–11] *возможно, здесь намек на сцену «красивая местность» в «Фаусте» (II, 1).*
[12–16] *ср. т. 10, 10 [17]*: Все они верят, что природа влюблена в них и всегда только и прислушивается к их льстивым речам.
[17–18] *ср. Шекспир, Гамлет I, 5.*
[19–20] *ср. ВН-п* К Гете.
[21: нас ... вверх] *ср. Гете, Фауст II 12111.*
[26–27] *ср. Гете, Фауст II 12106–12107; Ницше комментирует всю партию «chorus mysticus».*
[29–31: сердился ... даль] *из*: [ответил] обратился взор его внутрь, и он не знал больше, что говорит с учеником. Он как будто глядел в далекую даль и долго молчал. *Rs.*
135 [6–8] *возможно, намек на «примирение» у Гете (ср. СТ 124 и т. 8, 29 [1.15]).*
[12: Так ... камень] *ср. Мф. 7, 9: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?»*
[12–13] вероятно, они родом из моря; должно быть, их матери морские бабы. *Rs.*
[17–18] *ср. т. 10, 9 [49]*: Море, для собственного удовольствия распускающее свой павлиний хвост на мягком песке.
[22–23] *ср. т. 10, 9 [32]*: Подобно буйволу, близко к морю и еще ближе к лесу живу я.
[29] *после этого вычеркнуто*: Так говорил Заратустра. *Rs.*
[34: кающихся духом] *ср. выше к 122 [6–7].*
[35: них] поэтов *из*: них *из*: поэтов и духа поэтов. *Rs.*

О великих событиях

Заглавие в *Rs*: Об огненном псе. *Ср. т. 10, 10 [29]*: Насмешка над революциями и Везувиями. Нечто на поверхности. *10 [28]*: Беседа с огненным псом. / Насмешка над его пафосом. / Против революции. *10 [4]*: Беседа с адским псом. (Вулкан) *11 [11]*: Когда горит дом, забывают даже про обед – сказал огненный пес. / Да, а потом наверстывают его на пепелище (*ср. ПСДЗ 83*).

136 [8–20] *это реминисценция из Юстина Кернера (Justinus Kerner, Blätter aus Prevorst) была замечена К. Г. Юнгом в 1901 году; см. Psychiatrische Studien, Zürich/Stuttgart, 1966, 92; ср. также: Charles Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensée, Paris, 1958, Bd. 3, 258f. Место у Кернера выглядит так: «Четыре капитана и коммерсант, господин Белл, сошли на берег острова Маунт Стромболи, чтобы поохотиться на кроликов. К трем часам дня они стали созывать команду, чтобы вернуться на борт корабля, как вдруг, к их неописуемому удивлению, увидели двух людей, стремительно летящих к ним по воздуху. Один был облачен в черное, другой – в серое; они быстро пронеслись мимо и спустились, к величайшему замешательству собравшихся, прямо в горящий огонь, в жерло ужасного вулкана Маунт Стромболи».*

[13–20: идущего ... робость] или тень человека, идущего к ним; и когда он пролетал мимо них – туда, где была огненная гора, – они [все] с величайшим смущением заметили, что [это был Заратустра] на нём была одежда Заратустры: ведь они все, за исключением самого капитана, [вид<ели> его] уже видели Заратустру и знали, что он [отличался своей одеждой] отличается от всех людей даже своей одеждой. *Rs.*

[33–34: как же ... них] *ср. Ин. 20, 20 и другие рассказы в Евангелиях о явлениях Христа после его воскресения.*

137 [1–3] *ср. СТ 14.*

[14–15: твое ... красноречие] твое пересоленное красноречие *из*: твоя соль. Но море даже не кожа земли, а кожа кожи, – так что ты питаешься – – –. *Rs.*

[16: с поверхности!] с поверхности [, чтобы я мог считать тебя адским псом {из бездны, принадлежащим бездне}]. *Rs.*

138 [7: королям] *из*: государствам *из*: королям. *Rs.*
[11–15] *ср. т. 10, 12 [1]*: 128. Что есть «церковь»? – Глубоко изолгавшийся вид государства.
[16–17: как и ты ... грохотом] *из*: И если само государство – лицемерный пес, чем же должна быть церковь. *Rs.*
139 [9] *после этого вычеркнуто*: Тут Заратустра вдруг замолчал и удивленно посмотрел на своих учеников. *Rs.*

Прорицатель

140 [2: и я видел] *ср. Откр. 5, 1; 6, 1; 10, 1; 13, 1; 14, 1 и т.д.*
[6: со всех ... доносилось] *ср. Прем. 17, 18: «отдающееся из горных углублений эхо».*
[16–17] *ср. т. 10, 12 [1]*: 151. «Где есть еще море, в котором можно утонуть!» – этот крик несется сквозь наше время.
[26–27: еще ... наступят] *ср. Ин. 14, 19.*
141 [5–142 9] *к сну Заратустры см. т. 10, 9 [3]*: Свет полуночи был вокруг меня, одиночество смотрело на меня опьяненным, усталым взором. / – Мой голос кричал из меня – / Мертвая тишина спала и хрипела во сне. / Там лежали бессонница и полночь с пьяным взором. / Там лежало одиночество, а рядом с ним мертвая тишина; они спали и хрипели. *10 [12]*: Но никто мне не ответил. / Ах, вы не знаете, как добр я, одинокий, к голосам. Я стал пьян от ужасных голосов. / «Альпа! – закричал я, – говори же, голос. Альпа!» – кричали из меня мой страх и моя тоска. *Первое упоминание о подобном сне – в т. 8, 23 [197], т.е. во фрагменте периода лета 1877 г., а затем в т. 9, 10 [B17]. Сон со словами «Альпа! Альпа!» Ницше рассказывал летом 1877 г. своему другу Рейнхарту фон Зейдлицу: «Ницше смеясь рассказывал, что во сне ему нужно было взбираться по нескончаемой горной тропе; на самом верху, под вершиной горы, он захотел пройти рядом с пещерой, когда из темной глубины раздался голос: «Альпа! Альпа! Кто несет свой прах на гору?» – ср. R. Von Seydlitz, Wann, warum, was und wie ich schrieb, Gotha, 1900, 36.*
142 [11–12: которого ... всех] *ср. Ин. 20, 2.*
[14–38] *в т. 10, 10 [10] Заратустра так объясняет свой сон*: Вот что однажды со мной произошло: мне снился мой

самый тяжелый сон, и во сне я сочинял мою самую мрачную загадку. / Но смотрите, моя жизнь сама объяснила этот сон. Смотрите, мое Сегодня освободило мое Иначе и попавшийся в него смысл. / И так наконец произошло: трижды ударил гром среди ночи, трижды заревели своды. / «Альпа, – закричал я, – Альпа, Альпа. К<то> н<есет> <свой> п<рах> н<а> г<ору>? Что за преодоленная жизнь идет ко мне, <стражу> ночи и гробниц? / Когда я видел вас во сне, снился мне самый тяжелый сон. / И я хочу быть вашим страхом – вашим обмороком и вашим пробуждением.

[25–27] *перечеркнутый вариант в Rs*: И когда наступят долгие сумерки, я не хочу сходить с вашего небосвода. / Полуночным солнцем хочу я лежать у вас на горизонте: кровь должна быть в блеске моего света, «верой в жизнь» хочу я называться.

Об избавлении

144 [2–4] *ср. Мф. 15, 30*: *«И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих...»*.

145 [27–37] Ибо что я [не единое, но множественность, слишком многое и, в то же время, слишком малое –] многое и тень волящей множественности – это угадывал я часто из ваших слов и вопросов обо мне. / «Кто для нас Заратустра? – спрашивали вы часто. – Как должны мы называть его? / [Провидец] Обещающий? Или исполняющий? Завоевывающий? Или наследующий? Осень? Или плут? Поэт? Или говорящий правду? Освободитель? Или притеснитель? Добрый? Или злой? Врач? Или выздоравливающий?» *Rs*; *ср. вопрос Иисуса в Мф. 16, 13–15*.

146 [13–18] *ср. т. 10, 11 [5]*: Гнев, оттого что необходимость – из железа и что нам запрещено волить вспять. / Ярость, оттого что время утекает в будущее и не дает силой привлечь себя на мельницу прошлого!

147 [5–6: Всё ... прейти!] *ср. Гете, Фауст I, 1339–1340; ср. также* О стране образованности ***126*** *[24–25]*.

[7–9] *подобно Крону в древнегреческом мифе.*

[23–24] *ср.* На блаженных островах *89 [18–37]*.
[28] *после этого вычеркнуто*: Пока творящая воля не добавит: «и себя волю я, себя во времени». *Rs.*
147 [39–148 5] *Заратустра останавливается в своей речи, потому что он боится огласки учения о возвращении.*
[4: Трудно ... молчать.] *ср.* О сострадательных *92 [32]*.

О человеческой мудрости

Заглавие в Vs: О холодном рассудке.
150 [29–30] *ср. ТГЗ IV* О высшем человеке 5.
[35–37: Сколь ... длину] *Густав Науман в Комментарии к ТГЗ II, 165 пишет: «Выражение «двенадцать футов» относится, по-видимому, к какому-то древнему уложению о праве; тюремное заключение сроком до 3 месяцев отделяет, согласно действующему немецкому праву, проступки, относящиеся к компетенции шеффенов, от преступлений, передаваемых на рассмотрение суда присяжных».*
[38–40] *ср. ЧСЧ 498.*
151 [15–16] Я не знаю вас, людей, но кого знаю я и от кого устал, — это высшие люди. *Vs.*
[20–22] *ср. т. 10, 13 [1.7].*

Самый тихий час

152 [15] *библейское, ср. например Втор. 15, 7.*
[34: Это ... сил] *из*: Лишь это одно! / Свыше моих сил [говорить еще и это], у меня нет рта для этого. У меня нет голоса для этого. Это единственное слово приклеено к моему нёбу: я не могу выговорить его. *Rs.*
153 [1–2] *ср. Мф. 3, 11.*
[13–15] *ср. т. 10, 12 [1]*: 198. Одинокий сказал: «Я ходил к людям, но никогда не достигал их!».
[29–30] Редка воля, которая требует великое: легче найдешь ты такую, которая совершает это. *Rs.*
[33–34] *ср. Исх. 4, 10.*
154 [4–6] *ср. т. 10, 12 [1]*: 153. Нужно преодолеть и свою юность, если снова хочется быть ребенком. *Ср. также ТГЗ I* О свободной смерти *76 [9–11]*.

[16–18: и ... на земле] *из*: затем наступила тишина; это была двойная и ужасная тишина. *Rs*.
[21–22: меня ... людей] *из*: — что я всё еще самый молчаливый из людей. *Rs*.
[23–24] *ср. Ин. 16, 12.*
[23–28] *из*: Ах, друзья мои! Разве я скуп? Еще мог бы я дать вам — всё!» Так говорил Заратустра. *Rs*.

Часть третья

Странник

157 [4–8] *из*: чтобы достичь противоположного берега: ибо там была хорошая гавань, в которой даже чужие корабли вставали на якорь. И когда он всходил на гору, привычный каждому шагу, который делал, даже к препятствиям на своем пути, — он вспоминал о своем *Rs*.
[16] *ср. ПСДЗ 70.*
[17–19] *ср. т. 10, 22 [1]*: Вы лжете о событиях и случайностях! С вами никогда ничего не случится, кроме вас самих! И что зовете вы случайностью — это вы сами: происходящее с вами и выпадающее вам!
157 [23–26: последней ... самое одинокое] *из*: самой суровой судьбой и моей собственной суровостью! Ах, на мою высочайшую гору должен я взойти, ах, я начал мое последнее *Rs*.
158 [12] *ср. Исх. 3, 8.*
[13–14] *ср. т. 10, 12 [1]*: 118. Нужно не замечать себя, чтобы хорошо видеть.
[15–16] *ср. т. 10, 3 [1]*: 5. Есть и назойливость познающего: ей определено видеть лишь показную суть вещей.
[30–31]: наконец ... уединение] *из*: печально. — Ну что ж, я готов. Я увидел это начертанным в открытом взгляде моря. *Из*: печально; и я выбираю это. Я читаю это в открытом взгляде, устремленном на меня. *Rs*.
[32–34] *ср. т. 10, 22 [3]*: Вот черное печальное море — и через него должен ты перейти! Заратустра 3.
159 [11: смотрит ... на меня] *из*: его око на меня, самого одинокого *Rs*.
[20–21] *после этого вычеркнуто*: Будешь ли ты зрителем и утешителем твоего собственного будущего? *Rs*.
[35: горько заплакал] *библейское, ср. Мф. 26, 75.*

О видéнии и загадке

Заглавие в Rs: О видéнии самого одинокого. *Ср. т. 10, 18 [21]*: Путь через семь одиночеств — а в конце змея. *Стро-*

ки 3–16 на с. 160 добавлены Н. только в чистовой рукописи, вероятно, чтобы связать эту главу с первой; судя по отвергнутому началу в Rs, существовала первоначальная связь между этой главой и главой Выздоравливающий, *которая кажется близкой к ней по своему содержанию. Отвергнутое начало в Rs*: О чем же грезил я, когда был болен? Поистине, не всем хочу я рассказать, о чем грезил и что видел.

160 [20–25] *намек на миф об Ариадне; образ Ариадны (как и образ Диониса) отчетливо проявляется в Vs к* О великом унынии *и* Семь печатей

161 [8] *здесь Rs обрывается; вместо этого следующий вариант*: «О Заратустра, — насмешливо шептал он слог за слогом, — ты убийца бога, ты камень мудрости! {Ты поднимаешься высоко, но} Каждый камень должен — упасть!» / «Ты убийца бога, ты преодолевший, ты еще не преодолел свою смерть. Обратно летит камень, брошенный тобой, — каждый камень должен упасть! / Приговоренный к себе самому и к медленному побиванию камнями; о Заратустра, далеко забросил ты свой камень — медленно {и поздно} [вернется] упадет он обратно к тебе. / Ты метатель камней, сокрушитель звезд, медленно размалываемый осколками звезд, [раздробленный и разбитый осколками богов] — ты должен еще упасть! / Ты ищешь того, кого мог бы любить, и больше не находишь? Ты еще будешь напрасно искать того, кого мог бы проклясть. / Твой пылающий взор будет снова и снова сверлить пустое пространство — но где ищешь ты, [будет отныне вечная пустота] ты найдешь вечную пустоту. / Там не будут больше блуждать ни тени, ни призраки, ни полуничто! Ты сам и твой пылающий взор — вы сделали пустое пространство таким пустым! «Остерегайся, — ответил я твердо из мертвенных сумерек моей души, — остерегайся, отвратительный карлик! Ибо я ужасен. / Остерегайся, чтобы я не защекотал тебя до смерти моими насмешками! Остерегайся, как бы я не затоптал тебя в танце! Каждый камень, брошенный мною, — пока он падает на меня обратно, — сначала размелю я в песок на твоем лице, карлик! / Мало наслаждений осталось мне, — но на тебя надавлю я моей рукой, как на воск, — и это будет мое наслаждение! Я раскаленной медью напишу мою

волю на твоей воле-против, — и это будет мое последнее наслаждение!» *Рядом начало другой редакции, написанное карандашом:* — О Заратустра [ты уже разучился твоему танцу и смеху!] теперь ты разучишься твоему танцу и смеху танцующего! — / Разве я — — — *Не переписанный Н. в Rs конец этого варианта звучит так:* Я произнес это и замолчал. В ответ карлик ледяным дыханием дунул мне в спину; [тогда моя стопа захотела, чтобы я скользил и спотыкался. Но я спотыкался вверх] / До самых пят испугался я, так что {подскользнулся} споткнулся. Но я споткнулся вверх.

162 [4–5: Имеющий ... слышит.] *ср. Мф. 11, 15.*

163 [6–9] *ср. ВН 341.*

О блаженстве против воли

В Vs видна непосредственная связь этой главы с первой главой, что объясняет изменения в первой корректуре, сделанные Н., чтобы (после добавления второй главы) включить эту главу в новую систему связей. Заглавие в Vs: В открытом море.

165 [2–4: загадками ... друзей] *первая корректура:* с горечью в сердце оставил Заратустра своих друзей; когда он был в двух днях пути от блаженных островов, посреди моря. *Rs.*

[14–16] послеполуденное время, когда [даже свет становится более спокойным] всё, что звучит, ходит на мягких подошвах, колокольчики и светлые голоса девушек, — послеполуденное время, когда даже свет становится более спокойным; *см. также:* — и звуки колокольчиков бегут на мягких подошвах — *ср. ЧСЧ 628; т. 8, 22 [45]; ТГЗ IV* Песнь уныния *299 [27].*

[17: О ... жизни] *ср. ПСДЗ* Заключительная песнь: О полдень жизни!

[32: мои дети] *отсюда и далее Заратустра говорит о «своих детях» и не говорит более о «друзьях» (ср. выше 165 [12]); это изменение было подготовлено Н. посредством добавления 165 [23–31].*

[33: вместе ... ветром] вместе овеваемые ветрами. *Rs.*

166 [15–16: созидающим ... Заратустрой] *ср. ТГЗ I* Предисловие 9.
[22–24] *ср. ТГЗ II* О великих событиях *и* Самый тихий час.
[27–28: любовью ... узы] любви [к вам, друзья мои] и ненавистью моей души: *Rs.*
[29] *затем*: На моем островке были рядом мои друзья и мои враги среди них! Как сладко для отшельника любить и ненавидеть людей! *Rs.*
[31–32: этом ... желанием] этой уверенности должно [быть похоронено] захлебнуться всякое желание. *Rs.*
[33–34: Но ... Заратустра] *ср. ДД* О бедности самого богатого.
[39–41] *ср. т. 10, 17 [56]*: Мои могилы открылись, моя заживо погребенная боль восстала: она выспалась, укрытая саваном, чтобы теперь проснуться.
167 [4] Горе, он шевелится и гложет меня, мой червь глупости, бездна мысли! *т. 10, 17 [84].*
[6–8] До самой гортани стучит мое сердце [и вся моя кровь переливается от стыда, моя слабость, – да, Заратустра слабеет от одного слова], когда я слышу, как ты роешь, – и еще больше – когда я слышу, как ты молчишь! Смейся, бездонно молчаливая! *Vs.*
[9–14] Никогда еще не решался я посмотреть на тебя: {но однажды должен я стать достаточно сильным для дерзости, которая даже пещеру – – –} я затворил пещеру, где ты спишь и крадешься: слишком ужасны для меня твои глухие крадущиеся шаги и землетрясение. / Страх перед ними – моя слабость и боязнь; и это, в конце концов, будет моей силой: открыть пещеру и позвать тебя. *Vs.*
[15–17] Когда я преодолею это в себе, что еще преодолеет меня? И [печать завершения должна будет] эта победа будет печатью моего завершения! *Vs.*
[22: смотрят] вопросительно смотрят. *Vs.*
[27–**168** 6] [О, неверие в этом блаженстве!] / Почему не доверяю я вам! – Поистине, недоверчив я к [моему блаженству] этому блаженному часу! [И я подобен влюбленному в его недоверии, когда он видит смеющиеся глаза] / влюбленному подобен я, который не доверяет самым любимым из-за их красоты. Нежно отталкивает

он их, нежный и в своей суровости, ревнивец [так и я ———был всегда суров и в то же время нежен ко всякому счастью] / [Создан ли я для того, чтобы создавать счастливых? Разве человек не есть то, что должно преодолеть <?>—и человеческое счастье также должно быть преодолено] / и я отталкиваю этот [прекраснейший] блаженный час.— / Поистине, это для меня блаженство против воли. Волящий своей величайшей боли—стою я здесь, посреди открытого моря. / Твердой ногою стою я здесь, на пути моей судьбы, исполненный воли к [вечеру, и ночи, и звезде, и кораблекрушению] одинок<им> и черным дням и опасностям потерпевшего кораблекрушение! / Прочь, блаженный час! С тобой пришло ко мне блаженство против воли. {Исполненный воли к одиноким и черным дням и опасностям потерпевшего кораблекрушение!} Волящий своей величайшей боли, стою я здесь,—не вовремя пришла ты! Лишь когда станет Заратустра повелителем своей величайшей боли, будет он сражаться за победу со своим величайшим драконом. / [Потерпевший кораблекрушение должен быть завоевателем. Беглецами и потерпевшими кораблекрушения были те, кто открывал новые страны: полуразбитыми были издавна завоеватели] / А кормчий, который последним слышал Заратустру, обнажил свою голову и почтительно сказал: / Заратустра, если мы однажды погибнем ради тебя, мы спасемся ради тебя. Никогда еще не видел я таких дурных вещей, но худшее лежит позади нас. *Vs; кроме того, см. частично переработанный вариант в Vs:* Твердой ногой стоял я на пути моей судьбы, исполненный воли к черным дням и всем опасностям потерпевшего кораблекрушение. / Ибо так гласит мое предсказание: у потерпевших кораблекрушение [и у заброшенных далеко] должны прежде открыться глаза [для новых стран], у разбитого прежде ——— / Прочь, скорей ищи себе другую душу! Уже пришел вечер [и его прохлада] к моим друзьям, лети; благослови моих друзей перед вечером! *При переписывании этого Vs в чистовую рукопись Н. сначала оставил слова кормчего в следующем виде:* Так говорил Заратустра. А кормчий, который [последним] услышал его, обнажил свою голову и сказал по-

чтительно: «О Заратустра, что должно прийти, придет; и если мы погибнем ради тебя, мы ради тебя спасемся». *В окончательной редакции Rs Н. убрал слова кормчего, но сохранил намек на последующее кораблекрушение (см. вариант из Rs, который, как можно увидеть из Cb, Н. всё же убрал в Dm).*

167 [33–34: от меня ... воли] *ср. Гёте («Поэзия и правда», XVI) о своем поэтическом даре: «...всего радостнее, всего ярче он проявлялся непроизвольно, более того – против моей воли»*[6].
[39: солнце садится] *ср. ДД.*

168 [1–2: ночь – но] ночь: ибо он думал о том, что, по меньшей мере, [должна быть буря] ураган и великое несчастье должно случиться с кораблем и что кораблекрушение должно выбросить его на берег. *Намек на рассказ об «утихшей буре», см. Мф. 8, 23–27.*
[6: счастье ... женщина] Желание – женщина: она бежит за тем, кто ее отвергает. *Rs.*

Перед восходом солнца

169 [2–3] О небо надо мной, ты чистое, глубокое! Ты бездна света! К которой стремится вверх моя душа! / Ах, неужели время расстаться? «Солнце идет», – говоришь ты мне, краснея. *Rs.*

170 [4–6: этих ... Аминь] *из:* они отнимают у меня и у тебя нашу общую силу, огромную, безграничную возможность говорить Да: ведь мы говорящие Да. *Rs.*
[32: благословения] благословения; и во имя Да я долго говорил Нет. *Rs.*

171 [4–5] *ср. т. 10, 22 [5]*: «Нечаянность» – не лучшая аристократия, пусть даже и самая древняя. *Ср. Прем. 2, 2: «Случайно мы рождены».*
[10: При ... невозможно] *ср. Мф. 19, 26.*
[12–14] *ср. т. 10, 22 [3]*: Рассеянные, подобно семенам жизни, от звезды к звезде?
[29] *ср.* Другая танцевальная песнь.

---
6 Гете. Op. cit. С. 485.

Об умаляющей добродетели

Заглавие в Rs: О самоумалении. *Эта глава изначально не была поделена на части; §1 был добавлен Н. в чистовой рукописи, чтобы описать возвращение Заратустры. Ср. т. 10, 22 [3]*: Сплющенные дома, напоминающие глупые детские игрушки; пусть ребенок спрячет их обратно в коробку! – сдавленные души. – Доверчивые и открытые, но низкие, подобно дверям, впускающим лишь низкое. – «Как пройду я через городские ворота? Я разучился жить среди карликов».

173 [1–3] Маленькие добродетели нужны для маленьких людей; но кто заставит меня верить, что нужны маленькие люди!

[4–5] *ср. т. 10, 9 [19]*: чужой петух, которого клюют куры.

[6–8] *ср. т. 10, 22 [1]*: Мое сердце было вежливым даже к дурным случайностям; быть колючим по отношению к судьбе казалось мне мудростью ежа.

[14] *затем*: – они ничего не понимают в моем счастье. *Vs.*

[15–17] *ср. Мф. 19, 13.*

174 [13–14: особенно ... актеры] *Rs отсутствует*; *вычеркнуто*: лишь редчайшие из подлинных – на что-нибудь годятся!

[22–23: если ... слуга!] *ср. высказывание Фридриха Великого: «Король – первый слуга и первое должностное лицо в государстве».*

175 [9–11] *ср. т. 10, 22 [3]*: Довольные свиньи или гибнущие в сражении – неужели у вас нет другого выбора?

[17–18: что я не пришел ... я не пришел] *ср. слова Иисуса в Евангелиях, напр. Мф. 9, 13; 10, 34.*

[18–19: поистине ... воров!] предостерегать от карманных воров и лентяев, – и они говорят: «Заратустра – враг добродетели». *Rs.*

[23–25] *ср.* Об отступниках *185 [14–18].*

[35–37] *ср., в противоположность этому, Мф. 12, 50.*

176 [1–9] *ср. т. 10, 22 [1]*: «Случаем» называют это слабые. Но я говорю вам: что могло бы мне выпасть, чего не укротила бы моя тяжесть и не притянула бы к себе? / Смотрите же, как варю я каждый случай в моем соку; если он готов, называется он «моей волей и судьбой». / Как мог бы я предложить гостеприимство тому в моей

случайности, что чуждо моему телу и воле! Смотрите же, лишь друзья приходят к другу.

[2: котле] соку. *Rs.*

[4–6] *ср. т. 10, 9 [1]*: Повелительно подступает ко мне переживание; но едва пережито оно, как уже стоит на коленях.

[34–35: Любите ... себя] *ср. Мф. 22, 39.*

177 [6–11] *ср. Ис. 5, 24; Наум 1, 10.*

[14] Так говорит вам Заратустра. *Rs.*

На Масличной горе

Заглавие в Rs: Зимняя песнь, *ср. окончание на с. 180 [38]*: Так пел Заратустра. *О «масличной горе» см. Мф. 24, 3. Ср. т. 10, 13 [1]*: Зима; сегодня хочу я танцевать. Я достаточно горяч для этого снега; на гору хочу я подняться, там будет состязаться мой жар с холодным ветром.

180 [1–2] *ср. т. 10, 22 [5]*: «Тебя еще вспорют, Заратустра: ты выглядишь как тот, кто проглотил золото». *Ср. также ДД* О бедности самого богатого.

[3–5] *ср. т. 10, 22 [5]*: Вы называете это ходулями, но это сильные ноги гордости, – длинные ноги! *Ср. также ДД* Среди хищных птиц.

[6–16: Эти ... гласит] *из*: – они [ненавидят] не выносят самовластных и зависящих от самих себя, они ненавидят гору, опоясанную всеми поясами солнца / – чтобы все ветры пришли ко мне и к моему пределу, чтобы я [плыл со всеми ветрами по моему морю] послал все ветры по морю моей воли: / чтобы я еще говорил со случаем. *Rs.*

[16–17: Предоставьте ... дитя] *ср. Мф. 19, 14.*

[24] *после этого вычеркнуто*: так пел я некогда в солнечном уголке моей масличной горы; и пока я пел, таяла зима в моей душе. *Rs.*

[30–34] *из*: мое здоровое счастье – – – / Но я называю себя больным, а их здоровыми, всех этих бедных [сострадательных] косящихся шельм вокруг меня; с шельмовским задором я бегу от их болезни. / Теперь они сочувствуют моему ознобу; они жалуются: «Как бы не замерз он от своих зим познания». *Vs.*

О прохождении мимо

Vs: Они бряцают своей жестью и называют это «мудростью»; они звенят своим золотом — и над этим смеются блудницы. / Здесь нечего тебе искать, а потерять можешь многое. Здесь большой город; почему хочешь ты брести по этой трясине? / Пожалей свои ноги, плюнь на городские ворота и поверни назад. / Сказав это, Заратустра плюнул на городские ворота и повернул назад. *Ср. также т. 10, 22 [3]*: Если большой город сам выносит себя на сушу, он приносит суше не удобрения, но гниль и мерзость.

181 [28–36: Они ... добродетели:] *из*: они распаляют себя с утра до вечера и не знают, зачем? — это приказывает их мудрости «бессознательное» *[отсылка к Э. фон Хартману]* / Они бряцают своей жестью и называют это «мудростью»; они звенят своим золотом — и над этим смеются блудницы и городские мудрецы. / Они верят в блудниц и в крепкие вина, они совершают крещение крепкими напитками духа; все они больны общественным мнением. / Есть здесь и добродетельные, здесь много услужливой, служащей добродетели и придается большое значение «манерам». *Rs*.

[31–33] *ср. т. 10, 22 [3]*: Больные общественным мнением и публичными девками: это и есть их самые тайные болезни.

182 [5: благочестия] грубого благочестия. *Rs*.

[6: богом воинств] *ср. Пс. 103, 21*.

[12: «Я ... служим»] *ср.* Об умаляющей добродетели *174 [21]*; *связь двух глав подтверждает и следующий вариант; возможно, изначально это была единая глава.*

[23–32] *из*: Город сдавленных душ, со своими глупыми домами, подобными детским игрушкам. Пусть ребенок спрячет их обратно в коробку! / Город жадных глаз и липких пальцев, писак и пискляк, ленивых битых яиц, испускающих пар честолюбцев! / Одни — обжоры, другие — лакомки, и все достойны презрения! По их жилам течет испорченная пенистая кровь; кто захочет сделать ее чистой! *Rs*.

183 [21–23] *ср. Лк. 19, 41*.

[24: противен] жалок *Rs*; *ср. Иона 4, 11.*
[24–30: этот ... судьба] этот большой город, и я хочу [быть погребальным костром, на котором сгорит он! Мне жалок и ты! / Здесь нечего улучшать и многое вызывает гнев, – я хочу его гибели] видеть огненный столб, в котором сгорит он. Ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню. Но всему свое время и своя судьба. Я не желаю приподнимать все завесы – и потому ухожу. *Rs.*
[28–30] *ср. Исх. 13, 21.*

Об отступниках

184 [8] «смиренными». *Rs.*
[12–13: как ... мудрости] как будто некий бог заставлял его танцевать *Rs*
[14–15: только что ... кресту.] *ср. т. 10, 18 [43]*: «Человек есть нечто, что должно преодолеть»; для моих ушей это звучит как смеющаяся танцующая мудрость. Но они думают, я говорю им – ползти ко кресту! / Конечно, прежде чем учиться танцевать – нужно учиться ходить.
[18] выучили они другую истину – «в темноте лучше – шептать!» *Rs.*
[19–20: что ... одиночество] *ср. Иона 2, 1.*
[23: Ах! ... мало] Человек труслив: мало тех *Rs.*
[25] *после этого вычеркнуто*: Я говорю это не в утешение себе, хотя для многих утешение становится ненавистным там, где они больше не почитают, – но я разучился так утешать себя. Как не быть им трусливыми и пугливыми! Разве одинокое существование не внушает ужас? Разве одиночество не безумие? / И кто, подобно мне, разбил скрижали и обесценил ценности, – разве не разбил он при этом самого себя и – – –
[33] *после этого вычеркнуто*: Они еще не искали себя – и нашли меня. *Rs.*
185 [2] *после этого вычеркнуто*: [Короткое лето – и всё уже посерело и выцвело и] Некогда осматривался я в поисках верующих в меня и весенних лугов – и поистине, много меда надежды принес я оттуда в мои ульи. *Rs.*

[3–9] *первая редакция*: Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся! Если бы могли они иначе, то и хотели бы иначе. Половинчатость портит всё целое. / Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся! Лучше подуй на них сильными ветрами, чтобы они быстрее улетели от тебя! Лучше, о Заратустра, дуй и не сопи! Забудь и благослови, подобно осени, которая есть ты! / Проходи и мимо увядших листьев, как мягкое осеннее солнце, – одаряя золотом и благословляя! – / Иди, благословляя, и по этим увядшим листьям – с золотой мягкостью, подобно осени и солнцу!

[19–21] *ср.* Об умаляющей добродетели *175 [23–25]*.

[25–27] *ср. Н. – Шмайцнеру (20 июня 1878)*: Ваш опыт горек, но мы ведь оба честно стремимся оставаться при этом «сладкими» как хорошие плоды, которым не могут особенно повредить суровые ночи. Солнце засияет снова – пусть и не солнце Байрейта. Кто может сказать теперь, где восход, а где закат, не боясь при этом ошибиться? И все же не утаю от Вас, что я от всего сердца благословляю появление моей свободомыслящей и светоносной книги в тот момент, когда на небе европейской культуры собираются черные тучи, а угрозу затмения принимают едва ли не за нравственность.

[37–**186** 1] *ср. Мф. 18, 3.*

[13–15] *ср. т. 10, 1 [31] и Н. – Гасту 3 октября 1882.*

[13: учатся страху] *как в известной немецкой сказке братьев Гримм.*

187 [14–15: Бог ... меня!] *ср. Исх. 20, 3.*

[21] *ср. Мф. 11, 15.*

Возвращение

Vs: Одиночество как возвращение с чужбины. Покинутость и чуждость среди людей. *Ср. т. 10, 18 [42]*: И каждый раз, когда я вспоминал о моем одиночестве, я говорил издалека: «О прекрасное одиночество!» *Rs (первая редакция)*: Об одиночестве [О здоровье]. – / Блаженными ноздрями снова вдыхаю я мою свободу; наконец освобожден мой нос от запахов всех человеческих существ. /

От щекотки крепкого воздуха, как от пенистого вина, чихает моя душа [и она блаженна] блаженно и ликующе говорит себе: на здоровье! / Здесь она может высказать всё и вытряхнуть все основания, ничто не желает здесь пощады, ничто не стыдится скрытых, покрытых плесенью чувств. / Сюда приходят все вещи, ластясь к моей речи, и льстят ей, чтобы она скакала на их спине. Верхом на всяком подобии скачу я здесь к любой истине. / Здесь прыгают ко мне все сокровища бытия и раскрываются ларчики слов; здесь всякое бытие хочет стать словом, здесь всякое бытие хочет научиться у меня говорить. / Прямо и искренне говорю я здесь ко всем вещам – и поистине, как похвала звучит в их ушах, что один со всеми вещами – говорит прямо! / Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу – мы вместе проходим в открытые двери. / Ибо здесь всё открыто и светло, здесь даже часы бегут на легких ногах. В темноте труднее переносить время, чем при свете. / – О странное человеческое существо [темное, одержимое сумерками]! ты шум на темных улицах! / Теперь ты лежишь позади меня – моя величайшая опасность лежит позади меня! / В пощаде и сострадании была всегда моя величайшая опасность, и все человеческие существа хотят, чтобы щадили и жалели их! С затаенным дыханием, [со связанными руками] с рукою глупца и одураченным сердцем, богатый маленькою ложью сострадания, – так жил я всегда среди людей. / Переодетым сидел я среди них, чтобы их переносить, – готовый не узнавать себя, грезя, стараясь себя уверить: «Я глупец, я не знаю людей». / Их надутые мудрецы – я называл их мудрыми, но не надутыми; так научился я проглатывать слова. / Их могильщики – я называл их исследователями и испытателями; так научился я подменять слова. / Могильщики выкапывают себе болезни. Под всяким хламом покоятся дурные испарения. Не надо тревожить болото. Это уже позади нас. / О блаженная тишина вокруг меня! А некогда был я среди шума и неистовства! / Всё говорит, ничто не умеет молчать. Всё бежит, ничто больше не учится ходить. О эта блаженная тишина вокруг меня! / Всё говорит, всё пропускается мимо ушей.

Хоть в колокола звони про свою мудрость — торгаши на базаре перезвонят ее звоном своих грошей. / Всё говорит, ничто не хочет прислушиваться. Все воды шумно текут к морю, всякий ручей слышит лишь собственный шум. / Всё говорит, всё заболтано. И что вчера еще было слишком твердым для зубов времени, нынче свисает изо рта у людей настоящего, изгрызанное и обглоданное. / Всё говорит, всё разглашается. И что некогда называлось тайной и потаенностью глубоких душ, сегодня на базарах как пьеса для трубы. / Всё говорит, ничто не умеет понимать. Всё падает в воду, ничто больше не падает в глубокие источники! / Всё говорит, всё судит и рядит. Всё несправедливое преследуют — хорошо преследуют, но плохо ловят. *В Rs также есть отдельные записи, использованные Н. лишь частично*: И если они не узнавали меня — я стыдился их больше, чем себя; привыкший к суровости, я часто мстил за эту суровость, чтобы потом другим — — — И многое из того, что было их виной, — брал я на себя и называл моей виновностью: так богат был я маленькой ложью — — — В забывании и прохождении мимо больше мудрости, чем в воспоминании и спокойствии. И кто хотел всё понять, рука его должна была всё — схватить! — — — Всё говорит, ничто не удается. Всё кудахчет, но у кого еще есть время класть яйца? [Они думают, но их мысли должны] — — —

188 [27–32] *ср. ТГЗ I* Предисловие 10.

189 [1–4] *ср. ТГЗ II* Ночная песнь.

[5–7] *ср. ТГЗ* II Самый тихий час.

190 [19–21] *ср. т. 10, 18 [36]*: Я суров к себе и часто мщу за эту суровость, чтобы пристыдить этим несправедливость других — их н<есправедливость> ко мне!

[32: Ибо ... неисповедима.] *ср.* О старых и новых скрижалях *216 [25–26]*.

[38: надутые мудрецы] *ср. т. 10, 22 [1]*: Против надутых мудрецов, освобождаясь от них, — душа, для которой всё становится игрой.

[39: так ... слова] *ср. т. 10, 22 [1]*: Они научились подменять имена; так обманывали они самих себя в отношении вещей. Смотрите, в этом всё искусство самого мудрого!

О трояком зле

Ср. т. 10, 18 [23]: Что знаете вы о сладострастии! Что можете вы знать о сладострастии! *22 [1]*: Властолюбие и себялюбие возвысило ложь до предела.

192 [17–19: над ... силы] знает: [«всё бесконечное невозможно», «всё непреходящее лишь подобие»] «над всем властно число», «всё не имеющее веса ничтожно. *Rs*.

[20: уверенно] уверенно и пресыщенно. *Rs*.

[22–24] Как будто я видел наливное яблоко [и горячими руками ощущал его мягкую холодную кожицу] — золотое яблоко <с> мягкой холодной кожицей, полное скрытого волшебства. *Vs*.

[26: крепкое волею] с колючими листьями. *Rs*; *Vs*.

[28–30] как будто открылся красивый благородный ларец, полный того, что невыразимо и [что можно ощутить лишь руками] что могут постичь лишь стыдливые почтительные руки [и глаза] / словно насыщение для голодающего, уверенность для блуждающего, почитание для презирающего — — —. *Rs*.

193 [11: властолюбие] *из*: воля к власти. *Rs*.

[29: «мир»] *в том же значении, что и в 1 Кор. 1, 27*.

[34] *из*: погребальный костер. *Rs*.

194 [5–9: надежды ... женщина!] надежды: ибо обещан был брак многому, что более чуждо друг другу, чем мужчина и женщина, и более противоречиво. *Rs*.

[16–19] Властолюбие: хулитель всякой сомнительной добродетели; она ездит верхом на всяком коне и седле, злая карлица, узда, наложенная на самые тщеславные народы и на самых тщеславных мудрецов. *Rs*.

[27: возопит в нём. –] возопит в нём: [«человек есть нечто, что должно преодолеть»]. *Rs*.

[29–30: городам ... нам!] *из*: плюет человеку в лицо, пока он сам не скажет: «человек есть нечто, что должно преодолеть». *Rs*.

195 [3: Дарящая добродетель] *ср. с последней главой ТГЗ I*.

[4–9] *варианты*: Себялюбие: грязное ругательство для сущности всего живого: ибо что хочет оно расти [и созидать превыше себя] — это сущность живого [и вечная необходимость] и внутренний закон / [Себялюбие —

это сущность живого: оно беременно, отяжелено [вечным будущим] неизвестным будущим и часто становится раной для себя и своих желаний] / [—будущее, которое хочет повелевать всем вещам как воля любящего: себялюбие и власть, влекущая все вещи к себе на свою высоту.] / — добродетель, неутолимо страждущая всех сокровищ и ценностей, влекущая все глубины на свою высоту / — — — и воля, которая желает повелевать всем вещам как любящая воля: священное себялюбие и власть, которая [сама жаждет стать даром и жертвой] влечет все вещи к себе и в себя.] / Это себялюбие, цельное и священное [подобное дождю и солнцу, нисходящим ко всем вещам], однажды сказало Заратустре, чтобы он отделил его от больного [воровского] себялюбия, что говорит из вырождающихся тел {которое всегда хочет красть}. *Rs.* [Есть могучие души [великолепные, самовластные в истине,] а есть зависимые, принадлежащие другим; к могучим принадлежит высокое тело, прекрасное, победоносное, услаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом] / Это себялюбие назвал однажды Заратустра цельным и [здоровым] блаженным, [текущим и перетекающим из могучей мудрой души] из могучей мудрой самости [в которой нет ничего больного, болезненного], из которой оно вытекает / [вытекает, и пенится, и перетекает]: чтобы отделить его от болезненного [пагубного] себялюбия, пагубного, которое всегда крадет и всякий раз говорит: «[Все] для меня» / Это блаженное себялюбие и тоска [власти, которой принадлежит высокое тело] течет из могучих тел: ибо могучей душе принадлежит высокое тело, прекрасное, победоносное, услаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом. / И тогда Заратустра назвал себялюбие блаженным, — цельное и здоровое себялюбие, вытекающее из могучей души, — / подобно воле любящего, которая желает повелевать всем вещам — как тоска власти, влекущей все вещи на свою высоту. *Rs.* Это себялюбие даже самых высоких заставляет расти ввысь, это себялюбие поднимает [высочайшие горы] высокую гору из [глубочайших морей] глубокого моря, — это себялюбие дрожит, поднимаясь, от божественной страсти: — *Rs.*

195 [13–40] Своими словами и ценностями строит могущественный священные ограды вокруг себя; именем своего счастья гонит он от себя всё достойное презрения. / Он гонит от себя всё трусливое и узкое; достойным презрения кажется ему тот, кто заботится, вздыхает, жалуется и кто собирает малейшие выгоды. / Недоверчивого он ни во что не ставит, как и того, кто требует клятв вместо взоров и рук; а еще ниже ставит он слишком услужливого, кто тотчас, как собака, ложится на спину, смиренного. / Ненавистен и мерзок ему тот, кто не хочет мстить за себя, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, – кто слишком терпелив, всё переносит: его зовет он рабом. / Раболепствует ли кто перед богами и пинками их ног, лежит ли кто молча перед людьми в пыли и в покорности, – это для него одно и то же: такого называет он рабом. / Дурным кажется могучему всё рабское – несвободное, сдавленное, усталое, страдающее, лежащее в пыли. / Дурной не зол, ибо злой – ужасен. Враг зол, ибо враг ужасен. / Добрым же называет он свое счастье, свое вытекающее и перетекающее счастье, бегущее на легких ногах. *Rs.*

[22: Всё – суета!] *ср. Еккл. 1, 2.*

[40] *затем:* И всё, что оно называет добрым, это блаженное себялюбие, называется у него «доброе для меня» [а не доброе для тебя]; оно не смотрит с вожделением на добродетели слабых и «добрых для всех». / Мимо многих добродетелей проходит оно, как мимо красивых служанок; высокой госпоже принадлежит его высокая любовь, и оно не всегда ненавидит то, мимо чего всё же проходит. *Rs.*

196 [10] *затем:* Себялюбие: я всё же хочу оградить [священным] забором мои мысли и мои слова – чтобы в мои сады не вторгались свиньи и гуляки! / Ибо свиней и гуляк всегда находил я пасущимися рядом: любя всё нечистое, жиреют они в нечистотах; если кто-то тревожит их, они хрюкают. / Так говорил Заратустра. *Rs.*

[13: тогда ... многое!] *библейское: ср. Мф. 10, 26; 1 Кор. 3, 13; 2 Кор. 5, 10; Еф. 5, 13.*

О духе тяжести

197 [6–7] *ср. заглавие Мр XVIII 3 (февраль–март 1882), т. 9.*
[11–13] *ср. ТГЗ IV* Вечерняя трапеза *и* Песнь уныния.
[27–**200** 32] *Rs: в начале вычеркнуто:* Как пришел ты, о Заратустра, к твоей мудрости?
197 [29–30: в воздух] в царство воздуха. *Rs.*
198 [25–26] *ср. Мф. 19, 14.*
[30–32] *ср. ТГЗ I* О трех превращениях **25** *[7–9].*
199 [1–4] *ср. ТГЗ II* О человеческой мудрости.
[27–28: Но кто ... душу.] *ср. Мф. 23, 27.*
[32–34] *ср. т. 9, 19 [9].*
[40] *ср. Мф. 17, 4.*
200 [8–10] *ср. т. 10, 22 [1]*: Как хочешь ты научиться танцевать, если сперва не научишься ходить? Но над танцующим — летящий и блаженство верха и низа.
[15–18] Малый огонь, но большое утешение для корабельщика, которого ночь хочет заманить в открытое море. *Rs; ср. также ДД* Огненный знак.

О старых и новых скрижалях

Ср. т. 10, 18 [44]: Жить ради будущего / разбивание скрижалей. *18 [50]*: Я дающий законы, я пишу новое на моих скрижалях; и для самих дающих законы я закон, и скрижаль, и крик глашатая. *19 [1]*: **разбить** старые скрижали *ср. также Исх. 32, 19.*
201 [18–19] *ср. ТГЗ I* О кафедрах добродетели.
[21: созидающий] созидающий: тот, кто создает будущее. *Vs.*
202 [1–2: рядом с ... коршунами] *ср. Мф. 24, 28.*
[8–10: моя ... тоска] с горы смеющаяся над всякой трагедией сцены и жизни *Vs; ср. ТГЗ I* О чтении и письме **41** *[30–31].*
[9: дикая мудрость] *ср. ТГЗ II* Ребенок с зеркалом **87** *[6–7].*
[14–16] *ср. ТГЗ II* О человеческой мудрости **151** *[20–22].*
[29: жалом свободы] *ср. 1 Кор. 15, 55.*
[37–38] Так учу я и не утомляюсь этим: человек есть нечто, что должно преодолеть; ибо, смотрите: я знаю,

что он может быть преодолен, — я смотрел на него, на сверхчеловека. *Vs.*

203 [2: пути ... зорям] *ср. эпиграф УЗ.*

[6–8] *ср. ТГЗ II* Прорицатель *142 [28–30].*

[25–27] *ср. ВН 337 и ДД* Солнце садится.

[33: плотские сердца] *библ., ср. Иез. 11, 19.*

204 [14–16] Кто подл, хочет жить даром; но мы, другие, хотим отдавать столь много, сколь возможно! *Rs.*

[21–23] *ср. т. 10, 17 [51]*: Счастье хочет, чтобы не искали его, а находили. *18 [30]*: Счастье и невинность — самые стыдливые вещи на земле: они хотят, чтобы их не искали. Нужно обладать ими — и даже не знать, что ими обладаешь. *Rs.*

[25–26] Мы первенцы — как много скрытой нужды и внезапной гордости во всяком благородстве первенцев, о котором не знает благородство следующих за ними! / Мы первенцы: о, мы выучили до самого конца, что всё первое не может иметь чистую совесть. *Vs; к жертве первенцев ср. Исх. 23, 19.*

205 [1–2: и ... беречь себя] *ср. Мф. 16, 25.*

[16: резать по живому] *ср. ТГЗ II* О прославленных мудрецах *108 [28–30].*

206 [9: подул! —] подул! Яростный бык вырвался наружу! — *Rs.*

[10: Так ... улицам!] *ср. Лк. 10, 10.*

[20–22] О братья мои, о добре и зле до сих пор только грезили, но не знали. Разбейте, разбейте старые скрижали! *Vs.*

[24–26] Ты не должен лгать, ты не должен убивать — такие слова некогда назывались священными, — и перед ними преклоняли колена и сердца. / Но я спрашиваю вас: [эти слова сами были лучшими лжецами и убийцами истины: никогда еще так хорошо не лгали] где на свете были лучшие лжецы и убийцы, чем эти священные слова! *Vs.*

207 [22] *ср. ТГЗ III* Об отступниках *187 [19–20].*

208 [1–3] *ср. т. 9, 15 [61].*

[11–13] *ср. т. 10, 17 [16]*: Козы, гуси и прочие паломники, ведомые святым духом.

[14–22] *ср. ТГЗ II* О стране образованности *127 [10–14].*

[20–22] *ср., напротив, Исх. 20, 5.*
[24: Всё – суета!] *ср. Еккл. 1, 2.*
[31–32] *ср. Втор. 25, 4.*
[34] *затем*: эти никогда не насыщающиеся! *Rs*; *Vs*.

209 [2: Для ... чисто] *ср. Тит 1, 15.*
[15–16] *ср. ТГЗ II* Об отребье.
[34: клеветников на мир] иномирников. *Rs*.

210 [17: желудок ... скорби] *ср. ТГЗ I* О кафедрах добродетели *28 [22]*.
[34: Имеющий ... слышит!] *ср. Мф. 11, 15.*

211 [33–34: лижут ... предпочитает] принюхиваются к нему; но он не хочет больше делать ни шагу и предпочитает *Vs*; *ср. Лк. 16, 21.*

212 [10–**213** 6] *Ср. т. 10, 22 [1]*: Из похвалы и хулы строишь ты ограду вокруг тебя. *Rs*: Это самый обычный род всего сущего, который живет за счет лучшего; велик лучший и широк душой – как же ему не быть пищей для множества паразитов! Кто же должен всегда держаться подальше от меня и быть чужим даже в моей самой широкой ограде? Тот, кто паразитирует: кто не может любить и все же хочет жить от любви. / Кто вьет свое гнездо там, где сильный слаб, а благородный ранен, – кто вьет свое отвратительное гнездо в великих: и у великого больные маленькие крылья.

212 [32–35] Блаженство в величайшей широте души, самая большая лестница вверх и вниз. *Vs*; *ср. Быт. 28, 12.*

213 [15–16] О мои братья. Есть среди вас те, кто знает, как уничтожить вещь, – засмеяться, высмеять ее! И поистине, убивают смехом! / Таким говорю я поступать по моему примеру: я пришел к ним как пролог. *ср. Ин. 13, 15.*
[24–26] *ср. ТГЗ I* О друге.

214 [7: Время ... прошло] *ср. Гёльдерлин, Смерть Эмпедокла I, 1449*: «Это больше не время королей».
[9–11] достаточно обычны и малы – ради малейшей выгоды роются они в мусоре своей веры! *Vs*. Малые выгоды сделали их малыми – и теперь они роются даже в мусоре хороших случайностей. *Vs*.
[20–22] *ср. т. 10, 22 [5]*: Горе, кто захотел бы общаться с ними, если бы это не было их пропитанием? / Они должны бороться с диким зверем голода – или их общение

было бы общением дикого зверя — с нами. / Их скука была бы здесь наседкой.

[23–25] Во всяком «работать» — еще и красть; во всяком «заработать» — еще и перехитрить. Мы хищные звери — и пусть это достается нам с трудом! *Rs.*

215 [1–3] *ср. ВН 95 (о Шамфоре).*

[16: Или ... ошибкой?] чтобы наше обещание не было ошибкой! *Vs.*

[19] *после этого вычеркнуто*: Браки, которые я вижу, препятствуют моему будущему, так что я должен скорее препятствовать бракам, чем заключать браки. Поистине, разумнее препятствовать бракам, чем — — —. *Vs.*

216 [6: испытуется там!] *затем*: [Подобно тому, как из многих одно тело] [И не для того, чтобы пребывало и оставалось тело, но чтобы оно создавало превыше себя высшее тело] воля ко многим волям, самость ко многим самостям — [вот что ищут там!] — разве это где-то уже найдено! *Rs.*

[7] *после этого вычеркнуто*: Великая мука, жизнь, которая сама режет по живому: воля к власти, которая хочет сначала знать. *Rs.*

[22–23] *намек на Иисуса.*

[27: добрые ... фарисеями] *из*: чтобы Тот хорошо себя чувствовал и был причислен к добрым — для этого должен он быть фарисеем *Rs*; *ср. т. 10, 22 [3]*: Есть такая закоренелая ложь, что ее зовут «чистой совестью».

[36] *после этого вычеркнуто*: Так [учил] некогда спрашивал Заратустра. *Rs.*

27. *Rs перед окончательной редакцией фрагментов 26 и 27*: Поняли вы, братья мои, мое слово о последнем человеке? Что человек — это тот, кто не может более себя презирать? — — Добрые, добрые суть начало конца; горе, если так должно быть всегда! / Откройте глаза: где живем мы? Разве не в век добрых? Никогда еще не было так <много> справедливости и доброты, как у нас. / Откройте глаза: где живем мы? Была ли когда-нибудь бóльшая опасность для всего человеческого будущего, чем та, что в нас? / Это век добрых; откройте глаза! / Никогда еще, сколько стоит земля, не было столь много добрых: / Учителя смирения, — — — / В добрых лежит наибольшая опас-

ность для всего человеческого будущего: ибо они ненавидят созидающих! Разбейте, о братья мои, разбейте добрых и праведных!

217 [8–9] *ср. ТГЗ I* Предисловие 5.
[24: во ... рождены] *ср. Пс. 51, 7.*
[33–35] *ср. выше фрагмент 12:* ***208*** *[14–22].*

218 [2–3] Я среди них как алмаз среди древесного угля: они всё еще не верят, когда я говорю: «О братья мои! Мы так родственно близки! *Vs; ср. также:* О мои друзья! Где мои друзья? Я ищу, я испытываю: вы все недостаточно тверды для меня – *и на той же странице:* О мои друзья, почему вы так мягки? Разве мы не родственники?
[14–16: И ... воске] *ср. т. 10, 18 [1]*: Он возлагает руку на тысячелетия. *18 [3]*: летящий (как первооткрыватель, который возлагает свою руку на тысячелетия) *и вариант*: Сладострастием казалось мне [всегда] – запечатлеть мою руку на истине, написать на ней мою волю, как на бронзе. *Vs; ср. также вариант из Rs к главе* Семь печатей 1, ***233*** *[15].*
[23–24] *ср.* О великом томлении ***226*** *[26–28].*

Выздоравливающий

Vs: Несколько раз был я уже, несколько раз еще буду: между смертью и началом – гордый год бытия. – Всё идет и преходит – всё опять возвращается; даже движение и уход возвращаются снова. Это Сейчас уже было здесь – бесчисленное количество раз. – Этому учению еще никогда не учили. Неужели? Бесчисленное количество раз уже учили ему: бесчисленное количество раз учил ему Заратустра. *Два текста в этой главе соединены в один: первый – фрагмент, озаглавленный* Клятва *(соответствующий* ***220*** *[11–32]); изначально он должен был составлять конец ТГЗ III, ср. т. 10, 17 [69]*: Окончание З(аратустры) 3. Вставай, бездонная мысль! Теперь я вырос для тебя! «Сделать твердым как камень». Ты мой молот! – Блаженство изначально определенной природы – Гимн. *Другой текст под заглавием* Выздоравливающий *соответствует* ***221*** *[17]–* ***224*** *[27]; ср. две редакции Vs*: «О звери мои, – ответил За-

ратустра и снова засмеялся, — из какого далекого блаженства говорите вы! Но оно еще далеко, далеко, далеко от моей глупой души. / Сладкая, удивительная болезнь лежит на мне, она зовется выздоровлением. / Глупо, поистине, счастье выздоравливающего, глупости должно [петь] оно говорить: еще слишком молодо оно; о мои звери! Потерпите же меня еще немного!» — Так говорил Заратустра // Глупая сладкая болезнь на мне, она зовется выздоровлением. Новая весна бьет ключом во всех моих побегах; я слышу голос южного ветра. // Новый стыд лежит своей тяжестью на мне; темных густых листьев жаждет стыд моего нового счастья. О звери мои, я говорю глупости? // Слишком юная еще моя [новая] весна; глупости должно говорить всякое новорожденное выздоровление. О звери мои, — потерпите меня! / Так <говорил Заратустра>.

220 [20–22] *Намек на клятву Эрды (3-й акт, сцена 1) в «Зигфриде» Р. Вагнера; ср. также СВ 9.*

[23: хрипишь?] *после этого вычеркнуто*: «Нет больше ничего нового — и ты хрипишь: дай мне поспать!» Это ты: «нет больше ничего нового» — это ты сама, бездонная мысль! Горе мне! Благо мне! Теперь я разбудил тебя! *Rs.*

222 [28–29] *ср.* О видении и загадке *164 [21–23]* Это моя змея, которая заползла мне в глотку. *Vs.*

223 [12–16] *ср. ПСДЗ 295.*

[22–24] *ср. ТГЗ II* Прорицатель.

[24] *после этого вычеркнуто*: И что человек, от которого я устал {маленький человек}, всегда возвращается: [вечное возвращение] это было моими длинными, самыми длинными сумерками и печалью; поистине, смертельно уставшим, пьяным до смерти от всего человеческого, слишком человеческого. *Rs.*

[28: человек] *после этого вычеркнуто*: и всё его малое, малейшее человеческое, слишком человеческое. *Rs.*

224 [12–15: Особенно ... выздоравливающих] *из*: ко всему, что мало, ибо ты снова должен завоевать расположение малого! *Rs.*

225 [36–37: ибо ... душой] *ср. со следующей главой.*

О великом томлении

Заглавие в Rs: Ариадна. *§ 3 из главы* Семь печатей *первоначально имел название* Дионис. *Об Ариадне и о душе Заратустры см. т. 10, 13 [1]:* Дионис на тигре; череп козы; пантера. Сон Ариадны: «покинутая героем, грежу я о сверхгерое». Вообще не говорить о Дионисе! *Ср. также ТГЗ II* О возвышенных *124 [12–13]:* Это и есть тайна души: только когда герой покинул ее, приближается к ней, в сновидении, — сверхгерой. *Ср. G. Naumann, Zarathustra-Kommentar, 2, 101ff.*

226 [2: О душа моя] *ср. схожее обращение в псалмах (напр. 102, 1).* [4] *после этого вычеркнуто:* ты не должен питать страсть к вечности! *Vs.*

226 [6.9.15.18.22.25.28.31] *в конце этих строк рефрен:* а ты не желаешь быть благодарной мне. *Vs; ср.* ***227*** *[12–14] и* ***228*** *[15–18].*

227 [18–25] Ах, мое уныние! И если я всё же заставляю его улыбнуться — даже ангелы тают в слезах, когда видят эту улыбку. *Vs.*
[34–36] *ср. след. главу.*
[37–**228** 5] Пусть теперь тоска бурлит и пенится — остерегаясь всякого малого удовольствия — пока не понесет она издалека по морю челн, в котором сидит увенчанный виноградной лозой. / Пока твоя тоска не запоет свою бурную песнь, так что все моря утихнут, прислушиваясь к тебе; / пока не поплывет по успокоенным морям челн, свободный златой челн, несущий его, винодаря, по которому льет слезы счастье виноградной лозы. *Vs.*

Другая танцевальная песнь

Заглавие в Rs: Vita femina[7]. — Другая танцевальная песнь. *Vs:* Я больше всего ненавижу жизнь и больше всего люблю ее; в этом нет противоречия.

229 [11] *затем:* Бух! Бах! *Rs.* шлёп-шлёп. *Vs.*

---

[7] Жизнь — женщина (*лат.*).

[15: ведь ... пальцах ног] *ср. вариант к ТГЗ II* Надгробная песнь ***117*** *[13]*.

230 [4.5: летучие мыши ... летучая мышь] бабочки ... бабочка. *Rs.*

[29–30] *из*: Я не забыл плетку, когда хотел танцевать с этой озорной бабенкой! *Rs*; *ср. ТГЗ I*, ***70*** *[3]*.

[35: шум убивает мысли] *ср. т. 10, 22 [5]*: против шума: он убивает мысли *ср. у Шопенгауэра, Parerga 2, гл. XXX «О шуме»*.

231 [33–**232** 20] *Ср. т. 10, 23 [4]*: Раз! Полночь поднимается! Издалека принесенное ветром сюда, наверх, из глубокого мира, ищет ее слово у меня, отшельника, своего последнего успокоения? / Два! Последнее успокоение глубокого мира – это ли высота отшельника? Ищет ли она, когда ее звук проникает в мои уши и в самую мою сердцевину, – ищет и находит примирение? / Три! *Ср. Roger Hollinrake, Manfred Ruter, Nietzsche's Sketches for the Poem «Oh Mensch! Gieb Acht!», Nietzsche Studien 4 (1975), 279–283.*

Семь печатей (Или: песнь о Да и Аминь)

Заглавие в Vs: Скрепление печатью. *Другие заглавия*: Да и Аминь *Rs к § 1*; Дионис *Rs к § 3*; О кольце колец *Rs к § 4. К выражению «семь печатей» см. Откр. 5, 1*; *к «Да и Аминь» см. Откр. 1, 7.*

233 [5: Если я прорицатель] *ср. 1 Кор. 13, 2.*

[20] *после этого вычеркнуто*: Неужели хочу я запечатлеть мою руку на тысячелетиях, как на воске? / Много было бы это для меня, но всё же недостаточно, и лишь малой частью меня и моей любви к вечности: это было бы лишь каплей, которая сама томится, вместо того чтобы избавлять от томления. / Неужели жажду я растворить звезды в кубке желания и почтительно высыпать миры на ковер вечности? / Много было бы это для меня, но всё же недостаточно, и лишь малой частью меня и моей любви к вечности: *Rs*; *ср. вариант к § 29 в главе* О старых и новых скрижалях ***218*** *[14–16]*.

[21] *так же заканчивается в ДД* Слава и Вечность.

234 [22] *после этого вычеркнуто*: страстно стремящийся к единственной {женщине} [блаженнейший расточитель],

которая даже звезды растворяет в кубке {своего} желания и [смеясь] высыпает миры на {свои} ковры становления? / в ее ночном взоре блестит золото, золотой челн на водах ночных, — ныряющий, всплывающий, всё снова и снова кивающий качающийся челн золотой: / ее смех угрожает, ее ненависть соблазняет, ее наслаждение убивает, ее умерщвление избавляет, ее избавление сковывает: — *Rs*; *вариант продолжается в Vs*: я увидел, как ее злоба сверкает под пеплом сожженных и обуглившихся миров / я увидел, как пылает ледяная вершина ее невинности / великая, невинная, огромная, нетерпеливая.

[28: Если ... опорожнял] Если во мне лишь капля. *Rs*.

[29] *затем*: так что и худшее благоухает и властвует мирно и высоко, рядом с лучшим. *Rs*.

[33: соли] *ср. Мф. 5, 13*.

235 [12–18] *ср.* К новым морям *BH-n*.

[30–31] Ибо в смехе все злые порывы становятся священными; но чтобы всё тяжелое стало легким. *Vs*.

[34] *ср. Откр. 1, 8 и passim*.

236 [12–14] *ср.* О духе тяжести. *Вариант к 199 [16–18]; см. также т. 9, 15 [60]*.

Часть четвертая и последняя

На обратной стороне титульного листа в Dm: Для моих друзей и не для общественности. / Фридрих Ницше. *Наброски плана к ТГЗ IV – в 11 томе, из записной книжки N VI 9, 29 [8]*: Заратустра 4. Это песни Заратустры, которые пел он самому себе, чтобы вынести свое последнее одиночество: *издатели ПСС (Großoktav-Ausgabe) использовали эту запись как эпиграф для ДД; разумеется, при этом исчезло указание*: Заратустра 4. *Н., по всей видимости, думал о сборнике стихов для последней части Заратустры. 29 [23]*: Глубокое терпение и уверенность Заратустры, что время придёт. / Гости: прорицатель распространяет черный пессимизм. / Мягкость к преступнику (как во время Фр<анцузской> револ<юции>) / Знамения: большой город в огне. / **Искушение** к отвращению от **времени** – через возбуждение **сострадания**. / ***Весть*** о гибели островов. / Наконец: я хочу сперва спросить их, живы ли они – посылает орла – / призывы герольда к одиноким / ***двойной*** ряд знаков / 1) о вырождении человека / 2) о существовании великих одиночек. С вами я не могу стать ***господином***. *29 [26]*: Заратустра: я так переполнен счастьем и у меня нет никого, кому я мог бы отдать, и даже того, кого я мог бы отблагодарить. Дайте же мне отблагодарить вас, моих зверей. / 1. 1. Заратустра благодарит своих зверей и готовит их к приему гостей. Тайное терпение ожидающего и глубокая уверенность в своих друзьях. / *2–9*. 2. Гости как искушение отказаться от одиночества: я пришел не для того, чтобы помогать страждущим и т.д. (франц<узская> живопись) / 3. Святой благочестивый отшельник. / 10–14. 4. Заратустра высылает своих зверей на разведку. Один, без молитвы – и без зверей. Высшее напряжение! / 15. 5. «Они идут!» Когда говорят орел и змея, приходит лев – он плачет! / 16. Прощание с пещерой – навсегда (своего рода праздничная процессия!). Он идет с четырьмя зверями к городу – – – *Указание на драматическое представление, позднее отвергнутое Ницше, как и первое «лирическое», есть в той же записной книжке, 29 [32]*: Первая сцена. Заратустра глуп со своими

зверями, приносит жертву медовую, сравнивает себя с пинией, благодарит и свое несчастье, смеется над своей седою бородой. / Захвачен врасплох прорицателем. / Основания великой усталости. / Евангелие страждущих, до сих пор *их* время. / Равенство. / Лицемерие. *29 [63]*: Жертва медовая. / Прорицатель. / Поэт. / Короли. / Святой. / Седьмое одиночество. / Среди новых зверей. / Посольство блаженных. / Прощание с пещерой. *Бо́льшие по объему записи в тетради Z II 8, 31 [2]*: В Заратустра 4 необходимо: ***точно*** сказать, почему ***теперь*** настает время великого полдня: то есть ***временно́е описание*** через рассказы о посещениях, но в интерпретации Заратустры. / В Заратустра 4 необходимо: ***точно*** сказать, почему «***избранный народ***» ***должен быть сначала создан***: это противоположность хорошо удавшимся высшим натурам, противопоставленным неудавшимся (охарактеризованным через гостей): лишь им Заратустра может поведать о последних проблемах, лишь у них может он предполагать способность к этой теории (они сильны, и здоровы, и достаточно тверды для этого, но прежде всего достаточно благородны!) и дать им в руки молот над землей. / Итак, в Заратустре нужно показать: 1) крайнюю опасность высшего типа (когда Заратустра вспоминает о своем первом выступлении) / 2) добрые теперь выступают против высшего человека: это самая опасная перемена (– против исключений!) / 3) одинокие, невоспитанные, ложно-себя-толкующие вырождаются, и их вырождение воспринимается как основание против их существования («невроз гения!») / 4) Заратустра должен объяснить, что он делал, когда советовал отправиться к островам, и для чего он их посещал (1 и 2) (– они еще не созрели для его последних откровений?) *Второй набросок касается учения о вечном возвращении («молот» из предыдущего наброска) 31 [4]*: В Заратустра 4: великая мысль, как голова медузы: все черты мира застывают, замершая агония. *В третьем наброске, 31 [8], описан крик о помощи высшего человека*: «Вот, о Заратустра, твоя беда! Не обманывай себя! взгляд многих сделал тебя мрачным, потому что они жалки и низки? Но одинокие намного более не удались». – / Против этого Заратуст-

ра приводит основания: / 1) о великой ошибке сострадания: из-за него сохранили всё слабое, страдающее / 2) выбрали «равенство» и лишили отшельников чистой совести — принудив их к лицемерию и угодничеству / 3) господствующие сословия плохо представляли веру в высшего человека, частично уничтожили ее / 4) огромное царство безобразного, где правит чернь: там самая благородная душа одевается в лохмотья и хочет преувеличить свое уродство / 5) им недостает воспитания; они должны укрываться панцирем и притворяться, чтобы спасти что-то от себя. / В результате: ***крик о помощи*** высшего человека к Заратустре. Заратустра призывает их к терпению и ужасается самому себе: «нет ничего, что я не пережил бы сам!», надеется <на> своих блаженных и понимает: «настало время». Изливает негодование и смеется над своими мечтами о блаженных. «***Ты не хочешь*** нам помочь? Помоги нам совершить великую ***месть***!» Ты суров к несчастным! — Уходят. / Недоверие и страх остаются у Заратустры. Он отсылает зверей. *Дальнейшее развитие — также в Z II 8, 31 [9]: Заратустра 4. (План)* / 1. Жертва медовая. / 2. Крик о помощи высшего человека. Сборище. (ок. 50 страниц) / 3. Сострадание Заратустры на высоте — но он суров; остается при своей задаче — «еще не время» / 4. Осмеяние Заратустры. Уход, прорицатель оставляет жало. / 5. Полный страха, отсылает зверей. / 6. ***Седьмое одиночество: — в конце «голова медузы»*** (ок. 40 страниц) / 7. Святой побеждает его. Кризис. Внезапно вскакивает. (Резкий контраст с благочестивым ***смирением***) / 8. «К великой природе». Победная песнь. / 9. Лев и стая голубей. Возвращение зверей (понимает, что все предзнаменования здесь). Посольство. / 10. Последнее прощание с пещерой (утешение вечного возвращения впервые открывает свое лицо). *Несколькими страницами ранее — набросок, более близкий окончательной редакции ТГЗ IV, 31 [11]:* ***Набросок.*** / — Жертва медовая. / — Крик о помощи. / Беседа с королями. / Хороший европеец рассказывает о бедствиях на море. / Мозг пиявки. / Добровольный нищий. / Колдун. / Самый безобразный человек. <Народ> / — Приветствие. / Вечерняя трапеза. / — Песнь колдуна. /

О науке. / О высшем человеке. / Речь о розах. / Отшельник рассказывает о гибели. / О седьмом одиночестве. / Замерзающий. / Клятва. / Последнее посещение пещеры: посольство радости. Там спит он. Утром он встает. Смеющийся лев. / — Великое превращение и ***обретение твердости***: в нескольких ***словах. Избегать*** «я». *В Z II 9 есть следующий план, который наиболее близок последней редакции ТГЗ IV, 32 [16]*: ***Жертва медовая. / Крик о помощи. / Беседа с королями. / Странник.*** [= Тень] / ***Добровольный нищий. / Папа в отставке. / Кающийся духом.*** [Чародей] / ***Совестливый.*** [= Пиявка] / ***Самый безобразный человек. / Спящий в полдень.*** [= В полдень] / ***Приветствие. / Вечерняя трапеза. / О высшем человеке. / Песнь чародея*** [= Песнь уныния] / ***О науке. / Псалом после трапезы.*** [= Среди дочерей пустыни] / ***Восставший. / В полночь. / Дикий охотник. / Смеющийся лев.*** *Описания персонажей часто встречаются в тетрадях Ницше: 29 [24]*: Странник (любознательный). / Король. / Прорицатель. / Юноша с горы. *[ср. ТГЗ I* О дереве на горе*]* / Дурень большого города. *[ср. ТГЗ III* О прохождении мимо*]* / Святой (***в конце***). / Толпа детей. / Поэт. *В Z II 8 персонажам дана краткая характеристика, 31 [10]*: 1. Блуждающий, лишенный родины, путешественник — разучившийся любить свой народ, ибо он любит множество народов, хороший европеец. / 2. Мрачный, честолюбивый сын народа, робкий, одинокий, готовый ко всему, выбирающий одиночество, чтобы не стать разрушителем, — предлагает себя как орудие. / 3. Почитатель фактов, «мозг пиявки», переполнен нечистой совестью, хочет освободиться ***от себя***! Тончайшая интеллектуальная совесть. / 4. Поэт, в глубине желающий дикой свободы, выбирает одиночество и ***строгость*** познания. / 5. Самый безобразный человек, который должен украшать себя (исторический смысл) и всё время ищет новые одежды: он хочет, чтобы его вид выносили, и в конце концов удаляется в одиночество, чтобы его не видели, — ***он стыдится себя.*** / 6. Изобретатель новых наркотических средств, музыкант, колдун, который в конце концов падает ниц перед исполненным любви сердцем и говорит: «***Не ко мне, а к нему*** хочу я вести вас!» / 7. Богатый, раздавший всё и спрашивающий каждого: «у тебя

есть преизбыток; дай мне от него!» — как нищий. / 8. Короли, отрекающиеся от власти: «мы ищем того, кто более достоин властвовать!» / 9. Гений (как приступ безумия), замерзающий от недостатка любви: «я не мысль и не бог» — великая нежность. «Его нужно больше любить!» / 10. Актеры счастья. / 11. Два короля, против «равенства»: нет великого человека и, ***следовательно, почтительности.*** / 12. Добрые. / 13. Благочестивые. / 14. Те, кто «для себя», и святые; их безумие «для бога» — это моё «для меня». / Потребность в безграничном доверии, атеизме, теизме / унылая решимость / голова медузы. *Номерам 2, 8, 10, 13, 14 не соответствует ни один персонаж из окончательной редакции ТГЗ IV, а образы поэта (4, ср. Песнь уныния), чародея (6) и гения (9) сливаются в образе чародея.*

Жертва медовая

239 [32–35]: Но ... медовую.] *ср. т. 11, 28 [36]*: ***Жертва медовая.*** / Принесите мне мед, по-ледяному свежий золотой сотовый мед! / Медом принесу я жертву всему, что одаряет, / что независтливо, что добро, — возвысьте сердца!
240 [35–36] *ср. ВН 270 и подзаголовок ЕН*: Как становятся самими собою.
241 [1–2: жду ... горах] *ср. ПСДЗ* Заключительная песнь.
[28] *ср. Откр. 20.*
[36–**242** 3] *о «ловле рыб на высоких горах» см. т. 11, 31 [54]*: — теперь закидываю я мои золотые удочки далеко в это темное море; просвистев, впиваются их стрелы в нутро его скорби. / — Теперь приманиваю я самых диковинных рыб человеческих, теперь хочу я смеяться бронзовым смехом над тем, что внизу всё рождается уродливым и кривым. / Откройся, нечистое лоно человеческой глупости! Ты, бездонное море, выброси мне своих самых пестрых чудищ и сверкающих раков. *Ср. также Мф. 4, 19: «идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков».*

Крик о помощи

Ср. т. 11, 26 [289]: ***Крик высших людей о помощи?*** / Да, крик неудавшихся — *29 [30]*: Прорицатель: я открыл тайную усталость всех душ, неверие, безверие; кажется, они оставляют это как есть: они устали. Они все не верят в свои ценности. / Так и ты, Заратустра! Достаточно было небольшой молнии, чтобы разбить тебя! / Хорошо, но остаются — — —.

243 [11–14: того ... душит»] *ср. ТГЗ II* Прорицатель.

244 [32–34] *ср. т. 11, 31 [34]* — «О звери мои! Мое великое счастье заставляет меня кружиться! Теперь я должен танцевать, — чтобы не упасть.

[35–38] *ср. т. 11, 31 [40]*: «Мы идем, чтобы увидеть самого веселого человека столетия»; *ср. Гёте, Реквием по самому счастливому человеку столетия, принцу фон Линь.*

245 [2] *затем*: Ибо тебя самого, о Заратустра, называю я глубиной, пещерой, полной ярости, и скорби, и ночных птиц, воспетым и устрашающим, пещерой и тайником для отшельников! / ибо так хочет твоя природа: ты всегда должен рыть новые укрытия и могилы, более дикие, более глубокие, более скрытые, — всё глубже должен ты зарываться в самого себя. — *Rs.*

Беседа с королями

Уже летом 1883 года Н. записал беседу Заратустры с королем, ср. т. 10, 13 [4]. Под заголовком Беседа с королями *есть следующие не использованные Н. афоризмы; в Z II 8, т. 11, 31 [61]*: — О Заратустра, в их голове меньше чувства справедливости, чем в левом пальце твоей ноги. / [...] — Смотрите же, как пришло это и должно было придти: нужно иметь глаза и на затылке! / — Образцовая несправедливость: ибо они хотят одинаковой меры для всех / [...] / — Они цепляются за законы и хотят называть их «твердой почвой»: ибо они устали от опасности, но в глубине ищут великого человека, рулевого, пред которым отступают даже законы / [...] / И кто из них еще честно называет свое послезавтра хорошим? / Кому —

позволено еще клясться и давать обещания? Кто из них еще остается пять лет в одном доме и при одном мнении? / Люди доброй воли, но ненадежные и жаждущие нового, эти клетки и узкие сердца, эти коптильные камеры и душные комнаты – они хотят быть свободными духом – / Они чувствуют себя частью черни телом и душой и хотели бы это скрыть <и> охотно напяливают на себя и поверх себя благородство: воспитанностью называют <они> это – они усердно этим занимаются. / Они говорят о счастье большинства и жертвуют ему всех грядущих. / У них есть добродетель, ее не купишь за любую цену. Не предлагай слишком мало, иначе они скажут «Нет!» и, гордо надувшись, удалятся, укрепленные в своей добродетели. «Мы самые неподкупные!» *[ср. ДД* Слава и вечность*]* / Учителя на один день и другие навозные мухи. / Часто похожи они на стыдливых, которых еще нужно принуждать и обязывать к тому, чего они хотят больше всего. / – Солнце его мира кажется мне мрачным и вялым; охотнее сижу я в тени раскачивающихся мечей. / – Купаясь в справедливости и милосердии, радуясь их глупости и тому, что счастье на земле так доступно. *Другой вариант Vs звучит так:* Беседа с королями. / Затем спросили они Заратустру, какой путь ведет к его пещере. Спрошенный, продолжая притворяться, ответил не сразу; наконец сказал он: «Что вы мне дадите, если я открою вам это?» *Выпущенное в Rs предложение:* – Пусть ты и мудрец, пришедший с Востока, – мы всё же считаем тебя лучшим европейцем (ибо ты смеешься над нашими народами и служением народу и говоришь: уступайте дорогу и дурному запаху!), «стоящим выше корчащегося, изолгавшегося тщеславия». *В появлении двух королей, вероятно, заключена реминисценция на Гёте, Поэзия и правда V (коронация императора Иосифа II во Франкфурте): «...император в романтическом одеянии и ошую, чуть поодаль, его сын в испанском костюме...»*[8]

247 [6: как фламинго] *ср. ТГЗ III* О старых и новых скрижалях **255** *[8].*

[8] Пер. по изд.: Иоганн Вольфганг Гете, «Поэзия и правда». М., 1969. С. 164.

[27–34: В ней ... господином] *ср. т. 11, 25 [268].*

248 [30–32] *ср. ТГЗ III* О старых и новых скрижалях ***207*** *[34–36].*

[38–40] *ср. т. 10, 15 [18]; 16 [86]; 22 [1]; т. 11, 31 [36.61].*

249 [*23*] *ср. Ис. 1, 21; Откр. 17.*

[35–**250** 3] *ср. ТГЗ I* О войне и воинах ***48*** *[23–24];* ***48*** *[32];* ***49*** *[1].*

[8–10: всякое ... позор] *ср. т. 11, 25 [3]*: «Рай—под тенью мечей». Вост<очное>

Пиявка

Заголовок в Rs: Совестливый духом. *Ср. т. 11, 32 [9]*: Знающий и совестливый. / —Сегодняшний познающий спрашивает: что есть человек? Бог сам как зверь? Ибо однажды, кажется мне, бог хотел стать зверем. [ПСДЗ *101*] / —холодные трезвые люди, в глупости которых не желают верить: их плохо толкуют как плохие умные вещи. [ПСДЗ *178*] / —вы научились не верить этому без оснований; как бы мог я опровергнуть вашу веру основаниями [*ср.* О высшем человеке *9*] / —разве хвала не назойливее любого порицания? Я разучился и хвале: в ней нет стыда. [ПСДЗ *170*] / —эти знающие и совестливые: как они убивают—щадящей рукой! [*ПСДЗ 69*] / —их память говорит: «это я сделал», но их гордость говорит: «ты не мог этого сделать» и остается непреклонной. В конце концов память уступает. *[ПСДЗ 68]* / —у него холодные иссохшие глаза, перед ним всякая вещь лежит ощипанной и бесцветной, он страдает от своей неспособности ко лжи и называет ее «волей к истине»! / —он трясется, оглядывается, проводит рукой по голове, и теперь позволяет обзывать себя познающим. Но избавление от лихорадки еще не «познание». *[ср.* О высшем человеке *9]* / —больным горячкой все вещи кажутся призраками, а избавившимся от горячки—пустыми тенями,—но и тем, и другим нужны одни и те же слова. / —Но ты, умный, как мог ты так поступить! Это была глупость—«Это дорого обошлось мне». *[ср.* Праздник осла *317 [9–10]* / —Иметь дух сегодня недостаточно: его надо еще взять

себе, «позволить» себе его; для этого требуется много мужества. / — есть и такие, которые испорчены для познания, ибо они учителя: лишь ради учеников они серьезно относятся к вещам и к самим себе. *[ПСДЗ 63]* / — вот они стоят, тяжелые гранитные кошки, ценности из древних времен; и ты, о Заратустра, ты хочешь опрокинуть их? / их смысл — бессмыслица, их шутка — глупость и сумасбродство. / — эти прилежные и добросовестные, каждый их день струится золотым и ровным светом / *[...]* / — упрямые души, утонченные и мелочные! / — позволь дать совет: твои доводы утомляют голод моего духа. / — ты даже не чувствуешь, что спишь: о, ты не скоро проснешься! / *[...]* / — полный глубокого недоверия, обросший мхом одиночества, с терпеливой волей, молчаливый, ты, враг всех испытывающих желания / — не за веру свою сгорает он изнутри, в огне небольших зеленых поленьев, а за то, что не находит сегодня мужества для своей веры. / — беспомощный, как труп, мертвый при жизни, погребенный, скрытый: он больше не может стоять, этот съежившийся, притаившийся; как сможет он — восстать / *[ср. ДД* Среди хищных птиц*]* / *[...]* / — ты хотел быть для них светом, но ты ослепил их. Само твое солнце выжгло им глаза. / *[...]* / — они лежат на брюхе перед маленькими круглыми фактами, они целуют пыль и грязь у их ног и ликуют: «Вот, наконец, реальность!»

252 [14–15: совсем ... невежество мое] *ср. т. 11, 29 [51]*: — Совестливый / Совсем рядом с пиявкой начинается мое незнание; но я разучился стыдиться одного и того же.
[9–20: Где ... слепым] *ср. т. 10, 12 [5]*: Там, где кончается ваша честность, ваш взор ничего больше не видит; о, я знаю вашу волю к слепоте!
[22–23: дух ... по живому] *ср. ТГЗ II* О прославленных мудрецах ***108*** *[28]*.

Чародей

Заголовок в Rs: Кающиеся духом. *ср. т. 11, 30 [8]*: Колдун. / Я устал; напрасно ищу я всю жизнь великого человека. Но и Заратустры больше нет. / Я узнаю тебя, сказал

Заратустра серьезно, ты околдовываешь всех, но мне кажется, ты сам пожинаешь свое отвращение. / Тебе делает честь, что ты стремился к великому, но это и выдает тебя: ты не велик. / Кто ты? — спросил он, глядя испуганно и враждебно. — Кому позволено так со мной говорить? — / Твоя нечистая совесть, — ответил Заратустра и повернулся к колдуну спиной. *Vs (Z II 7)*: Ты веришь в добродетели, как чернь верит в чудо, и с твоей верой ты сам для меня чернь: словно нечистые молодые и старые бабенки — веришь ты в чистоту. / Смотри, как бы ты, подобно нечистой бабенке, в конце концов не остался лежать перед крестом. / На коленях перед добродетелями и отрекающимися, как и вся чернь; но особенно перед великой невинностью — вот где молился ты. / Всякая чернь верит в добродетели как в чудо; подобно грязным молодым и старым бабенкам веришь ты в чистоту. / Ты долго притворялся великим человеком, ты, плохой чародей, — но эта ложь была свыше твоих сил. Ты разбился о нее; и хотя ты уже обманул многих, в конце концов тебе стали противны эти многие. / Что чуждо тебе, называешь ты священным; охотнее всего пробуешь ты и вдыхаешь носом всё невозможное. Но это вкус черни. *31 [5] относится и к «поэту»*: Говорил ли ты о себе или обо мне? Но предавал ли ты меня или себя, ты будешь предателем, ты, поэт! / — лишенный стыда, что ты жил, эксплуатируя свои переживания, оставляя самое любимое назойливым взглядам, проливая кровь во все выпитые до дна бокалы, ты, тщеславнейший! *Ср. ПСДЗ 161 31 [36]*: — вы хорошо умели скрываться, вы, поэты! *31 [43]*: — вы, стихоплеты и лежебоки, кому нечего создавать, тому ничто доставляет хлопоты! *31 [33]*: — как пастух смотрит поверх спин кишащих овечьих отар: море серых, мелких, кишащих волн. / — со скрежетом бьюсь я о берег вашей пошлости, скрежеща как дикая волна, когда против собственной воли она впивается в песок — *31 [36]*: Колдун — я умею и расстилать пестрые покрывала: кто разбирается в лошадях, разбирается и в седлах. *31 [37]*: Колдун — скоро вы снова научитесь молиться. Старые фальшивомонетчики духа сделали и ваш дух фальшивой монетой.

254 [17–**256** 36] *жалоба чародея была сочинена осенью 1884 и первоначально задумывалась как самостоятельное стихотворение; в Z II 5 (ср. т. 11, 28 [27]) содержится первая редакция, озаглавленная:* Поэт. Муки созидающего. *В Z II 6 (вторая редакция) есть два заглавия. Первое (зачеркнутое):* Из седьмого одиночества. *Второе:* Мысль. *В Z II 8 следующая редакция (в прозе), не отличающаяся от поэтической, ср. т. 11, 31 [32]; в декабре 1888–январе 1889 жалоба чародея стала Дионисовым дифирамбом под заглавием:* Плач Ариадны. *К определению стихотворения в ТГЗ IV ср. 29 [22]:* «Кто еще любит меня» – замерзающий дух / эпилептик / поэт / король.

257 [22–23] *ср. ТГЗ II* О поэтах *135 [32–35].*
[36: должен ... судьба] *ср. ТГЗ II* О человеческой мудрости *149 [19–20].*

258 [3–5] *ср. т. 11, 31 [33]:* – «эти поэты! Они красятся, даже когда показываются голыми своему врачу!» (И когда Заратустра не возразил на это, а улыбнулся, смотрите, поэт уже схватил в руки арфу и широко раскрыл рот для новой песни. *31 [24]:* – и оба они рассмеялись во все горло. «Как же умеем мы, поэты, прихорашиваться и подпирать себя! Я думаю...» и т.д.

259 [23–24: В конце концов ... из нее.] *ср. Федр. Басни 1, 24.*

В отставке

Заголовок в Rs: Папа в отставке. *В Vs:* Папа (Или: О набожных).

260 [28–33] *ср. ТГЗ I* Предисловие 2.

261 [8–10] *ср. ТГЗ I* Предисловие 2.
[24–25] *ср. ТГЗ III* Об умаляющей добродетели *175 [32–34].*

262 [3–4: И ... хорошее] *согласно афоризму «de mortuis nil nisi bene»*[9].
[13–14] *ср. стихотворение* Новый Завет, *написанное осенью 1884 г., т. 11, 28 [53], а также А 34.*

---

9 О мертвых ничего, кроме хорошего (*лат.*).

Самый безобразный человек

Ср. т. 11, 25 [101]: Греческие философы искали «счастье» не иначе как в форме того, чтобы находить **себя** прекрасными: создавать из себя статую, чей вид доставляет удовольствие (не вызывает страха и отвращения). / «Самый безобразный человек» как идеал мышления, отрицающего мир. Но и религии суть результат стремления к красоте (или к возможности ее выносить); крайним следствием было бы осознание абсолютного безобразия человека, бытие без бога, без разума и т.д. — чистый буддизм. Чем безобразнее, тем лучше. / Эту крайнюю форму отрицания мира искал я. «Всё — страдание», всё ложь, что кажется «добрым» (счастье и т.д.). И вместо того чтобы сказать «всё — страдание» я сказал: всё есть причинение страдания, умерщвление, даже в лучшем человеке. / «Всё видимость» — всё ложь. / «Всё страдание» — всё причинение боли, умерщвление, / уничтожение, несправедливость. / Сама жизнь есть ***противоположность*** «истины» и «добра» — ego. / Утверждать жизнь — означает то же, что утверждать ложь. — Следовательно, жить можно лишь ***с абсолютно аморальным мышлением***. С его помощью выносят мораль и ***стремление к приукрашиванию***. — Но невинности лжи больше нет! *31 [49]*: — без бога, без блага, без духа — мы выдумали его, самого безобразного из людей! *Vs (Z II 9)*: Самый безобразный из людей. — / «Как, ты уже хочешь уйти, ты, твердый, святой? Ну что ж! Тогда возьми с собой и мое последнее, худшее слово: давно берег я его для тебя. / Слушай же, о Заратустра, мою лучшую загадку, мою тайну: это я, я — убил бога. / Ведь ты, конечно, знаешь: он видел самое глубокое в самом безобразном человеке, весь его сокровенный позор и безобразие, он пробирался в самые грязные мои закоулки. / Бог должен был умереть, этот любопытный, сверх-назойливый, — такому свидетелю хотел я отомстить — или самому не жить! / Бог, который видел всё, даже человека, — этот бог должен был умереть! Человек не выносит, когда такой свидетель — жив!» / — Так говорил самый безобразный человек; Заратустра же слушал его слова с невозмутимым лицом, как тот, кто сейчас не

готов к Да и Нет. А когда тот перестал хрипеть и сморкаться, Заратустра снова пошел своей дорогой, более задумчивый, чем прежде: ибо он вопрошал себя и не мог легко дать себе ответ: / «Как? Неужели это был высший человек, чей крик я слышал? Я еще не находил того, кто ненавидел бы себя глубже. / Это тоже высота, и я люблю великого презирающего. Ибо человек есть нечто, что должно преодолеть. И возможно, этот самый безобразный человек справедливо роптал так долго и тяжело на свое безобразие? Возможно, в безобразном яйце скрывается будущая прекрасная птица? / Как беден человек и безобразен, как хрипит он, как полон скрытого стыда! Мне говорят, что человек любит себя: / Этот не любил и не уважал себя; и кто до сих пор безмерно и беспримерно презирал людей, — не был ли именно он величайшим благодетелем человека? / Я люблю великих презирающих, ибо они становятся стрелами тоски; нисходящих люблю я, ибо в них поднимается человек». — / Так говорил Заратустра. *32 [4]*: К «самому безобразному человеку». / Не отчаивайся, о душа моя, из-за человека! Лучше услаждай свой взор всем тем, что есть в нем злого, странного и ужасного! / «Человек зол» — так говорили мне в утешение мудрецы всех времен. О, если бы Сегодня научило меня вздыхать: «Как! Неужели это всё еще правда?» / «Как? Утешения больше нет?» Так вздыхало мое малодушие. Но меня утешил этот божественнейший.

266 [31–34] *ср. т. 11, 31 [43]*: — они преследуют меня? Ну что ж, так учатся они следовать за мною. Всякий успех был доселе на стороне хорошо преследуемых. *ср. Мф. 5, 10.*

267 [32–35] *ср. Ин. 14, 6.*

[39] *ср. т. 11, 25 [338]*: Рассказывают <что> знаменитый основатель христианства сказал перед Пилатом: «Я есмь истина»; ответ римлянина достоин Рима: как величайшее остроумие всех времен. *Ответ Пилата был: «Что есть истина?» (Ин. 18, 38); Иисус сказал ему не «я есмъ истина» (как в Ин. 14, 6), а: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». (Ин. 18, 37). Ответ Пилата процитирован и в А 46.*

268 [2: не всех и не каждого] *ср. подзаголовок к Заратустре*: Книга для всех и ни для кого.
[4–9] *ср. ТГЗ II* О сострадательных *93 [14–16]; 93 [17–22]*.
[36–39] *ср. т. 11, 31 [36]*: — Делайте как я, учитесь как я: лишь тот, кто действует, учится.
269 [18–19] *ср. ТГЗ I* Предисловие *4*.

Добровольный нищий

Ср. т. 11, 29 [51]: Заратустра добровольному нищему: «У тебя наверняка есть какой-нибудь преизбыток. Дай мне от него!» / Так узнаю я Заратустру. / — Хочешь ли ты от моего преизбытка отвращения? / — Они танцуют ради блага нищих, исчезает всякий стыд перед несчастьем. *31 [50]*: добровольный нищий — та старая ловкая святость, которая говорила: «Давать нищим значит давать взаймы богу; будьте хорошими банкирами!» *Ср. Афоризмы 19, 17; в 32 [10] следующие афоризмы, описания и сравнения, которые Н. отверг или использовал в других местах*: ***Добровольный нищий.*** / Лишь тогда я вернулся к природе. / *[...]* / — Они холодны; пусть молния ударит в их блюда и их пасти научатся пожирать огонь! / — Я устал от самого себя — и смотрите, только тогда пришло ко мне мое счастье, которое ждало меня с самого начала. / — Они сидят со связанными лапами, эти хищные кошки; теперь они не могут царапаться, но взгляд их зеленых глаз ядовит. / — Иной уже бросался со своей высоты вниз. Сострадание к низшим искушало его; теперь лежит он с переломанными конечностями. / — Что проку в том, что я сделал так! Я слушал эхо, но слышал только похвалу. *[ср. ПСДЗ 99]* / — У них воровские глаза, даже когда они купаются в богатстве. Иных из них называю я тряпичниками и стервятниками. *[ср. 272 [20–22]* / — Я видел, что они, по привычке своих отцов, нечисты на руку *[ср. 272 [21]*; тогда предпочел я оказаться в проигрыше. / *[...]* / — Уж лучше ссоры, чем эти торгаши! В перчатках нужно прикасаться к золоту и к менялам! / — Малое благодеяние возмущает там, где не прощается самое большое. *[ср. 272 [1–2]* / *[...]* / — Я стыдился богатства;

когда увидел я наших богатых, отбросил я всё, что имел, и бросил сам себя в пустыню. *[ср. 271 [25–27]* / — Мой дорогой незнакомец, где был ты? Разве сегодня каждый не мошенник? Всех их можно купить, но не за любую цену; если захочешь купить их, предлагай не слишком мало, иначе ты укрепишь их добродетель. Иначе они скажут «Нет!» и, надувшись, уйдут, как будто они неподкупны *[ср. ДД* Слава и вечность*]* – все эти учителя одного дня и бумажные навозные мухи! / — Узкие души, души лавочников; когда деньги прыгают к ним в сундук, прыгает следом и душа лавочника. / *[...]* / — «Так узнаю я слишком богатого: он благодарит того, кто берет», — говорит Заратустра. / *[...]* / — Они изобрели самую святую скуку и жажду лунных и рабочих дней. / *[...]* / Не из-за той старой ловкой святости, которая говорила: «Давать нищим значит давать взаймы богу. Будьте хорошими банкирами!» / — Вы любите пользу как экипаж ваших склонностей, но неужели вы можете выносить стук его колес? Я люблю бесполезное. *[ср. ПСДЗ 174]* / *[...]* / Я люблю тишину, а они любят шум; поэтому———.

270 [27–28: нагорный проповедник] *как Иисус.*

271 [1–3] *ср. Мф. 18, 3: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»; ср. Vs:* Всё счастье пережевывания есть при этом у меня; уподобьтесь лучшим зверям, уподобьтесь коровам! Если вы не станете как коровы, вы не войдете <в Царство Небесное>.

[4–6] *ср. Мф. 16, 26: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»*

272 [8–9] *ср. Лк. 6, 20.*

[16: каторжникам богатства] *ср. т. 11, 28 [25].*

Тень

Образ странника и «тени» совпадает в вариантах с образом «хорошего европейца»; ср. многочисленные заглавия задуманного Н. труда о «хороших европейцах», например т. 11, 26 [320]: ***Хорошие европейцы.*** / Предложения по воспитанию новой аристократии. / Сочинение Фридриха Ниц-

ше. *К «Тени» ср. 31 [25]*: инстинкт ***саморазрушения***: прибегать к познанию, которое лишает всякой выдержки и силы. *Vs (Z II 10)*: Хороший европеец. / — — — Но когда он взглянул на него, сердце Заратустры сжалось от страха: таким похожим на него самого выглядел его спутник, не только одеждой и бородой, но и всеми манерами. / «Кто ты? — спросил Заратустра резко. — Или это я сам? Что ты делаешь здесь, со мной, ты, шут? Или как мне тебя называть?» / «Прости мне, о Заратустра, этот маскарад, — ответил двойник и тень. — Если ты хочешь дать мне имя, назови меня хорошим европейцем. / Я подражаю твоей одежде и манерам, сейчас это модно в Европе. Иногда я называл себя и странником, / но чаще тенью Заратустры. И поистине, я следовал за тобой по пятам в дальние дали, как ты знаешь и догадываешься. / Если ты в конце концов назовешь меня вечным жидом, я не обижусь; подобно ему, я всегда в пути, без цели и без родины — хоть и не вечен я, и не жид. *Ср. т. 11, 32 [8]*; *ТГЗ II* О великих событиях *139 [6–9]*; *намек на СТ очевиден.*

274 [10: царство мое ... мира *сего*] *ср. Ин. 18, 36.*

275 [34: Нет ... дозволено] *ср. ГМ III 24.*

276 [1–2: Слишком ... голове] *ср. т. 11, 25 [5]*: «Кто слишком близко следует за истиной, тот рискует однажды свернуть себе шею». Английская поговорка.

В полдень

Ср. т. 11, 30 [9]: Мертвый при жизни, погребенный в счастье, — кто так — — — сколько раз должен он восставать! О счастье, через ненависть и любовь поднялся я к моей поверхности; слишком долго висел я в спертом воздухе ненависти и любви; спертый воздух гнал и толкал меня, словно мяч, / Радостный, как тот, кто заранее наслаждается собственной смертью. *[ср. ДД* Солнце садится*]* / Не замер ли мир? Темными ветвями и листвой обвивает меня эта тишина, / Ты хочешь петь, о душа моя? Но теперь тот час, когда ни один пастух не играет на свирели. Полдень спит в полях. / Золотая скорбь всех,

кто испытал слишком много добра. / Как долго спал я? Как долго буду я теперь просыпаться? *31 [36]*: не замер ли мир? Словно ужасными кольцами обвивает меня эта тишина! *31 [43]*: Ты даже не чувствуешь, что спишь; о, ты еще не скоро проснешься! *Vs (Z II 9)*: К спящему в полдень. / «Для счастья – сколь малого достаточно для счастья»; какая-нибудь мудрость – и многие уже казались умными. Но теперь моя душа знает это лучше. Самое малое, самое тихое, самое легкое, дуновение, миг, мгновение – вот что составляет лучший вид счастья. / И некогда проклял я моих друзей, ибо они сделали мое счастье коротким и мгновенным мое вечное, – о, как глупо проклял тогда Заратустра своих лучших друзей! / Именно они делают счастье моим! Такая вечность хочет длиться недолго: таким желает она свой род, лучший род! Его называю я – мгновенной вечностью! / О, сколь многое дарили мне всегда в самом малом! О, какие старые забытые капли счастья и божественного вина пил я! / В мутном бокале среди серых паучьих сетей, в темных подвалах и еще более темных бедах – оставленном, приготовленном сохраненном именно для меня! / Теперь я спал – но как долго? Целую вечность. Ну что ж! Вперед, старое сердце! Как долго можешь ты, после такого сна, – оставаться бессонным! / Многое еще скрыто от дня; еще не нашел я того, кого искал. Ну что ж! Вперед! Вы, старые ноги! Еще осталась для вас добрая часть пути!

278 [16: одно ... другого] *ср. Лк. 10, 42: «а одно только нужно».* [21: Не стал ... совершенен?] *ср. Н. к Карлу фон Герсдорфу, 7 апреля 1866*: ...подобно тем прекрасным летним дням, широко и уютно раскидывающимся на холмах, как это прекрасно описывает Эмерсон; тогда, говорит он, природа становится совершенной...

[31–32] *ср. т. 11, 31 [40]*: – Блаженный и усталый, подобно тому творцу на седьмой день. *Ср. Быт. 2, 3.*

280 [3–6] *ср. т. 11, 31 [49]*: – День уходит, давно пора нам отправляться.

Приветствие

Vs (Z II 8): «Не стоит жить» — так кричали многие усталые души. «Для чего! Для чего?» — звучал их вопрос; «напрасно! напрасно!» — отдавалось эхом со всех холмов. / Человек стал маленьким, только шум стал большим; чернь сказала: «Теперь пришло мое время» — и тогда лучшие утомились от своих трудов. / У лучших иссякли все источники, в пыли и мраке лежали великие души, а базар был полон отвратительных запахов; тогда надежда бежала — к тебе, к тебе, о Заратустра! / «Как? Разве не жив Заратустра?» Так говорили себе многие, и многие взгляды устремились к твоим горам. / «Почему не приходит он? — так спрашивали многие днем и ночью. — Почему остается он словно проглоченный во чреве кита? Или мы должны идти к нему?» *Ср. т. 11, 31 [62]*: ***Вечерняя трапеза.*** / Так говорил король, и все подошли к Заратустре и еще раз выразили ему свое почтение; но Заратустра покачал головой и жестом руки отстранил их. / «Добро пожаловать! — сказал он своим гостям. — Снова говорю я вам «добро пожаловать», вы, удивительные! И мои звери приветствуют вас, полные почтения и страха: еще никогда прежде не видели они столь высоких гостей! / Но вы для меня немалая опасность — так нашептывают мне мои звери. «Остерегайся этих отчаявшихся!» — говорит мне змея на моей груди; простите их любви ко мне эту робкую осторожность! / Об утопающих тайно говорит мне моя змея: море затягивает их вглубь — и они хотят уцепиться за сильного пловца. / Поистине, так слепо и яростно хватаются утопающие руками и ногами за доброго спасителя, что тянут сильного за собой в пучину. Не вы ли — эти утопающие? / Я уже протягиваю вам мизинец. Горе мне! / Что же теперь возьмете вы у меня и потащите к себе!» — / Так говорил Заратустра и смеялся при этом, полный злобы и любви, поглаживая рукой шею своего орла: тот стоял перед ним, взъерошенный, как будто он должен был защищать Заратустру от его гостей. Потом Заратустра протянул руку королю справа, чтобы он поцеловал ее, и заговорил снова, еще сердечнее, чем прежде — — —. Vs:

вы жалуетесь, но вы должны были страдать гораздо больше — и всё же оставаться твердыми. / Может быть, криво, согнувшись, но как — — — / Я чту ваше презрение, уход в сторону и то, что вы не учитесь приукрашивать себя; еще больше чту я в вас, что вы можете любить там, где вы ненавидите. / Это указывает на высший род: презирать должен любящий, ибо любящий желает созидать, — особенно тот, кто хочет созидать превыше себя. / Вы преодолели много, но недостаточно: вы ищете недомогания и в здоровые дни. *Ср. т. 11, 32 [2]*: Он говорил за всех нас, ты избавил нас от отвращения — худшей болезни этого худшего времени / Заратустра: что за подарок вы принесли мне — вы сами не знаете, ***что*** вы мне сейчас подарили! *В Z II 10 находится другая, весьма обширная редакция «Приветствия», в которой встречаются многие мотивы следующих глав (например,* О высшем человеке*) без вариантов, имеющих отношение к содержанию. Обе главы:* Приветствие *и* Вечерняя трапеза — *были разделены Н. лишь в Dm; до этого они составляли одну главу* — Вечерняя трапеза.

283 [26–27: Не поглотило ... одиночество] *ср. ТГЗ III* Об отступниках ***184*** *[19–20].*

[30: Всюду ... воскресшие] *как во время смерти Иисуса, ср. Мф. 27, 52–53.*

284 [11.12: по-немецки и ясно] *ср. Richard Wagner, «Was ist deutsch?», Bayreuther Blätter, Zweites Stück, Februar 1878, 30: «Слово «немецкий» находит свое выражение в глаголе «объяснять» (deuten): таким образом, «немецкое» – то, что ясно (deutlich) для нас...»*

285 [27–29] *ср. ТГЗ III* О блаженстве против воли ***165*** *[20–22].*

Вечерняя трапеза

Параллель с «тайной вечерей» Иисуса очевидна.

286 [6–7] *ср.* В полдень ***278*** *[15–16].*

[32–33: Не ... человек] *ср. Мф. 4, 4.*

287 [3–5] *ср. т. 11, 30 [7]*: Кто желает есть со мной, должен тоже приложить руку. Нужно заколоть ягнят и развести огонь / — как дикарь в лесу / — поэт должен спеть нам.

[12: Хвала ... бедности] *ср. ТГЗ I* О новом кумире *52 [14–15]*.
[30–31] *ср. т. 11, 31 [40]*: — Больше всего удивляет меня в мудреце то, что иногда он умен.

О высшем человеке

Ср. в т. 11 следующие наброски заглавий планируемого Н. труда (перед ТГЗ IV) о «высшем человеке»: 26 [270]: ***К высшим людям.*** / Крик глашатая-отшельника. / Сочинение Фридриха Ницше. (*ср. 29 [5]*); *26 [318]*: ***Высший человек.*** / О философах. / О предводителях стад. / О святых. / О добродетельных. / О людях искусства. / ***Критика высшего человека.*** *Определение высшего человека см. т. 11, 29 [8]*: План. Я ищу и зову людей, с которыми могу поделиться этой мыслью *[о вечном возвращении подобного]* и которые не погибнут от этого. / ***Определение высшего человека: кто страдает за человека***, а не только за себя самого, кто может создать «человека» только в себе самом и не может иначе / — против мистиков, самодовольно отходящих в сторону и мечтательных / — против «устроившихся». / — Мы неудавшиеся! Высший тип! Спасти ***нас*** значит спасти «самого человека»: это наш «***эгоизм***»! *Ср. также т. 11, 32 [2]*: Ты учишь воспитывать новую знать. / Ты учишь основывать колонии и презирать торгашескую политику государств. / Тебя волнует судьба человека. / Ты пропускаешь мораль через себя (преодоление человека, не только «добро и зло», осознание грехов). / ***Речь Заратустры о высшем человеке.*** / Вы должны найти ***преимущества*** этого дурного времени.

288 [3–10] *ср. ТГЗ I* Предисловие *4*.
[30–31: Бог ... жил сверхчеловек] *ср. ТГЗ I* О дарящей добродетели *82 [14–15]*.
289 [8–10] *ср. ТГЗ I* Предисловие *4*.
290 [11–13] *ср. ТГЗ II* О человеческой мудрости *150 [29–30]*.
[14–15] *ср. ПСДЗ 295*.
[17: что ... грехи человеческие] *ср. Мф. 8, 17*.
[19–21] Мой истины тонки, они для тонких пальцев; поэтому не нужно хвататься за них овечьими копытами.

Не всякое слово ко всякому рылу. (Это на пользу всех больных рыл и копыт!) *Vs.*

[32–33] *ср. ТГЗ I* О дереве на горе *44 [10–12]; т. 10, 3 [2].*

[33: достаточно ... молнии!] *из*: сверхчеловек. Достаточно высоко для молнии – –! *Vs.*

291 [1–3] – и хотя на немногое и долгое направлена мысль моя и тоска моя – сегодня не хочу я смотреть косо поверх коротких красот. *Vs; ср. т. 11, 31 [51]*: ***Поэты*** – на немногое и долгое направлена мысль моя и тоска моя; как презираю я ваши маленькие короткие красоты!

[14–16] *ср. т. 11, 31 [38]*: – Ты хотел быть их светом, но ты ослепил их. Твое солнце выкололо им глаза.

293 [8–11] *ср. т. 11, 31 [37]*: – Твоя добродетель – это осторожность беременной: ты защищаешь и бережешь свой священный плод и свое будущее.

[16–17] *ср. т. 11, 26 [265]*: NB. О крике роженицы из-за всей этой нечистоты. Для самых великих духом нужен праздник очищения! *Ср. Лев. 12, 2.*

294 [15–17] *ср. т. 11, 27 [52]*: Тигр, совершающий неловкий прыжок, стыдится самого себя.

[21–23] *ср. т. 11, 31 [13]*: Если мне что-то не удалось, значит ли это, что – не удался я сам? А если я сам не удался, что толку во мне? Значит ли это, что не удался человек? / Это болезнь и горячка.

295 [11–12] *ср. т. 11, 25 [150]*: Лк. 6, 25 проклятие на головы тех, кто ***смеется*** –.

[17–18: вой и скрежет зубовный] *библ.: ср., напр., Мф. 8, 12.*

296 [13–15] *подтверждение того, что Н. имел в виду коронацию Наполеоном самого себя, мы находим в т. 10, 22 [5]*: Такой всегда должен был сам надевать на себя корону: он всегда считал священников слишком трусливыми. *Х. Вайхельт считает розовый венок Заратустры противопоставлением терновому венцу Христа (Мф. 27, 29). В т. 11, 31 [64] содержатся все мотивы последней главы ТГЗ IV.*

Песнь уныния

Vs: Было далеко за полдень, когда трапеза подошла к концу; Заратустра встал и сказал своим гостям: «Позволь-

те мне, друзья мои, ненадолго выйти наружу, я хочу принести охапку роз; но откуда они сегодня у меня взялись — этого я вам не скажу. / Но едва Заратустра покинул своих сотрапезников, старый чародей весело посмотрел вокруг и потянулся за своей арфой. «Он вышел, — сказал он — — —.

298 [25: противник] *библ. обозначение дьявола; см. 1. Пет. 5, 8.*

299 [25–**302** 7] Песнь уныния *возникла как стихотворение осенью 1884. В Z II 5 есть две фрагментарных Vs к нему. Первая, под заголовком* Злоба солнца *(ср. т. 11, 28 [3]), примерно соответствует* ***299** [25]–**300** [14], а вторая, под заголовком* Овцы *(28 [148]), –* ***300** [31]–**301** [8]. В Z II 6 – следующие варианты заглавий:* Злоба солнца. // Лишь поэт! // Кающийся духом. *Т. 11, ср. 31 [31]; ДД* Лишь дурак! Лишь поэт!

299 [25] *ср. т. 7, 37 [1]; Paul Fleming, Geist- und weltliche poëmata, Jena 1651, 580; это место цитируют Якоб и Вильгельм Гриммы: Deutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig 1854, s.v. «abhellen».*

300 [38] *ср. т. 11, 25 [4]*: «Прямо сталкиваются орлы». Сага Олафа Харальдсона.

О науке

303 [14–15: в ... свирель] *из*: в тебе два, три, четыре и пять смыслов. *Dm.*

304 [24] *ср.* О высшем человеке ***294** [8–10].*

305 [19: любит врагов своих] *согласно заповеди Иисуса.*

Среди дочерей пустыни

306 [3–5] *ср. Лк. 24, 29: «останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру».*

[14–16] *ср. ТГЗ III* Перед восходом солнца ***170** [1–3].*

307 [17–**311** 4] *«Псалом после трапезы» странника и тени также возник в виде самостоятельного стихотворения осенью 1884. В Z II 6 мы находим следующие подзаголовки:* Псалом – *подчеркнуто; затем:* Предисловие. *Возможно, Н. намеревался сделать стихотворение предисловием к задуманному им сборнику стихов; ср. комментарий к стихотворным фрагмен-*

там в т. 11. Среди дочерей пустыни — *с изменениями, сделанными, главным образом, в конце – также стало одним из Дионисовых Дифирамбов.*

307 [22] *ср. Шекспир, Сон в летнюю ночь V, 1.*

308 [8] *см. Иона 2, 1.*

311 [5] *ср. т. 11, 28 [4].*

Пробуждение

312 [3–10] *ср. т. 11, 29 [61]*: Ликование этих высших людей пришло к нему как влажный теплый ветер; его твердость растаяла. Сердце его задрожало до самых корней.

314 [13–**315** 5] *О молитве ослу ср. G. Naumann, IV, 178–191. Одним из источников Н. о средневековых праздниках осла был, как справедливо заметил Науманн, – W. E. Y. Lecky, Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa, deutsche Übers. von H. Jolowicz, Leipzig-Heidelberg 1873, BN. В экземпляре Н. есть многочисленные пометки на полях, в том числе и там, где речь идет о праздниках осла: S. 224f. Ср. также ПСДЗ 8 и прим.*

314 [13–14] *ср. Откр. 7, 12.*
[16–18] *ср. Пс. 67, 19; Флп. 2, 7–8; Чис. 14, 18; Евр. 12, 6.*
[20–21: он ... мир свой] *ср. Быт. 1, 31.*
[29–30: Разве ... по образу своему] *ср. Быт. 1, 26.*
[37–39] *ср. Мф. 19, 14; Притч. 1, 10.*

Праздник осла

Заглавие в Dm: Старая и новая вера. *Соответствует заглавию критикуемого Н. в НР произведения Давида Фридриха Штрауса.*

317 [7–10] *первые заметки есть уже в N V 9 (лето-осень 1882), т. 10, 2 [41]*: «Но как мог ты поступить так? — сказал друг очень умному ч<еловеку> — Это была глупость». «Она дорого обошлась мне» — ответил тот. *Эта заметка, как и многие другие, встречается, в различных вариациях, в тетрадях ТГЗ осени 1882; в конце концов Н. использовал ее в этой главе; ср. т. 11, 31 [52]*: — «Но Заратустра, — сказала змея, —

ты умен; как мог ты поступить так! Это была глупость!» — «Она дорого обошлась мне». *(Подобно 32 [9].)*

[30–31: Как ... очевидность!] *ср.* Пиявка **253** *[26].*

318 [11] *ср. ТГЗ I* О чтении и письме **42** *[20–21].*

[22–24] *ср. ТГЗ III* Об отступниках 2.

[29–30: если ... Небесное Царство] *ср. Мф. 18, 3.*

319 [16–18] *ср. 1. Кор. 11, 24.*

Песнь скитальца в ночи

Заглавие в He (и GA): Пьяная песнь *ср. т. 11, 29 [31]*: ——— сказал всё «еще раз» (возвращаясь как **голова медузы**) *32 [13] следует (в тетради Z II 9) за* **320** *[14]–***321** *[15].*

320 [27–28] *ср. ТГЗ III* О видéнии и загадке **162** *[1–3].*

321 [7–8: пьян от сладкого вина] *ср. Деян. 2, 13.*

321 [22: как сказано в писании] *ср. ТГЗ III* Семь печатей **233** *[5–8].*

325 [15–16: нож виноградаря] *ср. ТГЗ III* О великом томлении **227** *[32–33],* **228** *[4–5].*

326 [30–32] *затем*: — к безобразнейшему стремится прекрасное, к худшему всё хорошее, и тот, кто создал глупейший мир, был, конечно, мудрейшим: ибо желание склонило его к этому — / — желание склоняет к любой глупости, оно склоняет вечного бога к миру, зверя — к человеку, радость — к боли — *Rs*; *вычеркнуто в Dm.*

327 [9–19] *ср. ТГЗ III* Другая танцевальная песнь *3.*

Знамение

Ср. т. 11, 31 [57]: Волосы Заратустры чернеют (лев и стая голубей); *32 [15]*: ***Знамение*** / Утром после этой ночи вскочил Заратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры, сияющий и радостный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор. / «Они спят еще, — закричал он, — в то время как ***я*** бодрствую; ***это*** не настоящие последователи мои, эти высшие люди. / Должны прийти ко мне те, кто выше их, более храбрые, свободные и светлые — смеющиеся львы должны прий-

ти ко мне; что мне до этой маленькой, короткой, странной нищеты! / Этого жду я теперь, этого жду я теперь» — и пока Заратустра говорил так, сел он в задумчивости на камень у своей пещеры. / «Кто должен быть господином земли? — продолжал он. — Поистине, не эти — лучше разобью я их моим молотом. Ведь я сам молот. / Они выдерживают земную жизнь, когда их наполняют земными страстями, сердечно уговаривают их. Как! Лишь ***выносить*** жизнь на этой земле? Ради земли стыжусь я таких речей. / Лучше пусть будут злые дикие звери вокруг меня, чем эти домашние неудавшиеся; сколь счастлив буду я снова увидеть чудеса, порождаемые жарким солнцем — / — все зрелые и удавшиеся звери, которыми гордится сама земля. Разве еще не удался ей человек? Ну что ж! Но лев удался». / И снова погрузился Заратустра в далекие мысли и страны и в молчание, которое избегает даже собственного сердца и у которого нет свидетелей.

328 [2–5] *ср. т. 11, 31 [20]*: И вот, встал Заратустра, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор; сильный и сияющий, идет он туда — к великому полудню, к которому стремилась его воля, и вниз, к своему закату.
[*3*: опоясал чресла] *3 Цар. 18, 46.*
[6–8] *ср. ТГЗ I* Предисловие *11 [9–10].*
[18–19: упивается ... полуночами] упивается еще моими пьяными песнями *He; GA.*

329 [10] *ср. т. 10, 19 [7]*: И каждый раз, когда лев смеялся, чувствовал Заратустра такое непривычное волнение, что хватался за сердце: ибо он чувствовал себя так, как будто с его сердца упал камень, еще один и еще один. *Т. 11, 31 [14]*: ***Смеющийся лев*** — «если бы я увидел это еще две луны назад, моё сердце перевернулось бы в груди *31 [23]*: — Это же свидетельствует и лев, но лишь наполовину: ибо он слеп на один глаз *(как Вотан).*
[26–28] *ср. т. 11, 31 [21]*: А лев лизал слезы, падавшие на руки Заратустры. Сердце его глубоко взволновалось и перевернулось, но он не произносил ни слова. Но говорят, что орел с завистью смотрел на то, что делал лев и т.д. / Наконец поднялся Заратустра с камня, на котором сидел; он встал как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор, сильное и пылающее, к и т.д.

Фридрих Ницше
Полное собрание сочинений
Том 4

Общая редакция
В.А. Подорога
Заведующий редакцией
И.А. Эбаноидзе
Оформление и верстка
И.Э. Бернштейн
Корректор
А.Г. Жаворонков

Подписано в печать 08.05.2007.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура NewBaskervilleC. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,68. Тираж 2500 экз. Заказ № 2383.

Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/4, стр. 1
Телефон/факс (495)6218471
E-mail editor@kultrev.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов
в ОАО «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.